

Thomas
Mott

Annotation

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.

- [Томас Манн](#)
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [ОСЛОЖНЕНИЕ](#)
 - [СТРАНА](#)
 - [БАШМАЧНИК ГИННЕРКЕ](#)
 - [ДОКТОР ЮБЕРБЕЙН](#)
 - [АЛЬБРЕХТ II](#)
 - [ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ](#)
 - [ИММА](#)
 - [ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ](#)
 - [РОЗОВЫЙ КУСТ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

- [15](#)
 - [16](#)
-

Томас Манн

Королевское высочество

ПРОЛОГ

Действие происходит на Альбрехтсштрассе, столичной магистрали, соединяющей Альбрехтсплац и Старый замок с казармой гвардейских стрелков, — в дневные часы, среди недели, безразлично в какое время года. День не плохой и не хороший. Дождя нет, но небо не безоблачно; оно серенькое, будничное, скучное, на улице все так обыденно и тускло, даже помыслить о чем-либо таинственном и сверхъестественном невозможно. Движение не слишком оживленное, без особого шума и толчеи, что вполне отвечает неделовому характеру города. Пробегают трамваи, катятся извозчицы пролетки, по тротуару снует народ, бесцветная толпа, прохожие, обыватели, простолюдины... Заложив руки в прорезанные наискось карманы серых шинелей навстречу друг другу идут двое военных: генерал и лейтенант. Генерал приближается со стороны замка, лейтенант — со стороны казармы. Лейтенант — еще желторотый юнец, почти подросток, узкоплечий, темноволосый, скуластый, как многие уроженцы этого края, синие глаза глядят немного устало, на мальчишеском лице приветливое, но замкнутое выражение. Генерал — фигура в высшей степени внушительная, белый как лунь, рослый и дородный. Брови — словно клочья ваты, а пышные усы прикрывают губы и даже подбородок. Поступь у него неторопливая, сабля бряцает об асфальт, плюмаж развеивается на ветру, широкий красный лацкан шинели отлетает при каждом шаге. Так они приближаются друг к другу. Может ли из этого получиться какая-нибудь неувязка? Ни в коем случае. Для каждого наблюдателя естественный исход их встречи предreshен. Здесь налицо взаимоотношение между старцем и юношей, начальником и подчиненным, маститым служакой и зеленым новичком. Здесь налицо огромная дистанция в чинах, все здесь предусмотрено строгими предписаниями. Пусть же вступит в действие естественный порядок вещей! А что происходит на деле? На деле совершается нечто неожиданное, тягостное, чудесное и несуразное. Узрев юного лейтенанта, генерал сразу же удивительным образом меняется. Он вытягивается в струнку и вместе с тем становится как будто меньше. Он спешит, так сказать, умерить важность своей стати, он сдерживает бряцание сабли, лицо у него принимает строгое и напряженное выражение, он явно теряется, не знает, куда смотреть, и, чтобы скрыть это, устремляет взгляд из-под ватных бровей куда-то вкось на асфальт. Да если присмотреться, видно, что юному лейтенанту тоже не

по себе, но, как ни странно, он держится непринужденнее и лучше владеет собой, нежели седовласый командир. Стиснутые губы складываются в скромную и одновременно милостивую улыбку, а глаза, как будто без малейшего усилия, спокойно и уверенно смотрят пока что мимо генерала, в пространство. Вот они уже в трех шагах друг от друга. И вместо того чтобы отдать по уставу честь, юнец-лейтенант слегка откидывает голову, вынимает из кармана правую руку — почему-то одну только правую — и этой затянутой в белую перчатку правой рукой делает легкий ободряюще-благосклонный жест, иначе говоря, лишь приподымает ее ладонью вперед и чуть раздвигает пальцы; но генерал, держа руки по швам, только и ждал этого знака, теперь он вздергивает руку к каске, с полупоклоном отступает в сторону, как бы очищая дорогу, и снизу вверх приветствует лейтенанта, а сам при этом багровеет и смотрит на него благоговейно увлажненным взором. Тут и лейтенант, приложив руку к фуражке, отвечает на отданную начальником честь, отвечает, приветливо просияв всем своим ребяческим лицом, отвечает и идет дальше.

Чудеса! Неслыханное дело! Он идет дальше. На него смотрят, а он не смотрит ни на кого, он смотрит вперед, поверх толпы, взглядом дамы, которая знает, что ею интересуются. Его приветствуют, а он кивает в ответ, ласково и все же свысока. Ходит он как-то неловко, кажется, будто он не привык ходить пешком или смущен всеобщим вниманием, — слишком уж нетверды и робки его шаги, временами кажется даже, что он прихрамывает.

Полицейский становится во фронт, вышедшая из магазина нарядная дама с улыбкой низко приседает. Прохожие оглядываются ему вслед, кивком указывают на него, поднимают брови и шепотом произносят его имя.

Это Клаус-Генрих, младший брат Альбрехта II и наследник престола. Еще виднеется его удаляющаяся фигура. Всем знакомый и все же отчужденный, проходит он среди людей, и даже в самой гуще кажется, будто его окружает пустота; он проходит, одинокий, неся на узких плечах бремя своего высокого сана.

ОСЛОЖНЕНИЕ

Столица пушечными выстрелами приветствовала переданное всеми современными способами известие о том, что в Гримбурге великая герцогиня Доротея вторично разрешилась от бремени сыном. Над городом и окрестностями прогремело семьдесят два выстрела, произведенных войсками с вала «Цитадели». Вслед за тем и пожарная команда, чтобы не отстать, начала пальбу из старинных пушек; длинные паузы между залпами немало распотешили обывателей.

Замок Гримбург расположен на лесистом холме над живописным городком, который носит то же название и отражает свои покатые шиферные кровли в омывающем его рукаве реки; от столицы до него полчаса езды по нерентабельной пригородной железнодорожной ветке. Стоящий на холме замок был на страх врагам отстроен в смутные годы маркграфом Клаусом-Гримбартом, родоначальником правящей династии, и не раз с тех пор обновлялся и снабжался удобствами, соответствующими каждой новой эпохе, всегда поддерживался в пригодном к приему своих обитателей состоянии и был особо чтим как родовое гнездо царствующей фамилии и колыбель ее отпрысков. Ибо согласно династическому закону и обычаю все прямые потомки Гримбарта, все дети царствующей в данное время четы должны рождаться на свет в этом замке. Пренебрегать такой традицией не полагалось. Страна видывала и просвещенных и вольнодумствующих монархов, которые смеялись над этим правилом и все же, пожимая плечами, подчинялись ему. А теперь уж поздно было от него отступать. Зачем без надобности нарушать почтенный обычай, пускай даже неразумный и отживший, когда он в известной мере оправдал себя? В народе укрепились вера, что это все не зря. Дважды на протяжении пятнадцати поколений дети правящих государей в силу случайности появлялись на свет в других замках... И что же — оба умерли неестественной и недостойной смертью. Но, начиная с Генриха Смиренного и Иоганна Жестокого, а также их прекрасных и горделивых сестер вплоть до Альбрехта, отца нынешнего великого герцога, и до самого Иоганна-Альбрехта III, все властители страны, их братья и сестры рождались только здесь, и здесь же шесть лет назад Доротея произвела на свет первого своего сына, наследника великогерцогского престола...

К тому же родовой замок был не только величественным, но и мирным пристанищем. Летом его предпочитали даже чопорно-нарядному

Голлербрунну за прохладу покоев и пленительно-тенистые окрестности. Живописен, хоть и не очень удобен был подъем к замку от городка, по вымощенной грубым булыжником улице между убогими домишками и облупленной крепостной стеной, через широкие ворота до старинного погребка и постоянного двора у входа на замковую площадь, посреди которой стояла каменная статуя Клауса-Гримбарта, строителя замка. На противоположном склоне был разбит обширный парк, откуда пологие дороги вели вниз в поросшую лесом, слегка холмистую местность, располагающую к уединенной прогулке пешком и катанию в экипаже.

Внутри же замок в самом начале правления Иоганна-Альбрехта III заново роскошно отделали, с затратой больших средств, что вызвало немало толков. Убранство апартаментов освежили, сохранив стиль рыцарских времен, но придав им уют, гербы на каменных плитах «Судебного зала» были в точности воссозданы по образцу старых. Замысловато и многообразно переплетенные крестовые своды заблестели свежей позолотой, во всех комнатах появились паркетные полы, а большой и малый банкетные залы были украшены фресками во всю стену, выполненными кистью академика живописи фон Линдемана. Эпизоды из истории правящей династии были исполнены в декоративной и прилизанной манере, далекой и чуждой беспокойным порывам позднейших направлений. В замке было предусмотрено решительно все. Вместо неудобных старинных каминов и круглых печей из пестрого изразца, ярусами поднимавшихся к потолку, устроили даже отопление углем, чтобы в случае чего там можно было пожить и зимой.

Но в тот день, когда был дан салют семьюдесятью двумя выстрелами, стояла самая лучшая пора поздней весны или раннего лета, начало июня — духов день. Получив рано утром телеграмму, что роды начались на рассвете, Иоганн-Альбрехт прибыл в восемь часов по нерентабельной пригородной ветке на станцию Гримбург, где был встречен тремя-четырьмя местными должностными лицами — бургомистром, судьей, пастором и врачом, — сел, напутствуемый их пожеланиями, в коляску и незамедлительно направился в замок. Великого герцога сопровождали первый министр, доктор прав барон Кнобельсдорф и генерал-адъютант генерал-от-инфантерии граф Шметерн. Немного погодя в герцогский родовой замок прибыл еще кое-кто из министров, придворный проповедник, президент консистории доктор богословия Визлиценус, несколько придворных и свитских чинов и сравнительно еще не старый адъютант, капитан фон Лихтерло. Хотя при роженице находился великогерцогский лейб-медик в чине полковника, доктор Эшрих, Иоганну

Альбрехту вздумалось взять с собой в замок доктора Плюша, молодого местного врача, к тому же еврейского происхождения. Скромный и серьезный труженик, заваленный работой, не ожидал такой чести и в растерянности залепетал в ответ на приглашение:

— С удовольствием... С удовольствием... — чем вызвал улыбки окружающих.

Спальней великой герцогине служил «брачный покой», пятиугольная, пестро расписанная комната, расположенная во втором этаже, из ее парадного высокого окна открывался великолепный вид на дальние леса, холмы и излучины реки, а по карнизу шли медальоны с портретами августейших невест, которые в стародавние времена ожидали здесь супруга и повелителя. В этой комнате и лежала Доротея; к изножию кровати была привязана широкая и крепкая тесьма, за которую великая герцогиня держалась, как играющий в лошадки ребенок, и ее красивое пышное тело напрягалось в потугах. Врач — акушерка госпожа Гнадебуш, ученая и участливая женщина с маленькими нежными ручками и карими глазами, которым толстые, круглые стекла очков придавали загадочный блеск, увещевала монархиню.

— Крепитесь, крепитесь, ваше королевское высочество... Скоро кончится... Все идет как по маслу... «Второй раз куда легче... Благоволите раздвинуть ноги... и подбородком упирайтесь в грудь.

Сиделка, как и акушерка, вся в белом, тоже старалась помочь роженице, а в промежутках между схватками неслышно сновала взад-вперед с тазами и полотенцами. За разрешением от бремени надзирал лейб-медик, мрачный мужчина с сидящей черной бородой и опущенным, словно парализованным левым веком. Поверх полковничьего мундира на нем был операционный халат. Время от времени в опочивальню посмотреть, как подвигаются роды, наведывалась приближенная Доротеи, обергофмейстерина, баронесса фон Шуленбург-Трессен, тучная, страдающая одышкой дама с наружностью добродетельной мещанки, что не мешало ей на придворных балах обнажать свою необъятную грудь. Поцеловав руку повелительницы, она возвращалась в дальнюю комнату, где несколько сухопарых фрейлин болтали с дежур* ным камергером великой герцогини, графом Виндиш. Доктор Плюш, накинувший на фрак белый халат, как маскарадное домино, стоял возле умывальника со скромным и внимательным видом.

Иоганн-Альбрехт пребывал в сводчатой комнате, располагавшей к трудам и раздумью и отделенной от брачного покоя только так называемой куаферной и приемной. Эта комната именовалась библиотекой из-за

нескольких рукописных фолиантов, наклонно стоявших на огромном шкафу и заключающих в себе историю замка. Обстановка в комнате была кабинетная, стенной фриз украшали глобусы.

В раскрытое сводчатое окно дул порывистый ветер горных высот. Великий герцог приказал подать чаю. Камердинер Праль сам сервировал его; но чай стоял забытый на доске секретера, а Иоганн-Альбрехт в тягостном возбуждении непрерывно ходил из угла в угол. Каждый его шаг сопровождался монотонным поскрипыванием лакированных сапог. Флигель-адъютант фон Лихтерло, томясь в полупустой приемной, прислушивался к этому скрипу.

Министры, генерал-адъютант, придворный проповедник и свитские господа, всего человек десять, ожидали в парадных апартаментах, расположенных в бельэтаже. Они бродили по большому и малому банкетным залам, где простенки между Линдемановскими картинами были декорированы знаменами и оружием, они стояли, прислонясь к тонким пилонам, которые развешивались над их головами в пестро расписанные своды; они подходили к узким, высоким, под потолок, окнам со свинцовыми переплетами и смотрели на реку и на городок; они присаживались на каменные скамьи, идущие вдоль стен, или на кресла перед каминами, готические колпаки которых, согнувшись, поддерживали несоразмерно маленькие, уродливые каменные карлики. В солнечных лучах весело блестело шитье саковничьего мундира, орденские звезды на подбитой ватой груди колесом и широкие золотые лампасы на брюках.

Разговор не клеился. То и дело кто-нибудь прикрывал треуголкой или затянутой в белую перчатку рукой судорожно разевающийся рот. Почти у всех на глазах стояли слезы. Многие не успели позавтракать. Кое-кто от нечего делать опасливо разглядывал операционный инструментарий и круглый сосуд с хлороформом в кожаном футляре, которые лейб-медик Эшрих на всякий случай держал здесь наготове. Обергофмаршал фон Бюль цу Бюль, дородный мужчина с вкрадчивыми жестами, каштановым париком, с пенсне в золотой оправе и длинными желтыми ногтями, успел обычной отрывистой скороговоркой рассказать целую серию анекдотов и теперь расположился в креслах, чтобы воспользоваться своей способностью дремать не закрывая глаз, — с застывшим взором и достойным видом утратить представление о времени и пространстве, ни на йоту не оскорбляя то высокое место, в котором он обретался.

У доктора фон Шредера, министра финансов и земледелия, в этот день состоялась беседа с первым министром доктором прав бароном Кнобельсдорфом, министром внутренних и иностранных дел, а также

министром великогерцогского двора. Это была бессвязная болтовня. Сперва они обмолвились несколькими словами об искусстве, перешли на финансовые и экономические вопросы, довольно нелестно отозвались об одном придворном сановнике и коснулись самих августейших особ. Разговор завязался в тот миг, когда господа министры, заложив за спину руку с треуголкой, остановились перед одной из картин в большом банкетном зале; в беседе подразумевалось гораздо больше, чем высказывалось.

— А тут? Что тут изображено? — спросил министр финансов. — Вы ведь сведущи во всем этом, ваше превосходительство...

— Весьма поверхностно. Здесь римский император жалуется ленными владениями своих племянников, юных принцев, отпрысков правящей династии. Видите, ваше превосходительство, оба августейших юноши преклонили колена и приносят торжественную присягу на мече императора.

— Великолепно, поистине великолепно! Какие краски! Блистательно! У принцев чудесные золотые кудри! А император... просто загляденье! Да, Линдеман заслужил те почести, которые ему расточают.

— Те, что ему расточают, бесспорно заслужил.

Высокий господин с белой бородой, в изящных золотых очках на белом носу, с небольшим брюшком, выпирающим прямо из-под груди, и с дряблой шеей, складками нависшей на расшитый стоячий воротник вицмундира, доктор фон Шредер, все еще смотрел на картину, но уже неуверенным взглядом, в душу к нему закралось сомнение, нередко овладевавшее им во время разговора с бароном. Кто его разберет, этого Кнобельсдорфа, этого фаворита, облеченного высшей властью... Подчас в его замечаниях, в его ответах чувствуется неуловимая насмешка... Он много путешествовал, изъездил весь земной шар, образование у него самое разностороннее, а взгляды чересчур уж своеобразны и независимы. Однако держится он вполне корректно. Господин фон Шредер не мог до конца понять его. При всей общности воззрений, полного единодушия с ним не получалось. В высказываниях его всегда чувствовались скрытые недомолвки, в своих суждениях он обнаруживал такую терпимость, что невольно думалось: руководит ли им чувство справедливости или пренебрежение? Но подозрительнее всего была его улыбка, губы в ней не участвовали, одни глаза, в углах которых появлялись лучики, а может быть, наоборот-морщины постепенно сложились в лучики именно благодаря этой улыбке... Барон Кнобельсдорф был моложе министра финансов, мужчина в цвете лет, хотя в его закрученных усах и

расчесанных на прямой пробор волосах уже пробивалась седина, — вообще же сложения он был коренастого, с короткой шеей, и воротник сплошь расшитого придворного мундира явно стеснял его. Выждав, когда господин фон Шредер окончательно впал в растерянность, он продолжал:

— Но, пожалуй, для рачительного придворного финансового ведомства было бы выгоднее, чтобы великий муж довольствовался преимущественно орденами и титулами, а не... скажем без обиняков, во что, по-вашему, стало это милое произведение искусства?

Господин фон Шредер встрепенулся. Стремление и надежда найти с бароном общий язык, несмотря ни на что добиться взаимного доверия и дружеского единомыслия воодушевили его.

— Вполне с вами согласен! — подхватил он, поворачиваясь, чтобы возобновить прогулку по залам. — Вы, ваше превосходительство, предупредили мой вопрос. Сколько уплачено за это «Пожалование»? А за остальные живописные красоты здесь на стенах? Недаром же реставрация замка обошлась шесть лет назад *in summa*^[1] в миллион марок.

— Подсчет весьма приблизительный!

— Точнехонький! И эта сумма проверена и утверждена обергофмаршалом фон Бюль цу Бюлем, который у нас за спиной предается своей блаженной летаргии. Она проверена, утверждена и погашена придворным финанц-директором графом Трюммергауфом...

— Либо погашена, либо записана в долг.

— Не все ли равно!.. Так вот, эта сумма передана к уплате в кассу... в ту кассу...

— Короче говоря, в кассу управления великогерцогским имуществом.

— Ваше превосходительство, вы не хуже меня понимаете, что это означает. Ох, у меня кровь стынет... право же, я не скряга и не ипохондрик, но у меня кровь стынет в жилах, как подумаю, что при существующих обстоятельствах можно вышвырнуть миллион — п па что? На ерунду, на милую причуду, на блистательную реставрацию фамильного замка, где должны происходить высочайшие роды...

Господин фон Кнобельсдорф засмеялся:

— Что поделаешь, романтика — дорогостоящая роскошь! Разумеется, я солидарен с вашим превосходительством, по ведь, в сущности, эта дорогостоящая романтика и является причиной плачевного состояния великогерцогского хозяйства. Зло коренится в том, что наши государи те же крестьяне: имущество их заключается в землях, доходы — в продуктах сельского хозяйства. А в наши дни... августейшие особы по сен день никак не решатся стать промышленниками и финансистами. С прискорбным

упорством следуют они отжившим отвлеченным принципам, как-то: понятиям верности и достоинства. В силу принципа верности великогерцогское имущество продолжает быть фидейкомисом, заповедным, родовым достоянием. Выгодная продажа какой-либо его части исключена. Им не пристали заклады и займы с целью хозяйственных усовершенствований. Управление, связанное по рукам и по ногам боязнь уронить свое высокое достоинство, не может пользоваться благоприятными конъюнктурами. Простите, бога ради! Я пичкаю вас прописными истинами. Но этой породе людей всего важнее соблюдение декорума. Естественно, что для них недоступны и неприемлемы независимость и свободная инициатива не столь косных и не столь уж принципиальных дельцов. Так вот, наряду с этой отвлеченной дорогостоящей роскошью что может значить вполне осязаемый миллион, выброшенный ради милой причуды, говоря словами вашего превосходительства? Будь она только одна! А ведь при этом надо нести постоянное бремя расходов на мало-мальски приличное содержание двора. Надо поддерживать замки с прилегающими к ним парками, Голлербрунн, Монбрийан, Егерпрейс, каких там... Эрмитаж, Дельфиненорт, Фазанник и прочие... Да, я забыл замок Зегенхаус и развалины Хадершгейна... не говоря уж о Старом замке... Содержатся они неважно, и все-таки это статья расхода... А кроме того, надо субсидировать придворный театр, картинную галерею, библиотеку. Надо выплачивать сотню пенсий без какого-либо юридического обоснования только во имя верности и достоинства. А какую царственную щедрость проявил великий герцог к пострадавшим от последнего наводнения... Но я, кажется, произнес настоящую речь.

— Речь, которой вы, ваше превосходительство, думали возразить мне, — сказал министр финансов, — а на самом деле подтвердили мою правоту. Дорогой барон, — и господин фон Шредер прижал руку к сердцу, — позволю себе не сомневаться, что между нами исключено малейшее недоразумение касательно моих взглядов, моих верноподданных взглядов.... Государь не может быть неправ... его августейшая особа выше всяких нареканий, но с долгом — в обоих смыслах слова — дело обстоит неблагоприятно, и я, не задумываясь, возлагаю вину на графа Трюммергауфа. Его предшественники на посту финанц-директора тоже обманывали своих государей относительно состояния великогерцогской казны, но это было в духе времени и потому пропустительно. Поведение же графа Трюммергауфа простить нельзя. Кто, как не он, по своей должности, обязан был обуздать царящую при дворе...

беспечность! На нем и сейчас еще лежит обязанность открыть глаза его королевскому высочеству.

Господин фон Кнобельсдорф усмехнулся, вздернув брови.

— В самом деле? — спросил он. — Вы полагаете, ваше превосходительство, что назначение графа преследовало эту цель? Могу себе представить его законное изумление, если бы вы изложили ему свою точку зрения. Нет, нет... Будьте уверены, ваше превосходительство, граф был назначен в силу вполне определенного высочайшего волеизъявления, коему прежде всего должен был подчиниться сам новый финанц-директор. Этим назначением не только говорилось: «Я ничего не знаю», но и «ничего не желаю знать». Можно быть чисто декоративной фигурой и все-таки постичь это... Впрочем... правду сказать... все мы это постигли. И для всех нас, в сущности, есть только одно смягчающее обстоятельство: в целом свете не сыщешь монарха, с которым так тягостно было бы заговорить о его долгах, как с нашим государем. Во всем облике его королевского высочества есть нечто такое, что язык не поворачивается выговорить столь вульгарные слова.

' — Верно, верно, — поддакнул господин фон Шредер. Он вздохнул и задумчиво погладил выпушку из лебяжьего пуха на своей треуголке. Оба министра сидели вполоборота друг к другу, на возвышении в глубокой оконной нише; снаружи вровень с ней тянулся узкий каменный переход, вернее галерея, сквозь стрельчатые проемы которой открывался вид на городок.

— Вы возражаете и как будто противоречите мне, барон, — снова заговорил господин фон Шредер, — а в словах у вас еще больше неверия и горечи, чем у меня.

Господин фон Кнобельсдорф ничего не ответил и только развел руками, как бы соглашаясь.

— Допустим, вы правы, ваше превосходительство, — продолжал министр финансов, скорбно кивнув вниз, на свою треуголку. — Пожалуй, виновны все — и мы и наши предшественники. Много, много можно было предотвратить! Надо вам сказать, барон, что однажды, десять лет назад, возникла возможность если не оздоровить, то хоть подправить финансовое положение двора. Эта возможность была упущена. Надеюсь, вы меня поняли. Такой обаятельный мужчина, как великий герцог, смело мог поправить дела женитьбой, которую всякий здравомыслящий человек признал бы блестящей. А вместо этого... не касаясь моих личных чувств... забыть не могу, с какой кислой миной по всей стране называли цифру приданого августейшей невесты.

— Великая герцогиня — одна из красивейших женщин, каких мне доводилось встречать, — заявил господин фон Кнобельсдорф, и морщинки у него возле глаз почти совсем исчезли.

— Вот возражение вполне в духе вашего превосходительства — чисто эстетического порядка. Это возражение было бы также уместно, если бы его королевское высочество по примеру своего брата Ламберта выбрал себе в жены корифейку придворного балета...

— Эта опасность была исключена. У государя вкус изысканный, что он и доказал. Его запросы всегда были очень высоки в противоположность той неразборчивости, какую всю жизнь проявлял принц Ламберт. Ведь великий герцог крайне поздно решился вступить в брак. Надежды на прямое потомство почти что были утрачены. Приходилось с горя примириться на принце Ламберте, хотя насчет его... малой пригодности в качестве наследника престола мы с вами, надо полагать, солидарны. И вдруг, через несколько недель после вступления на престол, Иоганн-Альбрехт встречается с принцессой Доротеей. Он восклицает: «Она — или никто!» — и великое герцогство обретает государыню. Вы, ваше превосходительство, припомнили, как вытягивались лица, когда называлась цифра приданого, но вы забыли, какое в то же время царило ликование. Да, конечно, принцесса была небогата. Но красота, и такая красота, тоже своего рода благотворная сила. Разве можно забыть торжественный въезд невесты? Народ полюбил ее, как только она впервые озарила улыбкой собравшуюся толпу. Позвольте мне, ваше превосходительство, лишний раз заявить о своей вере в идеализм народа. Народ хочет, чтобы в государе было воплощено все, с его точки зрения, лучшее, высшее, его мечта, душа его, если хотите, но отнюдь не мощна. Для мощны есть другие люди.

— Вот их-то и нет. У нас нет.

— Это факт сам по себе весьма прискорбный. Зато гораздо важнее, что Доротея подарила нам престолонаследника...

— Ах, если бы господь умудрил его в бухгалтерии...

— Не возражаю...

На том и закончилась беседа двух министров. Она оборвалась, вернее ее прервал флигель-адъютант фон Лихтерло известием о благополучном разрешении от бремени. В малом банкетном зале возникло оживление, все присутствующие поспешили туда. Одна из высоких резных дверей распахнулась, и на пороге появился адъютант. У него были голубые солдатские глаза, на раскрасневшемся лице торчали льняные усы, воротник гвардейского мундира расшит серебром. Не вполне владея собой,

возбужденный тем, что удалось избавиться от смертельной скуки, и переполненный радостной вестью, он ввиду чрезвычайности момента дерзко пренебрег этикетом и уставом. Оттопырив локоть и отсалютовав таким широким жестом, что рукоять сабли очутилась чуть ли не на уровне груди, он выкрикнул, раскатисто картавя:

— Осмелюсь доложить — пр-р-ринц!

— A la bonne heure, ^[2] — пробасил генерал-адъютант граф Шметтерн.

— Радостно слышать, вот уж поистине радостно слышать, — по своему обыкновению, залопотал обер — гофмаршал фон Бюль цу Бюль, мигом очнувшись от забытья.

Президент консистории доктор Визлиценус, благообразный, осанистый господин с орденской звездой на шелковистом сукне сюртука, как генеральский сын, а также в силу личных достоинств сравнительно молодым достигший столь высокого положения, сложил холеные белые руки на животе и звучно возгласил:

— Да благословит господь его великогерцогское высочество!

— Господин капитан, — с усмешкой заметил господин фон Кнобельсдорф, — вы, кажется, забыли, что своим утверждением узурпируете мои права и обязанности. Прежде чем я не произведу тщательнейшего расследования, вопрос о том, кто родился — принц или принцесса, — остается открытым...

Над его словами посмеялись, а господин фон Лихтерло ответил:

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Кстати, имею честь по высочайшему повелению просить ваше превосходительство...

Этот диалог объяснялся тем, что премьер-министр ведал метриками великогерцогской фамилии, а посему именно его компетенции подлежало самолично установить пол царственного младенца и официально объявить о нем. Господин фон Кнобельсдорф выполнил эту формальность в так называемой куаферной, где купали новорожденного, но пробыл там дольше, чем предполагал, ибо его задержало и смутило одно неприятное открытие, которое он до поры до времени утаил от всех, кроме акушерки.

Госпожа Гнадебуш развернула младенца и, переводя таинственно поблескивающие из-за толстых стекол глаза с министра на медно-красное крошечное создание, безотчетно что-то ловившее одной, только одной ручонкой, как бы спрашивала: «В порядке?» Все было в порядке, господин фон Кнобельсдорф вы*разил удовлетворение, и акушерка принялась снова пеленать новорожденного. Но и тут она не перестала поглядывать то вниз на принца, то вверх на министра, пока не направила внимания фон Кнобельсдорфа куда следовало.

Лучики в уголках его глаз мигот исчезли, он насупился, проверил, сравнил, ощупал, задержался на этом факте минуты две-три и под конец спросил:

— Великий герцог уже видел?

— Нет, ваше превосходительство.

— Когда великий герцог увидит, скажите ему, что это выровняется. —

А господам, собравшимся в бельэтаже, он объявил:

— Крепенький принц!

Но минут через десять — пятнадцать после него то же досадное открытие сделал и великий герцог, это было неизбежно, и за этим воспоследовала краткая, пренеприятная для лейб-медика Эшриха сцена, а для гримбургского доктора Плюша — беседа с великим герцогом, поднявшая его в глазах монарха и благоприятно повлиявшая на его дальнейшую карьеру.

Расскажем вкратце, как все это произошло.

Сейчас же после родов Иоганн-Альбрехт опять удалился в «библиотеку», а затем некоторое время провел у постели роженицы, держа ее руку в своей*. Вслед за тем он направился в куаферную, где новорожденный лежал уже в высокой, изящно позолоченной колыбельке, наполовину затянутой голубым пологом; великий герцог опустил в услужливо подставленное кресло возле своего сыночка. Но, сидя в кресле и разглядывая дремлющего младенца, он заметил то, что до поры до времени от него хотели скрыть. Он совсем откинул одеяльце, помрачнел и проделал все то, что до него делал г-н фон Кнобельсдорф, оглядел докторшу Гнадебуш и сиделку, у которых язык прилип к гортани, бросил торопливый взгляд на притворенную дверь в брачный покой и взволнованно проследовал назад в «библиотеку».

Здесь он немедленно нажал кнопку украшенного орлом настольного серебряного звонка и, когда, звеня шпорами, вошел г-н фон Лихтерло, приказал ему кратко и сухо:

— Попросите ко мне господина Эшриха.

Когда великий герцог гневался на кого-нибудь из приближенных, он имел обыкновение на данный момент отрешать провинившегося от всех званий и чинов и называть только по фамилии.

Флигель-адъютант снова звякнул шпорами и скрылся. Иоганн-Альбрехт разок-другой прошелся по комнате, сильно скрипя сапогами, а услышав, что господин фон Лихтерло вводит Эшриха в приемную, остановился у письменного стола в официальной позе.

Стоя так, вполоборота, надменно подняв голову, крепко упершись в

бок левой рукой, отчего борт подбитого атласом сюртука отставал от белого жилета, великий герцог как две капли воды был похож на свой собственный портрет кисти профессора Линдемана, висевший в городском замке в pendant к портрету Доротеи, возле большого зеркала над камином в зале Двенадцати месяцев и широко известный в народе благодаря многочисленным копиям, фотографиям и открыткам. Разница заключалась лишь в том, что на портрете у Иоганна-Альбрехта была весьма внушительная осанка, меж тем как на самом деле он был ниже среднего роста. Лоб облысел и потому казался высоким, а голубые глаза, окруженные бледной синевой, с усталостью и высокомерием глядели вдаль из-под поседевших бровей. У него были характерные для его народа широкие, немного выступающие скулы. Бачки и бородку под нижней губой тронула седина, а закрученные усы почти совсем уже побелели. От раздутых ноздрей широкого, но с аристократической горбинкой носа шли наискось к подбородку две на редкость глубоко врезанные морщины. Над вырезом пикейного жилета сияла лимонно-желтая лента фамильного ордена «За постоянство». В петлице торчал букетик гвоздик.

Лейб-медик Эшрих вошел с глубоким поклоном. Операционный халат он скинул. Парализованное веко ниже обычного нависло над глазом. Вид у него был угрюмый и жалкий.

Левой рукой по-прежнему упираясь в бок, великий герцог откинул голову, вытянул правую руку ладонью вверх и несколько раз сердито потрянул ею.

— Я жду от вас объяснений и оправданий, господин лейб-медик, — начал он срывающимся от гнева голосом. — Потрудитесь отчитаться. Что произошло при рождении ребенка с его ручкой?

Лейб-медик воздел руки вверх — беспомощный жест, показывающий, что он был бессилен и ни в чем не виноват.

— Ваше королевское высочество, благоволите выслушать... Несчастный случай... Неблагоприятные обстоятельства сопутствовали беременности ее королевского высочества...

— Пустые отговорки! — Великий герцог был так раздражен, что даже и не желал оправданий, отмахивался от них. — Имейте в виду, сударь, что я возмущен. Несчастный случай! Ваше дело предотвращать несчастные случаи...

Лейб-медик стоял, почтительно склонившись, и, глядя в пол, говорил смиренным полупшепотом:

— Позволю себе почтительнейше напомнить, что ответственность несущ не я один. Ее королевское высочество исследовал тайный советник

Гразангер — авторитет в области гинекологии... Но за случившееся никто не может нести ответственность...

— Ах, так! Никто... А я позволю себе возложить ответственность на вас. И спрашивать с вас... Вы наблюдали за ходом беременности и принимали роды... Я понадеялся, что ваши знания соответствуют занимаемому вами положению, господин лейб-медик. Я доверился вашему опыту. Но теперь я разуверен и глубоко разочарован. Хороша ваша добросовестность, когда в итоге ее в жизнь вступает ребенок... калека!

— Ваше королевское высочество, благоволите всемилостивейше принять в рассуждение...

— Я все обсудил, рассудил и осудил! Благодарю вас!

Лейб-медик Эшрих удалился, пятясь, все в той же согнутой позе. В приемной он выпрямился, весь красный, и пожал плечами. А великий герцог снова принялся шагать по «библиотеке», громко скрипя сапогами от августейшего гнева, несправедливый, ожесточенный и растерянный в своем одиночестве. Но то ли он хотел еще больнее уязвить лейб-медика, то ли жалел, что сам отрезал себе путь к правде, так или иначе спустя десять минут произошло нечто неожиданное — великий герцог через господина фон Лихтерло призвал к себе в «библиотеку» молодого доктора Плюша.

Получив приглашение, доктор опять залепетал: «С удовольствием... с удовольствием...» — и даже изменился в лице, но в дальнейшем вел себя безупречно. Правда, этикетом он владел не вполне и поклонился слишком рано, с порога, вследствие чего адъютант не мог прикрыть за ним дверь и шепотом попросил его пройти вперед; но затем Плюш остановился в непринужденной и приятной позе и ответы давал вполне вразумительные, хотя при этом у него обнаружилась привычка начинать фразу с запинки, предпосылая ей какие-то неопределенные звуки, а между словами, для вящей убедительности, он то и дело вставлял «да». Свои темно-русые волосы он стриг ежиком, а усов не подкручивал. Подбородок и щеки были у него старательно выскоблены. Голову он слегка склонял набок, а взгляд его серых глаз выражал ум и деятельную доброту. Приплюснутый нос, нависавший над усами, выдавал его происхождение. К фраку он надел черный галстук, начищенные башмаки были деревенского фасона. Одной рукой он теребил серебряную цепочку часов, крепко прижав локоть к телу. Весь его облик свидетельствовал о честности и положительности и внушал доверие.

Великий герцог обратился к нему необычайно милостиво, как бывает с учителем, который только что выбрал нерадивого ученика и спешит поощрить другого.

— Я пригласил вас, господин доктор... Я желал бы получить от вас разъяснения по поводу этого... изъяна в телосложении новорожденного принца... надо полагать, он не ускользнул от вашего внимания... Я стою перед загадкой... до крайности тягостной загадкой... Словом, прошу вас высказать свое мнение.

Великий герцог, повернувшись, закончил речь и жестом предоставил слово врачу.

Доктор Плюш молчал и пристально следил за ним, как бы выжидая, чтобы великий герцог проделал весь цикл царственных телодвижений. А затем сказал:

— Да... здесь мы столкнулись с явлением не очень распространенным, однако хорошо известным и изученным. Да. По существу это явление атрофии...

— Что вы сказали? Атрофии?

— Прошу прощения, ваше королевское высочество. Я хотел сказать — здесь налицо недоразвитие.

— Вы правы. Недоразвитие. Так оно и есть. Левая рука недоразвита. Но это же неслыханно, непостижимо! Ничего подобного в моем роду не бывало. А ведь последнее время все толкуют о наследственности...

Доктор снова молча и пристально поглядел на этого неприступного и могущественного государя, который лишь недавно узнал, что последнее время все толкуют о наследственности...

— Прошу прощения, ваше королевское высочество, — ответил он только, — о наследственности в данном случае даже речи быть не может...

— Ах, вот как! — с легкой насмешкой ответил великий герцог. — И на этом спасибо. Но не потрудитесь ли вы разъяснить мне, о чем же здесь может быть речь.

— С удовольствием, ваше королевское высочество. Причина этого увечья чисто механическая. Да. Оно вызвано механическим торможением во время развития зародыша. Такие случаи мы называем заторможенным развитием.

Великий герцог слушал с боязливым омерзением, он явно боялся, что каждое новое слово может еще сильнее задеть его чувствительность. Лоб у него был нахмурен, рот приоткрыт. От этого еще глубже казались обе морщины, спускавшиеся к подбородку.

— Заторможенное развитие, — промолвил он, — #9632; но откуда, боже ты мой!.. Надо полагать, все меры предосторожности были приняты...

— Заторможенное развитие может быть вызвано разными

обстоятельствами. Но в нашем случае... в данном случае можно почти с уверенностью сказать, что всему виной амнион.

— Что вы сказали... Амнион?

— Это одна из яичевых оболочек, ваше королевское высочество. Да. При известных условиях отделение этой оболочки от зародыша происходит так медленно и сложно, что между ними протягиваются нити и перемычки... так называемые амниотические нити. Да. Эти нити могут причинить большой вред, могут обмотать и перетянуть отдельные части детского тела, могут, например, полностью закрыть доступ к руке жизненных соков и прямо-таки ампутировать ее. Да.

— Господи... ампутировать. Значит, надо еще радоваться, что дело не дошло до ампутации руки?

— И это могло случиться. Да. Но тут произошла перетяжка и как следствие — атрофия.

— А нельзя было это распознать, предусмотреть и воспрепятствовать этому?

— Нет, ваше королевское высочество. никоим образом. Можно с твердостью сказать, что никто в этом не виноват. Такого рода торможение совершается втайне. Мы против него бессильны. Да.

— И это увечье неизлечимо? Рука останется недоразвитой?

Доктор замялся, сочувственно поглядел на великого герцога.

— Полное восстановление неосуществимо, это нет, — бережно ответил он. — Но и недоразвитая рука тоже будет относительно понемножку развиваться, ну да, это конечно...

— А действовать она будет? Можно будет ею пользоваться? Например... держать поводья, ну, словом, делать положенные движения?

— Пользоваться?.. В известной мере. Пожалуй, не вполне. Да, кроме того, есть же и правая совершенно здоровая рука.

— Это будет очень заметно? — спросил великий герцог, с тревогой глядя в лицо доктору Плюшу. — Очень будет бросаться в глаза? Очень повредит всей наружности?

— Многие люди живут деятельной жизнью с более тяжкими повреждениями.

Великий герцог отвернулся и зашагал по комнате. Чтобы дать ему дорогу, доктор Плюш почтительно отступил до самой двери. Наконец великий герцог опять остановился у письменного стола и сказал:

— Теперь я полностью осведомлен. Благодарю вас за разъяснение. Вы человек сведущий, это бесспорно. Почему вы обосновались в Гримбурге? Почему бы вам не практиковать в столице?

— Я еще молод, ваше королевское высочество, и, прежде чем заняться в столице врачебной практикой по определенной специальности, мне хочется в течение нескольких лет накопить побольше разностороннего опыта. А для этого в таком провинциальном городке, как Гримбург, представляются все возможности. Да.

— Весьма разумное и почтенное намерение. Какой же специальности вы думаете посвятить себя в дальнейшем?

— Детским болезням, ваше королевское высочество. Я собираюсь стать детским врачом. Да.

— Вы еврей? — спросил великий герцог, закинув голову и прищурившись.

— Да, ваше королевское высочество.

— А!.. Ответьте мне еще на один вопрос... Ощущали ли вы когда-нибудь свое происхождение как преграду на вашем пути, мешало ли оно вам успешно конкурировать с другими на врачебном поприще?

Я спрашиваю об этом, как монарх, который ставит во главу угла безусловное соблюдение принципа равноправия не только на государственной службе, но и в частной жизни.

— В пределах великого герцогства каждому дано право работать, — ответил доктор Плюш. Но этим он не ограничился и, запинаясь, начав с каких-то неопределенных звуков, взволнованно и неловко взмахивая локтем, точно обрубленным крылом, заговорил приглушенным, но дрожащим от затаенной страсти голосом:

— Позволю себе одно замечание. Невзирая ни на какой принцип равенства, в человеческом обществе никогда не перестанут существовать исключения и особые разновидности, либо возвышающиеся над средним уровнем, либо поставленные ниже его. Таким единицам незачем допытываться, к какой категории относится их обособленность, а лучше осознать, сколь важен самый факт этого отличия, и уж во всяком случае сделать вывод, что оно налагает сугубые обязательства. Если от человека требуются незаурядные усилия, он никак не в накладе по сравнению с находящимся в пределах нормы, а потому благополучным большинством. Да, да, — повторил доктор Плюш.

Таков был его ответ, подкрепленный двукратным к да».

— Так... не плохо, очень интересно, — задумчиво протянул великий герцог. Что-то глубоко понятное и вместе с тем чуждое послышалось ему в словах доктора Плюша. Он отпустил молодого человека со словами:— Любезный доктор, мое время рассчитано по минутам. Благодарю вас. Невзирая на тягостный повод, наша беседа весьма удовлетворила меня.

Вменяю себе в приятную обязанность пожаловать вас Альбрехтовским крестом третьей степени с короной. Я вас не забуду. Благодарю.

Вот какой разговор произошел между гримбургским врачом и великим герцогом.

Иоганн-Альбрехт почти сразу же покинул замок и экстренным поездом возвратился в столицу, прежде всего, чтобы показаться празднично возбужденному населению, а затем, чтобы принять ряд лиц в городской резиденции. Решено было, что к вечеру он вернется в родовой замок и ближайшие недели пробудет там.

Все должностные лица, прибывшие к разрешению от бремени в Гримбург и не принадлежавшие к свите великой герцогини, были допущены в тот же экстренный поезд нерентабельной пригородной ветки, и многие из них ехали в непосредственной близости к монарху. Но путь от замка до станции великий герцог совершил только с премьер-министром фон Кнобельсдорфом в ландо, как и все придворные экипажи, крытом коричневым лаком, с миниатюрной золотой короной па дверце. Летний ветерок развеивал белые перья на шляпе лейб-егеря, сидевшего впереди. Иоганн — Альбрехт сосредоточенно молчал всю дорогу, видно было, как он удручен и недоволен; и хотя господин фон Кнобельсдорф знал, что великий герцог даже в семейном кругу не терпит, чтобы к нему обращались по собственному почину, без особого поощрения, он все же решил нарушить молчание.

— Ваше королевское высочество, — просительным тоном начал он, — вы, как видно, слишком близко принимаете к сердцу небольшой дефект в телосложении, обнаруженный у принца... А ведь, казалось бы, сегодня гораздо больше поводов радоваться, гордиться и быть благодарными.

— Уж как-нибудь потерпите мое дурное настроение, дорогой Кнобельсдорф, — сердито и чуть ли не плаксиво ответил Иоганн-Альбрехт. — Не петъ же мне в самом деле. Я лично не вижу для этого ни малейших оснований. Да, конечно, великая герцогиня чувствует себя хорошо. Неплохо и то, что родился мальчик. Но почему он должен был появиться на свет с атрофией, с заторможенным развитием, обусловленным амниотическими нитями? Никто в этом не повинен, это просто несчастный случай. Но по-настоящему страшны именно те несчастные случаи, в которых никто не повинен. Государь же должен своим видом возбуждать в народе не жалость, а совсем иные чувства. Наследный великий герцог слаб здоровьем, за него постоянно приходится дрожать., Он чудом уцелел два года назад во время плеврита, и будет почти чудом, если он достигнет зрелого возраста. Но вот господь подарил

мне второго сына, с виду крепкого, и что же — он рождается с одной рукой. Вторая не действует, она недоразвита, увечна, ему придется прятать ее. Какая неприятность! Какое осложнение! В свете он будет вынужден вечно помнить об этом! Надо со временем предать это гласности, чтобы в первый раз, когда ему придется выступать как официальному лицу, не получилось слишком гнетущего впечатления. Нет, я еще не могу примириться. Принц с одной рукой...

— С одной рукой, — подхватил господин фон Кнобельсдорф. — Вы намеренно повторяете это выражение, ваше королевское высочество?

— Намеренно?

— Ах, нет? Ну да, у принца ведь две руки, но одна недоразвита, и *при желании* можно сказать, что это принц с одной рукой...

— Ну и что же?..

— А то, что, пожалуй, было бы даже лучше, если бы не у второго сына вашего королевского высочества, а у престолонаследника оказался этот небольшой физический недостаток.

— Что вы говорите?

— Вы можете смеяться надо мной, ваше королевское высочество, но я вспомнил про цыганку.

— Про цыганку? Вы злоупотребляете моим терпением, дорогой барон!

— Простите великодушно, ваше королевское высочество, — про ту цыганку, которая сто лет назад предсказала, что в вашем августейшем семействе родится государь «с одной рукой», — такова формулировка, сохраненная преданием; причем с рождением этого государя она связала некое загадочно выраженное обещание.

Великий герцог повернулся на заднем сидении и молча поглядел господину фон Кнобельсдорфу в глаза, внешние уголки которых собрались в лучики.

— Очень занятно! — вымолвил он и принял прежнее положение.

А господин фон Кнобельсдорф продолжал:

— Так обычно и исполняются пророчества: известное стечение обстоятельств толкуется в желательном смысле, разумеется, при наличии доброй воли. Каждое порядочное пророчество тем и хорошо, что оно выражено в крайне общей форме. «С одной рукой» — типичный для настоящего оракула стиль. Действительность преподносит нам случай небольшой атрофии. Но это уже очень много, ибо кто помешает мне, кто помешает народу принять намек за свершение и объявить, что основная

часть пророчества исполнилась? Народ так и сделает, особенно если в какой-то мере начнет оправдываться и дальнейшее, то самое главное, что обещано в пророчестве. Народ будет сопоставлять и толковать, как он поступал всегда, ибо ему важно, чтобы сбылось по писанию. Мне кое-что неясно, принц рожден вторым, он не будет править, предначертания судьбы темны. Но однорукий принц родился, — так пусть же даст нам то, что в его силах.

Великий герцог молчал, внутренне содрогаясь во власти династических мечтаний.

— Не стану сердиться на вас, Кнобельсдорф. Вы хотели меня утешить и неплохо взялись за дело. Однако нас ждут...

Воздух дрожал от многоголосых приветственных кликов. Гримбуржцы черной массой сгрудились на станции позади кордона. На переднем плане выделялись одиночные фигуры должностных лиц, ожидавших, чтобы подъехали экипажи. Видно было, как бургомистр приподымает цилиндр, оттирает лоб пестрым платком и подносит к глазам листок бумаги, стараясь затвердить текст. Иоганн-Альбрехт придал лицу соответствующее выражение, чтобы выслушать бесхитростную речь и кратко, но милостиво ответить: «Дорогой господин бургомистр...»

Городок был украшен флагами; звонили колокола местных церквей.

Звонили все колокола столицы. И вечером там была иллюминация без особого распоряжения магистрата, по собственному почину жителей, — все городские кварталы были ярко освещены праздничными огнями.

СТРАНА

Страна занимала площадь в восемь тысяч квадратных километров и насчитывала миллион жителей.

Живописная, мирная, несуетливая страна. Сонно шелестящие деревья в лесах; широкораскинувшиеся тщательно возделанные пашни и нивы; слабо развитая, скудная промышленность.

Кирпичные заводы, небогатые соляные копи и серебряные рудники — и это, можно сказать, все. Правда, кое-какой доход давала промышленность, рассчитанная на приезжих, но назвать эту отрасль хозяйства преуспевающей было бы чересчур смело. В непосредственной близости от столицы из земли били щелочные источники, вокруг которых выросли бальнеологические заведения, превратившие столицу в курорт. В конце средних веков на здешние воды съезжались отовсюду, но затем их затмили другие, слава их померкла и мало-помалу позабылась. Самый богатый минеральными солями источник, названный Дитлиндинским и содержащий чрезвычайно большой процент солей лития, был открыт недавно, в царствование Иоганна-Альбрехта III. Но за отсутствием убедительной и достаточно широковещательной рекламы вода не получила желаемой известности. За год экспортировали сто тысяч бутылок, может быть, даже меньше, но уж во всяком случае не больше. И приезжих, пьющих ее на месте, бывало не так уж много.

Ежегодно в ландтаге шел разговор о том, что финансовое положение железнодорожного ведомства «мало» благоприятно, — разумея под этими словами положение абсолютно и безусловно неблагоприятное, — что местный транспорт не оправдывает себя, да и вообще железные дороги нерентабельны; факт, несомненно, прискорбный, но раз навсегда установленный и не поддающийся изменению, о чем вразумительно, однако всегда с одними и теми же выводами говорил министр путей сообщения, объясняя его неоживленной торговлей и слабо развитой промышленностью, а также недостатком отечественного угля. Злопыхатели, правда, что-то мямлили о плохо поставленном управлении в железнодорожном ведомстве. Но дух противоречия и отрицания был не в чести у ландтага; в среде народных представителей преобладало настроение ленивой и благодушной лояльности.

Итак, доходы с железных дорог занимали далеко не первое место среди прочих государственных доходов с предприятий

частновладельческого типа. Первое место в этой лесной и сельскохозяйственной стране исстари принадлежало доходам с лесных промыслов. Но и они тоже резко понизились, начали ужасающе падать, и найти оправдание этому факту было куда труднее, хотя серьезных оснований для такого падения было достаточно.

Народ любил свой лес. А народ-все больше коренастые голубоглазые блондины с мечтательным взором, широколицые и скуластые — по самой природе своей был честный, здоровый и косный. Всеми силами души был он привязан к родному лесу, лес жил в его песнях, он был отчизной и источником вдохновения для художников — местных уроженцев; и не только за духовные дары, которые лес так щедро расточал, заслужил он признательность народа. Бедняки собирали в нем топливо, лес дарил его, отдавал им безвозмездно. Они бродили по лесу, нагнувшись, находили грибы, собирали ягоды и кое-что за это выручали. Но это еще не все. Народ понимал, какое огромное значение имеет лес для климата и здоровья; он знал: не будь великолепных лесов в окрестностях столицы», курорт не привлекал бы хорошо платящих иностранцев; короче говоря, этот отсталый и не очень деятельный народ должен был бы понять, что лес — главное богатство, во всех смыслах самое прибыльное исконное достояние страны.

И все же народ провинился перед лесом, из года в год, из поколения в поколение греша преступным отношением к нему. Ведомству, управляющему казенными лесами, можно было с полным правом предъявить самые тяжкие обвинения. Этому ведомству не хватало политической дальновидности, оно не понимало, что лес надо охранять и беречь, как неотъемлемое общенародное достояние, дабы его благами могло пользоваться не только это поколение, но и все последующие, и что рано или поздно лес отомстит за себя, если его будут беспардонно расхищать в угоду настоящему, проявляя близорукость и не думая о будущем.

Так оно повелось и вот к чему привело. Прежде всего на больших лесных участках совершенно истощилась почва, потому что ее беспрерывно, непланомерно и хищнически лишали естественного удобрения. Дело зашло так далеко, что часто сгребали не только верхний покров — недавно осыпавшиеся иглы и листья, — но и большую часть многолетней лесной опали, и пускали на сельскохозяйственные нужды: как подстилку для скотины или как удобрение. Во многих лесах совсем не осталось перегноя, в других почва так оскудела, что деревья выродились и стали какими-то жалкими калеками. И это явление наблюдалось как в казенных лесах, так и в крестьянских.

Если бы к таким мерам прибегали, чтобы* выручить из временной беды* сельское хозяйство, это бы еще куда ни шло, это можно было бы оправдать. Но хотя и раздавались голоса, предостерегающие от такого неразумного и даже опасного использования лесной опали, тем не менее перегноем продолжали торговать без особой нужды, как говорили, из чисто коммерческих соображений, то есть из соображений, которые, если смотреть здраво, преследовали только одну цель: наличные деньги, потому что денег-то как раз и не хватало. Но, чтобы получить деньги, все время растрачивали капитал, пока к общему ужасу не заметили, что капитал вдруг почти иссяк.

Страна была земледельческая, однако ее обуяло бессмысленное, искусственно раздутое и неуместное рвение не отставать от века и во что бы то ни стало проявить деловой дух. Показательно в этом отношении молочное хозяйство, о котором здесь следует сказать несколько слов. Все чаще и чаще стали раздаваться жалобы, особенно в годовых врачебных отчетах, на ухудшение питания сельского населения, что сказывается и на его физическом развитии. Что же, собственно, произошло? У скотовладельцев было только одно на уме — превращать в деньги весь удой. Их соблазнили возможность промышленного использования молока, развитие прибыльного молочного хозяйства, и они пренебрегли нуждами собственной семьи. Здоровая молочная пища стала редкостью в деревне, вместо нее начали все больше и больше потреблять малопитательное снятое молоко, неполноценные суррогаты, растительное масло, а также, к сожалению, и спиртные напитки. Злопыхатели стали поговаривать о том, что население недоедает, что оно физически истощено, морально опустилось. Палате были представлены факты, и правительство обещало обратить на это дело серьезное внимание.

Но было совершенно ясно, что правительство, в сущности, одержимо тем же духом наживы, что и сбитые с толку скотоводы. Казенные леса безжалостно вырубались, засадить их снова не было возможности, а это означало, что общенародному достоянию будет наноситься все больший и больший ущерб. Иногда порубки, возможно, и бывали нужны — в тех случаях, когда на лес нападали вредители, но чаще они были вызваны все теми же финансовыми соображениями; и вместо того, чтобы употребить деньги, вырученные за вырубленный лес, на приобретение новых лесных дач, вместо того, чтобы как можно скорее засадить вырубленные участки; словом, вместо того чтобы восстановить ущерб, нанесенный казенному лесу, и таким образом восстановить свой основной капитал, — вырученные деньги пускали на покрытие текущих расходов и на выплату по долговым

обязательствам. Что и говорить, уменьшение государственного долга было чрезвычайно желательно, но те же злопыхатели твердили, что сейчас не время погашать долги.

Люди, не заинтересованные в том, чтобы золотить пилюлю, не могли не признать, что финансы страны находятся в полном расстройстве. Бремя государственного долга равнялось шестистам миллионам; народ терпеливо, самоотверженно нес это бремя, но в душе стонал. Ибо бремя, уже само по себе непосильное, еще усугубляли высокие проценты и тяжелые условия выплаты, обычно диктуемые государству с пошатнувшимся кредитом, чьи обязательства котируются очень низко, государству, которое в мире заимодавцев уже причисляется к «доходным», то есть платящим высокий процент.

Один тяжелый финансовый период сменялся другим, полосе дефицитов не было видно конца. Безалаберное ведение хозяйства не улучшалось от смены лиц, и единственное лекарство против подтачивающего государство недуга видели в новых займах. Еще министру финансов фон Шредеру, кристально чистая душа и благородные намерения которого не подлежат сомнению, великий герцог даровал личное дворянство за то, что тот сумел при чрезвычайно трудных обстоятельствах разместить под очень высокие проценты новый заем. Министр был искренне озабочен поднятием государственного кредита, но он не мог придумать другого выхода из положения, как прибегнуть к новым займам, чтобы покрыть старые, и, таким образом, его действия, хоть и предпринятые с самыми благими намерениями, оказались дорого обошедшимся самообманом. Ибо при одновременной выдаче и погашении векселей платят больше, чем получают, и на такой операции были потеряны миллионы.

Казалось, этот народ не способен дать мало — мальски одаренного финансового деятеля. Иногда прибегали к предосудительной практике и наивным подтасовкам. При утверждении бюджета уже нельзя было точно сказать, где обычные, а где чрезвычайные расходы. Обычные статьи расхода относили за счет чрезвычайных и тем самым обманывали и себя и весь свет, скрывая истинное положение вещей, ибо займы, сделанные якобы для покрытия чрезвычайных нужд, пускали на погашение дефицита в обычной смете. В течение какого-то времени финансовым ведомством фактически распоряжался бывший гофмаршал.

Доктор Криппенрейтер, к концу царствования Иоганна-Альбрехта III принявший в свои руки финансовое кормило, был тем самым министром, который провел в парламенте последнее и исключительно тяжелое

повышение налогов, ибо, подобно господину фон Шредеру, был убежден в насущной необходимости погашения долгов. Но страна, из которой вообще трудно было выжать налоги, была доведена до полного истощения, стала, можно сказать, неплатежеспособной, и Криппенрейтер пожал только общую ненависть. Предпринятая им операция свелась к перекладыванию капитала из одной руки в другую, причем с неминуемой потерей, ибо, повышая налог, взваливали на народное хозяйство более тяжкое и ощутимое бремя, чем то, которое с него снимали, погашая долги...

Где же в таком случае искать помощи и спасения? Ясно, что оставалось ждать только чуда, а пока оно не свершилось, нужна была строжайшая экономия. Народ был безропотный и преданный. Он любил своих государей, как самого себя, благоговел перед величием монархического принципа, считая, что власть монарха от бога. Но экономический гнет был слишком мучителен, слишком тягостен для всех. Даже самому невежественному человеку был понятен жалобный язык вырубленных и изувеченных лесов. Поэтому-то в ландтаге и настаивали на том, чтобы был урезан цивильный лист, сокращены уделы и ограничены суммы, отпускаемые министерству двора.

По цивильному листу выдавалось полмиллиона марок, оставшиеся у царствующего дома владения приносили семьсот пятьдесят тысяч марок. И это все. А двор был в долгу — сумму долга, возможно, знал граф Трюммергауф, великогерцогский финанц-директор, господин весьма представительный, но в деловом отношении абсолютно бездарный. Иоганн-Альбрехт не знал этой суммы, во всяком случае делал вид, что не знает, точно следуя в этом примеру отцов и дедов, которые уделяли своим долгам весьма мимолетное внимание.

— Если народ благоговел перед своими государями, то и у тех было соответственно развито чувство собственного величия, временами принимавшее фантастические размеры и всего заметнее — и опаснее — проявлявшееся в стремлении к пышности и безудержной роскоши как внешним выражениям этого величия. Одного из Гримбургов даже прозвали «Великолепный», но заслужили это прозвище почти все. Итак, задолженность дома Гримбургов была исторической и наследственной, уходящей в глубь веков, в те далекие времена, когда все займы были еще частным делом государя и когда Иоганн Жестокий брал ссуду под залог свободы своих именитых подданных.

Эти времена миновали, и Иоганн-Альбрехт III, истый Гримбург по своим замашкам, был решительно не в состоянии им следовать. Его отцы и деды основательно растрясли фамильное достояние, теперь оно было равно

нулю или вроде того, оно ушло на постройку загородных замков с французскими названиями и мраморными колоннадами, на парки с фонтанами, на роскошные оперные постановки и прочие дорогостоящие затеи. Теперь приходилось экономить, и, вопреки вкусам великого герцога, без всякого желания с его стороны, расходы на двор были постепенно урезаны.

О жизни, которую вела принцесса Катарина, сестра великого герцога, в столице говорили со слезами умиления. Ее муж принадлежал по женской линии к одному, из соседних царствующих домов; она овдовела, возвратилась в резиденцию брата и жила вместе со своими рыжеволосыми детьми в бывшем дворце наследного великого герцога на Альбрехтсштрассе, перед парадным входом которого целый день стоял рослый швейцар при булаве и с перевязью, но в самом дворце жизненный уклад был чрезвычайно скромнен...

С принцем Ламбертом, братом великого герцога, не очень считались. Он был не в ладах с семьей, которая не прощала ему мезальянса, и почти не появлялся при дворе. Он жил на своей вилле близ городского сада вместе с супругой, раньше исполнявшей всякие антраша на сцене придворного театра, а теперь именовавшейся баронессой фон Рордорф по одному из поместий принца. — Ему-поджарому спортсмену и театралу — долги были как бы даже к лицу, Он отказался от всех внешних атрибутов своего сана, держал себя как частное лицо, и слухи о том, что он живет безалаберно и скудно, никого особенно не трогали.

Но в Старом замке тоже произошли перемены и ограничения, о которых толковали и в столице и вообще в стране, и почти всегда с сокрушением и соболезованием, ибо в душе народ *хотел*, чтобы тот, кто его представляет, был горд и великолепен. Из соображений экономии соединили в одну несколько высших придворных должностей, и уже много лет господин фон Бюль цу Бюль был обергофмаршалом, оберцере — мониймейстером и гофмейстером в одном лице. Рассчитали многих из числа кухонной и дворцовой челяди, фурыеров, егерей и берейторов, придворных поваров и кондитеров, камердинеров и лакеев. На конюшне оставили только тех лошадей, без которых никак нельзя было обойтись... Чего этим достигли? Презиравший деньги герцог давал волю своему возмущению против такого стеснительного режима в неожиданных вспышках расточительности. Так он выбросил, вопреки здравому смыслу, доходы целого года на ремонт замка Гримбург, и это в то время, как на придворных раутах ограничивались предельно скромным угощением; в то время как на ужин, который по четвергам после концертов в Мраморном

зале сервировали на красных бархатных столиках с золочеными ножками, неизменно подавали ростбиф под острым соусом и мороженое; в то время как сам великий герцог с семейством ежедневно кушал за ярко освещенным восковыми свечами столом, но нисколько не лучше, чем семья чиновника средней руки.

Гримбург отремонтировали, но зато остальные дворцы впали в запустение. В распоряжении господина фон Бюля просто не было средств, чтобы под*держивать их в должном виде. А жалко, — многие стоило бы привести в порядок. Те, что находились в окрестностях столицы, и те, что были расположены вдали от нее, приютились в живописных уголках и привлекали как местных жителей, так и иностранцев, а вырученные за вход деньги шли иногда, — только иногда! — на содержание этих кокетливых и нарядных прибежищ, чьи изящные названия говорили о покое, уединении, утехе, развлечениях и беззаботной жизни; а иные носили название цветка или драгоценного камня. Тем же дворцам, что находились в пределах столицы, редко что перепало. Так, на северной окраине города, среди разросшегося парка, который переходил в городской вал, молча взирал на маленький подернутый ряской прудик очаровательный Эрмитаж, выстроенный в стиле ампира, задумчивый и изящно-строгий, но уже давно необитаемый и запущенный. Так, в четверти часа ходьбы от Эрмитажа, уже в самом городском саду, который в свое время целиком принадлежал великогерцогской фамилии, в северной его части, смотрелся в огромный четырехугольный бассейн с фонтаном обветшалый дворец Дельфиненорт. Оба дворца были в самом плачевном состоянии. Все ценители архитектурных красот скорбели о том, что Дельфиненорт, царственное здание во вкусе раннего барокко, обречен на утрату, что погибнет все это великолепие — благородная колоннада портала, высокие окна с частыми бельши переплетами, вырезанные из камня гирлянды, ниши с римскими бюстами, пышная парадная лестница; и когда в один прекрасный день, при совершенно непредвиденных, можно сказать, чудесных обстоятельствах дворец снова помолодел и расцвел, в среде любителей искусства это было встречено с большим удовлетворением... «Между прочим, от Дельфиненорта было рукой подать до курортного парка, который находился несколько на северо-запад от города и трамвайной линией был связан непосредственно с центром.

Летней резиденцией служили только два дворца: Голлербрунн — ансамбль белых зданий под китайскими крышами, — который был расположен по другую сторону холмов, опоясывающих столицу, на берегу реки, дающей приятную прохладу, и славился живой изгородью из сирени

вокруг парка; да еще Егерлрейс — охотничий домик, до самой кровли увитый плющом и затерянный среди лесов в западной части герцогства. И, наконец, имелся еще главный городской замок, который назывался «старым», хотя никаких новых не существовало.

Он назывался так не для сравнения, а только в соответствии со своим возрастом, и злопыхатели находили, что ему ремонт куда нужнее, чем замку Гримбург. Даже апартаменты, отведенные для официальных приемов и для пребывания высочайшего семейства, обветшали и поблекли, не говоря уже о нежилых и неиспользованных помещениях в наиболее старых частях сложного и запутанного здания. Там было темно и валялись дохлые мухи. С некоторых пор замок был закрыт для публики — мера, принятая несомненно потому, что внутри здание имело уж совсем неприглядный вид. Однако люди, которые пользовались доступом в него — поставщики и прислуга — рассказывали, что кое-где из чопорных парадных кресел вылезает морская трава.

Замок — полукрепость, полудворец-вместе с дворцовой церковью представлял собой серый, разностильный комплекс, который трудно было охватить одним взглядом, — с башнями, галереями, сводчатыми переходами. Над созданием его потрудились немало поколений, и во многих местах он обветшал, дал трещины, был поврежден, грозил обвалом. Замок круто обрывался к западной, более низко расположенной части города, откуда к нему можно было подняться по сломанным каменным ступеням, скрепленным ржавыми железными скобами. Но к Альбрехтспладу замок был обращен величественным порталом, охраняемым двумя сидящими львами, над головами которых были вырезаны полустершиеся от времени благочестивые, но гордые слова «*Turris fortissima nomen Domini*».^[3] Здесь было все — часовые и кордегардия, смена караула, барабанный бой, парады и глазеющие уличные мальчишки.

В Старом замке было три двора с красивыми башнями по углам, выстланные базальтовыми плитами, между которыми, впрочем, пробивалась сорная трава. А в центре одного двора рос розовый куст — рос с незапамятных времен посреди клумбы, хотя ничего другого, напоминающего сад, там не было. Это был обычный розовый куст, за ним ухаживал сторож; куст засыпало снегом, поливало дождем, припекало солнцем, а когда приходило время, на нем расцветали розы. Дивные розы, великолепные по форме, с темно-красными бархатными лепестками, радующими глаз, подлинное чудо природы. Но эти розы отличались редкой и страшной особенностью: они не пахли! Нет, они все-таки пахли,

но по неизвестным причинам не розами, а тлением, они испускали слабый, но совершенно явственный запах тления. Все это знали, об этом упоминалось в путеводителях, и иностранцы приходили во двор замка, чтобы убедиться в этом собственным носом. А в народе шла молва, будто где-то записано, что придет время, когда в радостный день общего благоденствия розы на кусте вдруг заблагоухают так, как им — положено от природы.

Впрочем, вполне понятно и закономерно, что необыкновенный розовый куст должен был пробудить народную фантазию. То же можно сказать и о «Совиной комнате», где, по слухам, было нечисто. Она помещалась в самом безобидном месте Старого замка, в сравнительно новой части здания-недалеко от парадных апартаментов и Рыцарского зала, куда придворные обычно собирались в дни больших выходов. Но об этой комнате ходили страшные слухи, говорили, будто там иногда подымается стук и возня, однако за стенами «Совиной комнаты» ничего не слышно, и доискаться, отчего возникают стуки, было невозможно. Божились, что этот шум сверхъестественного происхождения, и многие утверждали, будто он появляется преимущественно перед важными и решающими для царствующей династии событиями. Понятно, что это была неразумная болтовня, столь же малообоснованная, как и другие плоды народных поверий, навеянных историческими или династическими настроениями, вроде того неясного пророчества, которое уже больше ста лет передавалось до уст в уста в которое стоит упомянуть и здесь. Изрекла его старая цыганка; оно гласило, что государь «с одной рукой» принесет стране величайшее счастье. «Он даст стране одной рукой больше, чем другие двумя», — сказала косматая старуха. В таких словах было записано ее прорицание, и в таких же словах приводили его при всяком удобном случае.

Старый замок со всех сторон обступили общественные здания, памятники, фонтаны, скверы, площади и улицы столицы, названные в честь государей, художников, заслуженных сановников и знаменитых горожан, — Старый и Новый город, две неравные части, разделенные рекой с перекинутыми через нее мостами; река, образуя широкую излучину, огибала южную оконечность городского сада и терялась среди холмов, опоясывающих город... Город был университетский; в его высшей школе, привлекавшей не особенно много студентов, царил старомодный идеалистический дух, только профессор математики, тайный советник Клингхаммер, пользовался значительной известностью в научном мире... Придворный театр, хотя средства на него отпускались весьма скупо, стоял

на должной высоте... Город не был чужд музыкальных, литературных и художественных интересов... Туда наезжали иностранцы, которых привлекал размеренный образ жизни и духовные блага столицы; приезжали и состоятельные больные, надолго снимавшие виллы поблизости от курортного парка и в качестве хороших плательщиков пользовавшиеся почетом и уважением государства и населения.

Такова была столица. Такова была страна. Таково было положение дел.

БАШМАЧНИК ГИННЕРКЕ

Второй сын великого герцога впервые выступил как официальное лицо в день своих крестин. Это торжество встретило во всей стране живой отклик, как, впрочем, и все события, касающиеся августейшей семьи. Обряд крещения, распорядок которого в течение нескольких недель обсуждался на все лады и устно и в печати, был совершен в дворцовой церкви президентом консистории доктором богословия Визлиценусом с должной торжественностью и, можно сказать, публично, ибо по высочайшему повелению обергофмаршальская часть разослала приглашения лицам из всех классов общества.

Господин фон Бюль цу Бюль, чрезвычайно придирчивый и щепетильный блюститель придворного этикета, в полной парадной форме дирижировал вкупе с двумя церемониймейстерами сложным ритуалом: он следил за прибытием высоких гостей в парадные апартаменты; за торжественным шествием, предваряемым пажами и камергерами, по лестнице Генриха Великолепного и по крытому переходу в церковь; за порядком впуска публики, вплоть до высочайших особ; за распределением мест, даже за благолепием во время обряда крещения, за соблюдением ранга при церемонии поздравления, которая последовала сейчас же по окончании церковной службы... Он прерывисто дышал, подобострастно извивался и отступал, пятясь, восторженно улыбаясь и кланяясь.

Дворцовая церковь была декорирована растениями и коврами. На скамьях рядом с придворной и земельной знатью, высшими и средними чиновниками сидели, радуясь в сердце своем, представители торгового сословия, крестьяне и скромные ремесленники*. А впереди у алтаря разместились полукругом в красных бархатных креслах родственники младенца, иностранные высочества, приглашенные в воспитанники* и лица, представляющие тех из них, кто не прибыл лично. Шесть лет назад, на крестинах наследного великого герцога собрание было ничуть не более блистательное. Ведь второй сын своим появлением на свет в известной мере гарантировал продолжение династии, ибо Альбрехт был слабого здоровья, великий герцог уже в преклонном возрасте, а род Гримбургов беден прямыми потомками по мужской линии. Маленький Альбрехт не принимал участия в торжестве, он лежал в постели по причине нездоровья, которое согласно диагнозу лейб-медика Эшриха было нервного порядка.

Доктор Визлиценус произнес проповедь на текст из священного

писания, выбранный великим герцогом лично. «Курьер»» болтливая столичная газета, подробно рассказывал, как в один прекрасный день герцог собственноручно принес из редко посещаемой дворцовой библиотеки огромную фамильную библию с металлическими застёжками, заперся у себя в кабинете, не меньше часа листал ее, затем выписал своим карманным карандашом выбранный им стих на листок бумаги, поставил внизу свою подпись — «Иоганн-Альбрехт» и послал придворному проповеднику. Доктор Визлиценус разработал этот стих как лейтмотив, так сказать на музыкальный манер; он варьировал его на все лады, освещал со всех сторон; произносил то нежно журчащим голосом, то выкрикивал во всю мощь своих легких; и если вначале, когда он только создавал свой шедевр ораторского искусства, лейтмотив, исполненный тихо и задумчиво, звучал как схематичная, почти бестелесная тема, к концу проповеди, когда доктор Визлиценус в последний раз преподнес его собравшимся, он уже был богато инструментован, до конца истолкован и насыщен жизнью. Затем приступили к самому таинству крещения, и доктор Визлиценус совершал обряд медленно и обстоятельно, дабы ни одна деталь не пропала для собравшихся.

Итак, в этот день принц выступал публично в первый раз и играл первую роль — это явствовало уже из того, что он появился на сцене последним и на должном расстоянии от всех прочих. Он появился на руках у обергофмейстерины баронессы фон Шуленбург-Трессен вслед за медленно выступавшим господином фон Бюлем, и глаза всех были обращены на него. Младенец почивал среди кружев, лент и белого шелка. Одна его ручка случайно была прикрыта одеяльцем. Его появление умилило и обрадовало присутствующих, а сам младенец всем очень понравился. Несмотря на то, что он был главным действующим лицом и центром внимания, он вел себя скромно, ни на что не претендовал и, в полном согласии с законами природы, никакой активности не проявлял. Заслуга его заключалась в том, что он ничему не препятствовал, ни во что не вмешивался, не противился и — несомненно, в силу прирожденного такта — спокойно подчинился этикету, который опекал его, направлял и пока еще не требовал от него никаких усилий.

Несколько раз в точно установленные моменты церемонии он переходил из одних рук в другие. Баронесса фон Шуленбург с низким поклоном передала младенца его тете Катарине, даме со строгим выражением лица, с фамильными бриллиантами в куафюре, но в перешитом и перекрашенном лиловом шелковом платье. От Катарины младенца приняла Доротея, его мать, и с горделивой и пленительной

улыбкой на прекрасных устах высоко подняла навстречу умиленным взорам зрителей и торжественно держала положенный срок, а затем передала дальше. Минуты две он лежал на руках у одной из своих кузин, девочки лет одиннадцати-двенадцати, с белокурыми буклями, тоненькими как палочки ножками и голыми озябшими ручками, наряженной в белое платье с широким красным шелковым кушаком, завязанным сзади огромным торчащим бантом. Она глядела на церемониймейстера, и с ее остренького личика не сходило испуганное выражение.

Время от времени принц просыпался. Но мерцание свечей в алтаре и радужный солнечный столб, в котором плясали пылинки, ослепляли его, и он снова закрывал глаза. И тут же засыпал, потому что в данную минуту у него ничто не болело и в голове, не было никаких мыслей, а только приятные беспредметные сновидения.

Пока он спал, ему дали много имен, но основные, имена были: Клаус и Генрих.

И он продолжал спать в своей золоченой колыбельке под голубым шелковым пологом, пока семья и родственники кушали на торжественном обеде по случаю крестин в Мраморном зале, а прочие приглашенные — в Рыцарском.

Газеты горячо обсуждали его первое публичное появление; описывали его наружность и туалет и, облекая в слова то умилительное и возвышающее душу действие, которое произвел выход принца, единодушно утверждали, что он поистине вел себя достойно своего высокого назначения. Затем публика долгое время мало слышала о нем, а он ничего не слышал о ней.

Он еще ничего не знал, ничего не понимал, не догадывался о трудности и опасности предначертанной ему суровой жизни. Его жизненные проявления не допускали мысли, что он чувствует себя хоть в чем — либо отличным от прочих смертных. Его младенческое существование было безмятежным сновидением, которое разворачивалось под заботливым руководством извне в необозримо огромном мире, населенном бесчисленными разноцветными призраками, и бездействующими, и деятельными, и мимолетными, и постоянными.

К постоянным, но далеким, очень далеким и несколько смутным принадлежали родители. Что они его родители — это было ясно, и что они важные и ласковые — тоже. При их приближении все прочие расступались, почтительно давая им дорогу, по которой они шествовали к нему, чтобы приласкать его и снова исчезнуть... Ближе и явственнее других были две женщины в белых чепцах и передниках, несомненно

очень добрые, простодушные и любящие; они ухаживали за его маленьким тельцем и очень беспокоились, когда он плакал... Близким участником его жизни был также брат Альбрехт; но Альбрехт был серьезен, необщителен и ушел далеко вперед.

Когда Клаусу-Генриху исполнилось два года, великая герцогиня снова разрешилась от бремени, и на свет появилась принцесса. Ввиду того что она была женского пола, в честь нее дали всего тридцать шесть выстрелов; при крещении ее нарекли Дитлиндой. Это была сестра Клаусат Генриха, и ее рождение оказалось для него большим счастьем. Вначале она была удивительно маленькая и ей очень легко можно было сделать больно, но вскоре она сравнялась с ним, догнала его и целый день они проводили вместе. С ней вместе он рос, осматривался, постигал, осмысливал, одинаково с ней воспринимал окружающий их обоих мир.

А мир и его познание будили мысль. Зимой они жили в Старом замке, летом они жили в Голлербрунне — на берегу реки, в прохладе, в благоухании лиловых кустов, среди которых стояли белые статуи, — в летней резиденции. Когда они ехали туда или когда папа и мама брали их с собой на прогулку в крытом коричневом лаком экипаже с миниатюрной золотой короной на дверцах, прочие люди останавливались, кричали «ура» и кланялись, ведь папа был герцогом и государем, а значит, они тоже были принцем и принцессой — совершенно такими же, как принцы и принцессы во французских сказках, которые им читала мадам, выписанная из Швейцарии. Да, над этим стоило призадуматься, ведь это уж, несомненно, исключительный случай. Когда другие дети слушают сказки, они поневоле смотрят на принцев, о которых идет речь, из некоего отдаления, как на существа, по самому своему рангу принадлежащие не к реальному, а к другому, празднично разукрашенному миру, общение с которым облагораживает мысли, возносит над повседневностью. А Клаус-Генрих и Дитлинда смотрели на эти образы спокойно, как на себе подобных, равных им по рождению; они дышали одним с ними воздухом, жили, как и те, в замке, были с ними на товарищеской ноге и, слушая сказки, воображая себя их героями, не возносились над действительностью. Значит, они постоянно и непрерывно жили на той высоте, на которую прочие возносились, только слушая сказки? Если бы они могли выразить свой вопрос в словах, мадам, судя по всему ее поведению, ни в коем случае не ответила бы на него отрицательно.

Их мадам была вдовой пастора-кальвиниста, которую приставили к ним обоим, хотя у каждого было еще по две своих личных бонны. Мадам была вся черная и белая: чепец у нее был белый, а платье черное, лицо

белое и бородавка на щеке тоже белая, л волосы, прилизанные волосы, отливавшие металлическим блеском, были и черные и белые, вперемежку. Она была очень педантична и легко приходила в ужас. При всяком, хоть и не опасном, но все же недопустимом проступке она поднимала глаза к небу и в ужасе всплескивала своими белыми руками. А в особо серьезных случаях прибегала к самой кроткой и самой тяжелой воспитательной мере: она «с укоризной смотрела» на детей — они позабылись! Согласно полученному указанию мадам в один прекрасный день стала звать Клауса-Генриха и Дитлинду «ваше великогерцогское высочество» и с тех пор еще легче приходила в ужас...

Альбрехта, того называли «ваше королевское высочество». А дети тети Катарины не принадлежали по мужской линии к роду Гримбургов и, как выяснилось, пользовались поэтому меньшим почетом. Альбрехт был наследником престола и отцовского титула, и ему как будто даже пристало быть бледным и замкнутым и часто лежать в постели. Он носил австрийскую куртку с клапанами на карманах и вздержкой сзади. У него был вытянутый назад череп, сдавленные виски и продолговатое умное лицо. Еще совсем маленьким он перенес тяжелую болезнь, вследствие чего, по утверждению лейб-медика Эшриха, сердце у него временно «переместилось на правую сторону». Во всяком случае, он взглянул в лицо смерти, и это, вероятно, усугубило присущую ему гордую застенчивость. Он был чрезвычайно сдержанный, холодный от застенчивости и высокомерный от того, что он некрасив. Альбрехт слегка пришептывал, и это вгоняло его в краску, ибо он очень следил за собой. Одна лопатка была у него немного выше другой. Одним глазом он видел хуже другого и, когда готовил уроки, надевал очки, от чего казался старше и умнее... От Альбрехта ни на шаг не отходил его воспитатель, неизменно державшийся по левую руку от него, — доктор Фейт, господин с обвислыми, желтыми, как глина, усами, впалыми щеками и водянистыми, неестественно выпученными глазами. Доктор Фейт в любое время дня был одет во все черное и не расставался с книгой, которую, заложив указательным пальцем, держал в опущенной руке.

Клаус-Генрих чувствовал, что старший брат презирает его, и не только потому, что он моложе. Он, Клаус-Генрих, жалостлив и легко плачет. Таков уж он от природы. Он плачет, когда на него «смотрят с укоризной», а когда он до крови расшиб себе лоб об угол большого стола с игрушками, он громко разревелся от жалости к своему лбу. Альбрехт же не плачет ни при каких обстоятельствах, — ведь он взглянул в лицо смерти. Он чуть выпячивает короткую пухлую нижнюю губу и втягивает верхнюю — и это

все. Он истый аристократ. Их мадам всегда ставила его в пример, когда заходила речь о том, что *сopine il faut*,^[4] а что нет. Он ни за что не унился бы до беседы с принадлежащими к замку кавалерами в парадной экипировке, которые, собственно говоря, были не мужчинами и не людьми, а просто — напросто лакеями; а вот Клаус-Генрих, уловив минутку, вступал с ними в разговор. Альбрехт не был любопытен. Во взгляде его была отчужденность, не видно было потребности допустить до себя окружающий мир. Зато Клаус-Генрих вступал в беседу с лакеями как раз потому, что у него была эта потребность, и еще потому, что у него было, возможно опасное и неподобающее, однако настоящее, желание найти в своем сердце отклик на то, что лежит за гранью его мира. Но лакеи, и старые и молодые, и те, что у дверей, и те, что в коридорах, и те, что в аванзалах, лакеи в песочно-желтых гетрах, бархатных штанах и коричневых ливреях с красновато-золотистыми галунами, украшенными теми же миниатюрными коронами, что и дверцы экипажей, — лакеи, когда Клаус-Генрих подходил, чтобы поговорить с ними, вытягивались в струнку, держали по швам свои большие руки, чуть-чуть наклонялись к нему, от чего начинали болтаться их аксельбанты, и отвечали с подобающей почтительностью, но маловразумительно, особенно важным полагая титуловать его «ваше великогерцогское высочество», и при этом они улыбались с каким-то бережным сожалением, словно хотели сказать: «Ах ты, святая простота!» Время от времени, если представлялся случай, Клаус-Генрих предпринимал рекогносцировки в необитаемые области замка; когда же подросла его сестра Дитлинда, он стал брать ее с собой.

В ту пору ему давал уроки господин Дреге, попечитель средних учебных заведений, назначенный его первым учителем. Попечитель Дреге по натуре своей был человеком положительным, трезвого ума. Его сморщенный указательный палец, украшенный золотым перстнем с печаткой, полз вдоль строки, когда Клаус-Генрих читал, и не трогался с места, пока слово не было прочитано. На уроки он приходил в сюртуке и белом жилете, с ленточкой второстепенного ордена в петлице, в просторных сапогах, начищенных до глянца, но с голенищами того цвета, какого им положено быть от природы. У него была седая подстриженная конусом борода, а из больших прижатых ушей торчал седой пух. Свои каштановые волосы он начесывал на виски загибающимися кверху зубчиками и делал аккуратный пробор, так что видно было желтую кожу, дырчатую, как канва. Но сзади и с боков из-под густых каштановых волос вылезали жидкие седые косицы. Он кивал головой лакею, который распахивал перед ним дверь в большую классную комнату с деревянной

панелью, где его ждал Клаус-Генрих. Зато Клаусу-Генриху он кланялся не на ходу и не вскользь, а весьма заметно и проникновенно, — он приближался к нему и ждал, когда его августейший ученик подаст ему руку, что Клаус-Генрих и делал. И оба раза — и здороваясь и прощаясь — Клаус-Генрих старался подражать пленительно-изящному округлому жесту, каким его отец протягивал руку стоявшим в ожидании этого мгновения господам. И обе эти церемонии представлялись Клаусу-Генриху куда важнее и существеннее того, чем был заполнен промежуток между ними, то есть самих занятий.

Попечитель Дреге приходил и уходил много-много раз, и за это время Клаус-Генрих незаметно усвоил всякие полезные знания, сам того не ожидая и не думая, он преуспел в чтении, письме и счете и мог по первому требованию перечислить почти без ошибок все города и местечки великого герцогства. Но, как уже было сказано, не это представлялось ему нужным и существенным. Иногда, когда он бывал рассеян во время уроков, господин Дреге увещевал его, ссылаясь на его высокое назначение: «Ваше высокое назначение обязывает вас...» — говорил он, или: «Это ваш долг по отношению к вашему высокому назначению...» Что это за назначение и почему оно высокое? Почему улыбаются лакеи: «Ах ты, святая простота!» — и почему мадам приходит в такой ужас, когда он хоть чуть-чуть даст себе волю и расшалится? Он смотрел на окружающий мир и временами, когда он пристально и долго вглядывался и старался проникнуть в сущность явлений, в нем возникало смутное ощущение того «особого», для чего он предназначен.

Как-то он зашел в одну из зал парадных апартаментов — в Серебряную залу, где, как он знал, великий герцог, его отец, дает торжественные аудиенции большому кругу лиц. Он случайно очутился один в пустом покое и теперь разглядывал его.

Стояла зима, и было холодно; его башмачки отражались в блестящем, как стекло, выложенном большими светло-желтыми квадратами паркетном полу, который расстился перед ним словно ледяная гладь. Потолок с посеребренными лепными украшениями был очень высокий, и серебряная, густо усаженная длинными белыми свечами люстра, парившая там наверху, в центре этого необъятного пространства, висела на длинном-предлинном металлическом стержне. Под самым потолком шел окаймленный серебром бордюр с поблекшей живописью. Стены были обтянуты белым шелком, местами порванным и в желтоватых пятнах обрамленным серебряным багетом. Ту часть зала, где помещался камин, отделяло от всей комнаты сооружение вроде монументального балдахина,

покоящегося на массивных серебряных колоннах и украшенного спереди подобранной в двух местах серебряной гирляндой, а с верхушки балдахина глядел в зал задрапированный искусственным горностаем портрет давно умершей прабабки в напудренном парике. Широкие посеребренные кресла, обитые белым посекавшимся шелком, стояли вокруг нетопленного камина. Вдоль боковых стен уходили ввысь друг против друга вставленные в серебряные рамы огромные зеркала со стершейся кое-где амальгамой, а по бокам на широких белых мраморных консолях стояли подсвечники — два справа и два слева, те, что пониже, спереди, а те, что повыше, сзади; в них были воткнуты свечи, так же как и в бра на стенах, так же как и в четыре серебряных канделябра по углам зала. С высоких окон на правой стене, которые выходили на Альбрехтсплац, пышными и тяжелыми складками падали на паркет шелковые белые драпри в желтых пятнах, подобранные серебряными шнурами и подбитые кружевом; а за окном на карнизах мягкими подушками лежал снег. В центре зала, под люстрой, стоял стол средних размеров, серебряная ножка которого изображала сучковатый ствол, а восьмиугольная доска была из молочно-белого перламутра, — стоял без всякой надобности, не окруженный стульями, предназначенный самое большее для того, чтобы во время непродолжительных торжественных аудиенций можно было на него опереться в ту минуту, когда лакеи распахнут обе створки двери и впустят явившихся в парадной одежде господ.

Клаус-Генрих смотрел в зал и ясно видел, что нет здесь ничего от той трезвой деловитости, которую, несмотря на все свои поклоны, требовал от ученика попечитель Дреге. Здесь царила праздничная торжественность воскресного дня, совсем как в церкви, где требования учителя были бы также неуместны. Строгая отвлеченная пышность, бесцельная и неудобная, господствовала здесь в обстановке, вся мебель была расставлена в угоду формальной, самодовлеющей симметрии... Да, конечно, это высокое и напряженное служение, совсем не легкое и не приятное, обязывающее к известной выправке, к умению владеть собой и к самоотречению, но во имя чего? Выразить это словами было невозможно. И в Серебряном зале со множеством свечей было холодно, как в зале снежной королевы, где замерзали сердца детей.

Клаус-Генрих прошел по зеркальной глади к столу в центре комнаты. Он слегка оперся правой рукой о перламутровую крышку, а левой подбоченился, не выставляя руки вперед, так, чтобы она была почти за спиной и чтобы спереди ее не было видно, потому что левая рука у него некрасивая: коричневая и сморщенная и короче правой. Он перенес всю

тяжесть тела на одну ногу, а другую выставил немного вперед и устремил взор на украшенную серебром дверь. И место и поза не располагали к сновидениям, и все же он видел сны.

Он видел отца и всматривался в него, как перед тем в зал, чтобы понять. Он видел усталый высокомерный взгляд его выцветших глаз, надменные угрюмые морщины, которые шли от ноздрей к подбородку и в минуты раздражения или скуки становились глубже и длиннее... Заговорить с ним, так просто взять и заговорить, не дожидаясь, пока он задаст вопрос, — нельзя, даже им, его детям, это запрещено, это опасно. Он, правда, ответит, но холодно и отчужденно, и на лице у него появится беспомощное выражение, мгновенное замешательство, глубоко понятное Клаусу-Генриху.

Папа сам начинает и кончает разговор. Так это заведено. Он милостиво беседует с приглашенными перед началом придворного бала и по окончании парадного обеда, которым открывается зимний сезон* Вот он идет вместе с мамой по анфиладе комнат в зал, где собрались придворные чины, идет через Мраморный зал и парадные апартаменты, через картинную галерею, Рыцарский зал, зал Двенадцати месяцев, аудиенцзал и бальный зал, идет не только в установленном направлении, но и по установленному маршруту, и путь для него заранее очищает услужливый господин фон Бюль, идет и обращается с милостивыми словами к дамам и господам. Тот, с кем он заговорит, отступает с низким поклоном, — так, чтобы между ним и папой остался порядочный кусок блестящего паркета, — и, ошарашенный, почтительно отвечает. Затем папа кланяется, соблюдая все ту же дистанцию, предписанную соображениями безопасности, — она ограничивает движения прочих и выгодно оттеняет папину осанку, — кланяется слегка и с улыбкой следует дальше, кланяется слегка, с улыбкой... Ну конечно же, он, Клаус-Генрих, понимает замешательство, на мгновение изменявшее выражение папиного лица, если кто-нибудь, забыв об этикете, заговаривал с ним первый, понимает, и ему тоже в таких случаях становится страшно! Всякое грубое прикосновение больно задевает, ставит под угрозу то неуловимое, чем продиктовано наше поведение, и мы теряемся. И все-таки как раз это нечто неуловимое придает усталое выражение нашим глазам и прокладывает такие глубокие морщины скуки на нашем лице...

Клаус-Генрих стоял и смотрел. Он видел свою мать, видел ее прославленную, всеми признанную красоту. Он видел, как она стоит в robe de cérémonie^[5] перед большим освещенным свечами зеркалом, одеваясь к придворному балу, — ему иногда разрешается присутствовать при том, как

придворный куафер и камеристки заканчивают ее туалет. Господин фон Кнобельсдорф тоже присутствует, когда маму украшают коронными бриллиантами, он следит и записывает, какие драгоценности взяты. Вокруг его глаз играют морщинки и он смешит маму забавными словечками, от чего у нее на нежных щеках обозначаются очаровательные ямочки. Но смех ее деланный, снисходительный смех, и, смеясь, мама смотрится в зеркало, словно практикуясь.

Говорят, будто у нее в жилах течет и славянская кровь, вот потому-то ее синие глаза и мерцают таким ласковым блеском, а ее ароматные волосы черны, как ночь. Клаус-Генрих слышал, как говорили, что он на нее похож; во всяком случае у него тоже синие, как сталь, глаза и темные волосы, а Альбрехт и Дитлинда блондины, такие же, каким прежде был папа, до того как поседел. Но Клаус-Генрих совсем не красив, потому что у него широкие скулы, а главное — это левая рука; мама требует, чтобы он ее ловко прятал: держал в боковом кармане курточки, за спиной или спереди за пазухой; требует, чтобы он ее прятал как раз тогда, когда он в порыве нежности хочет обнять маму обеими руками. Взгляд ее холоден, когда она требует, чтобы он не забывал о руке.

Он видел мать такой, как на портрете в Мраморном зале: в переливчатой шелковой робе с кружевом и в длинных перчатках — между перчаткой и пышным рукавом светится только узенькая полосочка ее жемчужно-белой руки — в темных, как ночь, волосах диадема, вот она — гордая и великолепная, на удивительно строгих устах играет холодная улыбка уверенной в своем совершенстве красавицы, а за ней павлин с голубой, отливающей металлическим блеском шеей распустил свой спесивый хвост. Лицо у нее такое нежное, но красота делает его холодным, и видно, что и сердце у нее холодное, и заботится она только о своей красоте. Если вечером предстоит бал или раут, она спит днем и, чтобы не отяжелить желудка, кушает только гоголь-моголь. А вечером, ослепительно прекрасная, проходит под руку с папой анфиладой зал по предписанному этикетом пути, — и седые сановники краснеют, когда она удостоивает их словом; а потом «Курьер» пишет, что ее королевское высочество была царицей бала не только по своему высокому рангу. Да, где бы она ни появлялась, при дворе, на улице, на каждодневной прогулке в городском саду, пешком или в экипаже, — все ошастливлены ее появлением, у всех на щеках вспыхивает румянец. Ее встречают цветами, приветственными кликами, к ней устремляются все сердца. И ясно, что славя ее высочество, они и сами возносятся на высоту и верят в это мгновение во все высокое, Но Клаус-Генрих отлично знает, что мама

проводит долгие часы, старательно изучая свою красоту, что ее улыбки и поклоны продуманы и затвержены и что ее собственное сердце никогда и ни для кого не забьется сильнее.

Любит ли она кого-нибудь? Хотя бы его, Клауса — Генриха? Ведь он же похож на нее! Ну да, конечно, любит, когда не занята ничем другим, любит и тогда, когда холодно напоминает ему о руке. Но она как будто бережет нежные слова и ласки для тех случаев, когда есть кому умиляться на такое назидательное зрелище. Клаус-Генрих и Дитлинда не часто бывают с матерью, ведь они не обедают за одним столом с родителями, как с некоторых пор обедает Альбрехт, престолонаследник; они кушают отдельно со своей мадам; а когда их зовут в мамины апартаменты — это бывает не чаще чем раз в неделю, — дело обходится без всяких нежностей. Мама спокойно задает вопросы, они отвечают, как полагается воспитанным детям, и важно только одно: чинно сидеть в кресле и не расплескать чашку с молоком. Зато во время концертов, которые бывают через четверг в Мраморном зале и называются «четвергами великой герцогини», Клаусу-Генриху и Дитлинде, разодетым по этому случаю, разрешается прослушать один номер программы и провести антракт в зале вместе с гостями, сидящими за красными бархатными на золоченых ножках столиками, в то время как солист его высочества, господин Шрам из придворной оперы, поет под аккомпанемент рояля так громко, что надуваются жилы на его лысом темени — Вот тут мама демонстрирует свою нежную любовь к детям, демонстрирует им и всем прочим так искренне и выразительно, что усомниться в ее любви невозможно. Она подзывает их к своему столику, сияя от счастья, ставит по обе стороны от себя, прижимает их головки к груди или плечу, ласковым, умиленным взглядом смотрит им в глаза и целует в лоб и в губы. Дамы меж тем склоняют на плечо голову, растроганно улыбаются и быстро-быстро моргают, а господа медленно кивают головой и кусают усы, дабы, как то полагается мужчинам, побороть обуревающие их чувства. Да, картина получалась поистине умирительная, и дети чувствовали, что и они играют здесь не малую роль и что самые сладостные романсы господина Шрама не могут произвести такого сильного впечатления, и с гордостью прижимались к маме. Для Клауса-Генриха, во всяком случае, было ясно: нам, по нашему положению, не пристало просто чувствовать и довольствоваться своим чувством. Нет, нам подобает демонстрировать нашу нежную любовь гостям, присутствующим в зале, — пусть смотрят на нас и умиляются сердцем. Иногда и народу на улицах и гуляющим в парке доводится видеть, как мама нас любит.

Альбрехт сопровождает на утреннюю прогулку, — в экипаже или верхом, несмотря на то, что он очень плохо сидит в седле, — великого герцога, зато Клауса-Генриха и Дитлинду, по очереди, иногда берет с собой мама, когда весною и осенью выезжает под вечер на прогулку в сопровождении баронессы фон Шуленбург-Трессен. Клаус-Генрих всегда бывал возбужден и взволнован перед этими прогулками, которые не только не доставляли ему удовольствия, а, наоборот, утомляли и требовали напряжения сил. Потому что, когда коляска выезжала из ворот со львами на Альбрехтсплац, мимо салютующих гренадеров, ее встречала толпа: мужчины, женщины и дети, они кричали «ура!» и жадно смотрели, и надо было все время следить за собой, делать приятное лицо, улыбаться, прятать левую руку и приподымать шляпу, вызывая восторг в народе. И так все время — и пока едут по городу и уже за городом. Другие экипажи должны держаться на известном расстоянии от нас, за этим смотрит полиция. Но пешеходы стоят по обе стороны дороги, дамы низко приседают, господа держат в руке шляпу и смотрят снизу вверх с благоговением и острым любопытством — и Клаус-Генрих был убежден: народ для того и существует, чтобы стоять там и смотреть на него, а он существует для того, чтобы показываться народу и чтобы на него смотрели, а это куда труднее. Он держит левую руку в кармане пальто и улыбается, как велела мама, а щеки у него горят. На следующий день «Курьер» сообщает, что у нашего маленького герцога на щечках играет румянец, а сам он пышет здоровьем.

Клаусу-Генриху было тринадцать лет, когда он стоял у одинокого перламутрового столика в центре холодного Серебряного зала и старался понять, что же это такое то «особое», что является его уделом. И когда ему приоткрылся внутренний смысл явлений, когда он смутно понял, зачем это пустое, обветшалое великолепие покоев, бесполезных и безрадостных в своей гордыне, это самоотверженное умение владеть собой, высокое и напряженное служение, которое, казалось, олицетворяла строгая симметрия белых свечей, откуда выражение мимолетной растерянности на лице отца, если кто-нибудь сам, первый обращался к нему, чем объясняются улыбка матери, предоставлявшей любоваться своей холодной, заботливо выхоленной красотой, благоговейные и назойливо любопытные взгляды людей на улице, — когда он это понял, им овладело предчувствие, неоформленное в слова, сознание того, для чего он существует. И ему стало страшно своего назначения, его охватил трепет, он ужаснулся своего «высокого призвания» и, закрыв лицо обеими руками, обеими, — и короткой, сморщенной левой тоже, — склонился на одинокий столик и горько заплакал. Он плакал от жалости к себе и к своему сердцу

до тех пор, пока не пришла мадам, и не подняла глаза к небу, и не всплеснула руками, и, допрашивая, не увела его прочь... Он сказал, что испугался, и это была правда, Клаус-Генрих не знал, не понимал, не подозревал, какая ему предстоит многотрудная и суровая жизнь; он был веселым, шаловливым мальчиком и часто давал мадам повод ужасаться. Но уже очень рано начали накапливаться у него впечатления, которые не позволяли ему закрывать глаза на подлинное положение вещей. В северном предместье неподалеку от курортного парка возникла новая улица; ему сообщили, что магистрат постановил назвать ее улицей Клауса-Генриха. Во время одной из прогулок мать заехала вместе с ним в художественный магазин; ей надо было что-то купить. Лакей дожидался их у дверцы коляски. Собралась публика, ошарашенный хозяин магазина не знал, чем услужить, — нового в этом ничего не было. Но Клаус-Генрих впервые заметил, что в витрине выставлена его фотография. Она висела рядом с портретами художников и великих людей, людей со светлым челом, глядящих на мир из своего славного одиночества.

В общем, Клаусом-Генрихом были довольны. Он все лучше и лучше усваивал умение держать себя и спокойную осанку, ибо понимал, к чему обязывает его высокое призвание. Но необычно было то, что наряду с этим росла в нем потребность уклониться в сторону, жажда «познать», для удовлетворения которой попечитель Дреге был неподходящим человеком, — именно эта потребность и побудила его тогда поговорить с лакеями. Больше он этого не делал, разговоры не привели ни к чему. Лакеи улыбались: «Ах ты, святая простота!» — их улыбки только укрепляли его в смутном сознании, что его мир — мир торжественной симметрии свечей — неведомо почему; противопоставлен прочему миру; укрепляли, но не помогали. Во время прогулок в экипаже и пешком в городском саду с Дитлиндой и с их мадам, в сопровождении лакея, он вглядывался во все вокруг. Он чувствовал: если все объединились против него, чтобы смотреть, а он один обособлен, выделен, чтобы смотрели на него, значит он не причастен к их жизни и делам. Он догадывался, что они вряд ли всегда такие, какими видит их он, когда они стоят и с благоговением смотрят на него; что, должно быть, его «святая простота»-причина их благоговейных взоров, что мысли их облагораживаются, а сами они поднимаются над повседневностью, совсем как те дети, которые слушают про сказочных принцев. Но он не знал, какие они обычно, когда ничто не поднимает их над повседневностью, не облагораживает, — . его «высокое назначение» скрывало от него обыденную сторону жизни, а раз это так, его желание ближе соприкоснуться с тем, что именно из-за его высокого

назначения от него скрыто, — опасное и неподобающее желание. И все-таки он этого желал, желал ревностно, все из той же потребности уклониться в сторону, потребности, которая временами, когда представлялся случай, побуждала его отваживаться вместе с сестрой Дитлиндой на рекогносцировки в необитаемые области Старого замка.

Они называли это «отправляться на разведки», и соблазн «отправиться на разведки» был велик — ведь освоиться с планом и структурой Старого замка было совсем нелегко, и всякий раз, как им удавалось проникнуть в неведомые дали, они открывали комнаты, кладовые и пустые залы, которых никогда раньше не видели, а иногда и необычные кружные пути в уже знакомые комнаты. И вот однажды во время такой разведки произошла неожиданная встреча, они наткнулись на приключение, само по себе как будто и не особо важное, но для Клауса — Генриха оказавшееся и волнующим и поучительным.

Их мадам отлучилась в церковь к вечерней службе, и случай представился. Детей позвали к великой герцогине, где в присутствии двух статс-дам они выпили свою порцию молока, налитого в чайные чашки; а затем их отправили обратно, наказав взяться за руки и идти играть к себе в детскую, находившуюся неподалеку. Ему, Клаусу-Генриху, провожатые не нужны, он уже большой и сам доведет Дитлинду. Да, это правда, он уже большой; и, выйдя в коридор, он сказал:

— Послушай, Дитлинда, мы, конечно, пойдем в детскую, но, знаешь, идти по короткой, уже надоевшей дороге не стоит. Давай сперва отправимся на разведки. Если подняться лестницей выше и пройти по коридору до сводчатых переходов, то попадешь в зал с колоннами. А в зале с колоннами за одной из дверей есть винтовая лестница. Если взобраться по ней, то очутишься в комнате с деревянным потолком, а там куча всяких замечательных вещей. А что дальше за этой комнатой, я еще не знаю, вот это мы и исследуем. Ну* как, идем?

— Да, идем, — сказала Дитлинда, — только не очень далеко, Клаус-Генрих, и не гуда, где очень много пыли, потому что на моем платье все заметно.

Она была в темно-красном бархатном платье; с атласной отделкой того же цвета. В то время у нее еще были ямочки на локтях и золотистые волосы, закрученные над ушами в локоны, как рога у барана. Впоследствии она превратилась в худощавую пепельную блондинку. И у нее тоже было отцовское широкое и скуластое лицо, типичное для их народа, но такое нежное по очертанию, что это ничуть не портило изящество его овала. А у Клауса-Генриха скулы были резко очерчены и сильно выражены, и даже

казалось, что из-за скул не хватило места для его стальных синих глаз и разрез их сузился и удлинился. Его темные волосы были причесаны на косой пробор; на висках аккуратно подстрижены под прямым углом, откинuty со лба и приглажены щеткой — На нем была открытая курточка с белым отложным воротником и доверху застегнутый жилет. Правой рукой он вел за ручку Дитлинду, а левая, сухая и короткая с коричневатой, сморщенной и плохо развитой кистью, болталась вдоль тела. Он был рад, что может не думать о ней, не заботиться, как ее лучше спрятать, ведь сейчас никто не смотрит на него, никто не жаждет облагородиться и подняться над повседневностью, он сам может смотреть и постигать сколько душе угодно.

Итак, они последовали своему желанию и отправились на разведки. В коридорах было пусто, иногда только где-то в отдалении виднелся лакей. Они поднялись по лестнице и дошли по коридору до сводчатых переходов, — значит, теперь они очутились в той части замка, которая была построена во времена Иоганна (Жестокого и Генриха Смиренного, что знал и объяснил Дитлинде Клаус-Генрих. Они дошли до зала с колоннами, и тут Клаус-Генрих быстро насвистал мелодию, и к аркам крестового свода вознесся звонкий аккорд, ибо, когда звучала последняя нота, еще не замолкли отголоски первых. Они вскарабкивались ощупью, а кое-где и на четвереньках по каменной винтовой лестнице, находившейся за одной из тяжелых дверей, и попали в комнату с деревянным потолком, где нашли много редкостных предметов. Там были большие и нескладные поломанные ружья с ржавыми замками, вероятно уж очень плохие и потому не взятые в музей, и вышедшее в отставку, покрытое порванной красной бархатной обивкой тронное кресло на коротких, сильно выгнутых ножках в виде львиных лап и с двумя купидонами, которые парили над спинкой, держа в руках корону. А потом там был какой-то сильно погнутый и заросший пылью предмет, похожий на клетку и препротивный с виду, который надолго привлек их внимание. Если они правильно догадались — так это крысоловка, вон там железный крючок, на который нацепляют сало, и страшно даже подумать, как эта дверка захлопывалась за большой злющей крысой... Да, на крысоловку ушло много времени, и когда дети наконец оторвались от нее, лица у них были разгоряченные, а сами они — в пыли и ржавчине. Клаус — Генрих отряхнул платье и себе и Дитлинде, но толку от этого было мало, потому что руки у него тоже были серые от пыли. И вдруг они заметили, что уже темнеет. Надо было спешить обратно, Дитлинде стало страшно. Она настойчиво просилась домой: слишком поздно, дальше идти нельзя.

— Ужасно жалко, — сказал Клаус-Генрих. — Кто знает, что бы еще мы открыли, Дитлинда; и когда теперь будет случай отправиться на разведки!

Но все же он пошел за сестрой, они второпях спустились по винтовой лестнице, прошли зал с колоннами и вышли в сводчатый коридор, а оттуда, держась за руки, поспешили домой.

Так они прошли часть пути; но Клаус-Генрих качал головой: ему казалось, что сюда они шли не этой дорогой. Они продолжали свой путь, хотя по многим признакам было ясно, что идут они не туда, куда надо. Вот эта каменная скамья с головами грифонов здесь тогда не стояла. Это стрельчатое окно выходит теперь на западную, низкую часть города, а не на внутренний двор с розовым кустом. Они заблудились, незачем обманывать себя дольше; верно, они вышли из зала с колоннами не через ту дверь, во всяком случае теперь они окончательно сбились с пути.

Они пошли обратно, но возвращаться далеко назад побоялись, и потому предпочли опять повернуть и, раз уж вступили на эту дорогу, идти по ней дальше. Они шли по давно не проветривавшимся комнатам, с большими, никем не потревоженными паутинами по углам, они шли и волновались; Дитлинда раскаивалась, что пошла, и, казалось, вот-вот разревется. А что, если их хватятся, если будут «с укоризной смотреть на них», а то еще обо всем расскажут великому герцогу; им нипочем не найти дороги, о них забудут, и они умрут с голоду... А где крысоловки, там и крысы, да, Клаус-Генрих, там и крысы... Клаус-Генрих утешал сестру. Надо только дойти до того места, где висят на стене латы и скрещенные знамена; оттуда он уж наверное найдет дорогу, И вдруг, — они как раз завернули за угол коридора, — вдруг случилось что-то страшное. Они оцепенели.

Нет, они слышали не отзвук собственных шагов; это другие, чужие шаги, тяжелее, чем у них, шаги приближались им навстречу, то быстрые, то неуверенные, и одновременно слышалось какое-то сопение и бормотание, от которого стыла кровь в жилах. Дитлинда чуть не убежала со страха, но Клаус-Генрих крепко держал ее за руку, и они остановились, широко открыв испуганные глаза, и ждали, когда надвинется то, что надвигалось.

Оказалось, что это человек, его уже было видно, хоть и стемнело, и, собственно говоря, в нем не было ничего страшного: коренастый человек, одетый как отставной служака в праздничный день, в сюртуке старомодного покроя, с шерстяным шарфом на шее и медалью на груди. В одной руке он держал цилиндр с загнутыми полями, в другой кое-как

свернутый зонт с костяной ручкой, равномерный стук которого о каменные плиты вторил его шагам. Редкие седые волосы были зачесаны от уха вверх и наискось и слипшимися косицами шли через всю лысину, У него были черные брови дугой, желтовато-белая борода, которая росла так же, как у великого герцога, тяжелые веки и голубые выцветшие глаза с дряблыми мешками под ними, у него были типичные для жителей здешних мест скулы, а его покрасневшее морщинистое лицо, казалось, было все в трещинах. Он, должно быть, узнал детей, потому что, подойдя ближе, прижался к стене, стал во фронт и принялся отвешивать один за одним низкие поклоны, каждый раз быстро выбрасывая вперед весь корпус, и при этом он почтительно улыбался, а цилиндр держал перед собой, тулией вниз. Клаус-Генрих хотел пройти мимо, кивнув головой, но в удивлении остановился, ибо отставной служака вдруг заговорил.

— Прошу прощения! — громко выпалил он, а затем продолжал уже спокойнее: — Покорнейше прошу прощения, молодые господа! Не прогневайтесь, что я взял на себя смелость обратиться к вам с нижайшей просьбой: ежели будет на то ваша милость, укажите мне ближайшую дорогу к ближайшему выходу. Не обязательно к выходу на Альбрехтсплац, — все равно куда, пусть не на Альбрехтсплац. Любой выход из замка, ежели только вы не сочтете для себя за обиду, что я осмеливаюсь докучать вам.

Клаус-Генрих подбоченился левой рукой, так что ее почти не было видно, и стоял, опустив глаза. С ним заговорили так просто, взяли и заговорили, в неподобающей форме задали напрямик вопрос; он вспомнил отца и сдвинул брови. Он напряженно думал, как выйти из такого неловкого и непредусмотренного положения. Альбрехт, тот сделал бы обычную гримаску, выпятил нижнюю, короткую и пухлую губу, втянул верхнюю и молча пошел бы своей дорогой, — это уж наверняка. Но ежели ты хочешь с надменным и обиженным видом пройти мимо первого же серьезного приключения, то незачем тогда было отправляться на разведки! А человек это честный и ничего дурного не замышляет, это Клаус-Генрих увидел, когда заставил себя посмотреть на него. И тогда он просто сказал:

— Пойдемте с нами, так будет лучше всего. Я охотно покажу вам, где надо свернуть к выходу.

И они пошли вместе.

— Благодарствуйте! — сказал человек. — От всей души благодарю за любезность! Мне и не снилось это уж как бог свят, что доведется гулять по Старому замку с великогерцогскими детками. А ведь вот же — довелось, и когда — когда я чуть не лопнул со злости, а обозлился я здорово, что греха

таить... да, чуть не лопнул со злости... и вдруг такая мне честь, такая радость.

Клаусу-Генриху очень хотелось спросить, что так разозлило старика. Но тот уже сам продолжал и при этом стучал зонтом по плитам в такт своим словам.

— Хоть здесь в коридорах и темновато, я сейчас же признал в вас деток нашего герцога, небось не раз видел, как вы катались в коляске, и всегда на вас радовался, у меня ведь у самого тоже двое таких клопов растёт, я хотел сказать, что это у меня клопы-то, что мои... и мальчишку тоже Клаусом-Генрихом зовут.

— Совсем как меня, обрадовался Клаус-Генрих. — Вот приятное совпадение!

— Совпадение?! — Нет! *В вашу честь* назвали! — сказал старик. — Какое тут совпадение, раз он в вашу честь назван, ведь мой-то всего на несколько месяцев вас моложе, в нашем городе и во всем государстве многих так зовут, и все в вашу честь названы. Какое уж там совпадение. Совпадение тут ни при чем...

Клаус-Генрих спрятал руку и промолчал.

— Да, сразу признал, — сказал старик. — И подумал: слава богу, думаю, вот это называется — не везло, не везло, да вдруг повезло, залез старый дурак в мышеловку, а они тебя выручат, теперь можешь радоваться, думаю, не ты первый так влопался. Многих эти стервецы облапошили, да только не всем такое счастье, как мне...

«Стервецы»? — повторил про себя Клаус-Генрих. — «Облапошили»? Он уставился в одну точку и не решался задать вопрос. Страх и надежда охватили его... Он тихонько спросил:

— Кто вас облапошил?

— Прямо сказать, одурачили! — подхватил старик. — Одурачили, да еще как ловко! Одно скажу — хоть вы и молоды, а мои слова вам на пользу пойдут, — одно скажу: очень здесь народ испоганился. Приходишь и сдаешь заказ, со всем, можно сказать, нашим уважением... Господи помилуй! — вдруг крикнул старик и хлопнул себя цилиндром по лбу. — Да ведь я вам не представился, не объяснил кто я? Гинлерке! — сказал он. — Хозяин башмачной мастерской Гиннерке, поставщик двора, служил в армии, имею награды. — Он ткнул указательным пальцем своей большой, заскорузлой, в желтоватых пятнах руки себе в грудь, где висела медаль. — Дело в том, что ого королевское высочество, ваш папаша, соизволили заказать мне сапоги, ботфорты с крепким задником для шпор, лакированные ботфорты, и чтоб кожа — первый сорт. Вот я их и сшил,

собственными руками, никому не доверил, чтоб все в аккурате было; сегодня я их закончил, страсть как блестят. Ну, думаю, надо самому снести... у меня по заказчикам мальчик ходит, но тут, думаю, надо самому снести, сапоги-то не для кого-нибудь, а для великого герцога. Ну, одеваюсь, сапоги под мышку и — в замок. «Хорошо», — говорят лакеи и хотят взять сапоги. «Ну, нет», — говорю, потому у меня к ним доверия нет. Я, извольте видеть, звание придворного поставщика и заказы потому получил, что обо мне в городе хорошая слава идет, а не потому, что я дворцовым лакеям деньги давал. Да уж очень их поставщики чаевыми набаловали, ну и с меня захотели комиссионные получить. «Ну, нет, — говорю, потому я плутней и всякого шахер-махерства не люблю, — я хочу передать сапоги лично, и уж если не в собственные руки великому герцогу, так его камердинеру, господину Пралю». Они обозлились, но говорят: «Тогда вам надо наверх подняться!» Поднялся. А там наверху опять лакеи. «Хорошо!»-говорят и хотят взять сапоги, но я стою на своем, требую господина Праля. Они говорят: «Господин Праль пьет кофе», но я не сдаюсь, — в таком случае, говорю, обождем, пока он напьется. И только я это сказал — глядь, кто это там в башмаках с пряжками идет? Так и есть — сам камердинер Праль. Увидел меня, я отдал ему сапоги, ну, сказал там все, что полагается; он говорит: «Хорошо», — да еще прибавил: «Отличные сапожки!» Кивнул головой и понес сапоги. Теперь я был спокоен, — на Праля положиться можно, — и уже хотел идти. «Эй, господин Гиннерке, — крикнул мне вдогонку один из лакеев, — вы не туда пошли!» — «Ах ты черт», — говорю, повернулся и пошел в другую сторону. Вот тут-то я и свалил дурака, они надо мной подшутили, а я попер куда не надо. Прошел немного, опять, вижу, лакей стоит, спрашиваю, где выход на Альбрехтсплац. Да только он сразу смекнул, в чем тут дело, и говорит: «Сперва подымитесь наверх, а потом идите все влево, а потом спуститесь вниз, так вам будет много ближе!» Я поверил, что это он из любезности, и все, как он сказал, так и сделал, да только пуще запутался, а потом и совсем сбился с панталыку. Тут-то я и понял, что не моя в том вина, а всему эти стервецы причиной, и вспомнил, что люди рассказывали, будто они всегда так делают: если какой поставщик им на чай не даст, они его до седьмого пота загоняют. От злости мне последний ум отшибло, в такие я места забрел, где ни одной живой души нет, и туда и сюда тыкаюсь, никак не найду выхода, просто жуть берет. И вдруг повстречал деток нашего герцога. Да, вот как оно с сапогами-то вышло! — закончил башмачник Гиннерке и обтер лоб рукою.

Клаус-Генрих сжимал ручку Дитлинды. Сердце его так сильно

колотилось в груди, что он совсем позабыл о левой руке. Вот оно! Вот наконец «то», пускай еще не все «то», пускай только немного, только одна черточка! Да, конечно, это и есть кусочек того, что скрыто от него, Клауса-Генриха, его «высоким назначением», кусочек жизни, жизни повседневной, без прикрас! Лакеи... Он молчал, не мог выговорить ни слова.

— Вот вы и приумолкли, господа, — сказал башмачник Гиннерке, Несмотря на его простодушную речь, в голосе его звучало беспокойство. — Напрасно я вам рассказал, не для ваших это ушей, незачем вам такие пакости знать. А может быть, и не напрасно, — прибавил он, склонив голову набок и прищелкнув пальцами, — может быть, это вам и пригодится, может быть, очень даже пригодится позднее, в дальнейшем...

— Лакеи... — начал Клаус-Генрих и вдруг решительно выпалил: — Лакеи очень плохие люди? Могу себе представить...

— Плохие? — подхватил башмачник. — Мерзавцы, вот они кто. Самое для них подходящее слово. Знаете, что они делают? Если им мало на чай дать, они задержат товары, в срок, точно в срок доставленные во дворец, и отдадут их с большим опозданием, а виноватым останется поставщик. Их королевские высочества сочтут его неисполнительным и передадут заказы другому. Вот как лакеи делают, они и не так еще своевольничают, и всему городу это известно...

— Да, это очень плохо! — сказал Клаус-Генрих.; Он слушал и слушал, сам еще не осознав, как он потрясен. — Должно быть, они много такого делают? Я уверен, они и не то еще делают...

— Будьте покойны! — усмехнулся старик. — Нет, они своего не упустят, совести у них нет. Взять хотя бы фокус с дверьми... вот что они проделывают: скажем, допустят кого к вашему папаше, а нашему всемилостивейшему герцогу, на аудиенцию, а проситель-то новичок и никогда раньше при дворе не бывал. Ну, конечно, явится он во фраке, самого то в жар, то в холод бросает, — это ведь не шутка в первый раз предстать пред его королевским высочеством. Лакеи, конечно, ухмыляются, они-то здесь люди привычные, провожают его в приемную, а он от страха себя не помнит, ну и позабудет им на чай дать. Вот наконец пришла долгожданная минута, адъютант называет его фамилию, и лакеи впускают его в комнату, где изволит ожидать великий герцог. Новичок стоит перед герцогом и кланяется и отвечает на вопросы, а великий герцог милостиво подает ему руку; аудиенция закончена, и он отступает, лицом к герцогу, и думает — дверь у него за спиной уже открыта, как ему твердо было обещано. А дверь не открыта лакеи, изволите ли видеть, на него

прогневались за то, что он им на чай не дал, стоят за дверью и в ус не дуют. А ему повернуться нельзя, никак нельзя, потому что нельзя ему к герцогу спиной стать, ведь это грубое нарушение этикета и оскорбление высочайшей особы. Вон он и шарит рукой за спиной, старается поймать ручку двери и никак ее не найдет, и так и этак пробует, и мнет у двери, а когда наконец с божьей помощью нащупает ручку, так оказывается ручка-то старомодного образца, он не умеет с ней обращаться, и вертит, и нажимает, и дергает, мука с ней мученическая, а сам от смущения все кланяется, иной раз всемилостивейшему государю собственноручно приходится его выпускать. Да, вот оно какой фокус с дверью бывает! Это еще что, вот я сейчас расскажу...

За разговором они не замечали дороги. Несколько раз спускались по лестницам и в конце концов очутились в нижнем этаже, недалеко от выхода на Альбрехтсплац. Тут они увидели шедшего им навстречу Эйермана, камер-лакея великой герцогини, того, что с бачками и в фиолетовом фраке. Эйермана послали на поиски их великогерцогских высочеств. Уже издали он с сокрушением качал головой и вытягивал губы трубочкой. Но, увидя башмачника Гиннерке, который шел вместе с детьми, постукивая зонтиком, он потерял контроль над своим лицом, оно сразу как-то обмякло и стало глупым.

Эйерман так быстро отстранил башмачника от их великогерцогских высочеств, что для благодарности и прощания не осталось времени. Он отвел детей, предвидевших грозу, наверх, в детскую, к их мадам.

Она подняла глаза к небу и всплеснула руками, что относилось и к их отлучке и к состоянию их платья. Затем последовало наихудшее: она «с укоризной смотрела на них». Но Клаус-Генрих не проявил особого сокрушения. Он думал: «Лакеи... они улыбаются: «Ах ты, святая простота!» — а сами берут взятки, и по их милости те поставщики, что не дали им денег, блуждают по коридорам или отвечают за то, что лакеи задерживают их товары, по их милости человек мучается, не зная, как ему выйти после аудиенции, потому что они не распахнули дверей. И это в замке, а что же делается кругом? Вне его стен, среди тех людей, что с благоговением, из отдаления смотрят на него, когда он, кланяясь, проезжает мимо... Но как же осмелился башмачник рассказать ему о подобных делах? Ни разу не назвал он его, Клауса-Генриха, «великогерцогским высочеством», он нанес грубый удар, оскорбил в нем «святую простоту». И почему так сладостно замирало сердце, когда он рассказывал о лакеях? Почему сердце забилося с такой безумной радостью, когда его коснулось то дикое и дерзновенное, что так далеко от его

высокого сана?

ДОКТОР ЮБЕРБЕЙН

Кlaus-Генрих провел три года отрочества вместе со своими сверстниками — сыновьями придворной и земельной аристократии — в интернате, так сказать, в «высокопоставленном приюте», основанном специально для Клауса-Генриха министром двора фон Кнобельсдорфом, который приспособил под него охотничий замок Фазанник.

По замку Фазанник, уже сто лет принадлежащему короне, именовалась первая станция казенной железнодорожной линии, идущей в северо-западном направлении от столицы, а сам замок получил название по питомнику ручных фазанов — страсти одного из прежних властителей, — расположенному неподалеку на луговине, поросшей кустарником. Замок — одноэтажный, похожий на ящик загородный дом с громоотводами на гонтовой крыше, — стоял вместе с каретным сараем и конюшней на самой опушке огромного бора. Вдоль фасада росли вековые липы, а за ними расстился изрезанный тропинками луг с обступившим его полукругом далеким синеющим лесом; на лугу выделялись утрамбованные площадки для игр и плетни для верховой езды с препятствиями. Наискосок от дворца среди высоких деревьев расположился трактир — пивная и кофейня с садом, — арендуемый степенным человеком по фамилии Штафенютер и по воскресеньям в летнюю пору привлекавший столичных жителей, особенно велосипедистов. Питомцам Фазанника посещать трактир разрешалось только в сопровождении учителя.

Их было пятеро, не считая Клауса-Генриха: Трюммергауф, Гумтслах, Платов, Пренцлау и Верцан, Окрестные жители прозвали их «фазанами». Из дворцовых конюшен в их распоряжение были предоставлены уже в значительной мере отслужившее ландо, шарабан, сани и несколько верховых лошадей, а когда зимой часть луга бывала залита и покрыта льдом — они имели возможность кататься на коньках. Обслуживали Фазанник повар, две горничные, кучер и два лакея, из которых один в случае надобности мог ездить за кучера.

Во главе интерната стоял преподаватель гимназии профессор Кюртхен, маленький, подозрительный и вспыльчивый холостяк, отличавшийся чисто театральной старомодной галантностью. У него были подстриженные седые усы и бегающие карие глазки, прикрытые очками, на улице он всегда носил сдвинутый на затылок цилиндр. Ходил он животом вперед и, наподобие бегунов, прижимал к брюшку сложенные в

кулачки руки. В отношении Клауса-Генриха он с самого начала проявил особый такт, которым остался чрезвычайно доволен. Но дворянский гонор прочих его питомцев внушал ему подозрение, и он фыркал и выпускал когти всякий раз, как ему чудилось ущемление его бюргерского достоинства. На прогулках, когда поблизости бывал народ, он любил остановиться, собрать вокруг себя своих учеников и, рисуя тростью на песке, объяснять им что-нибудь. Фрау, Амелунг, насквозь пропахшую гофманскими каплями вдову капитана, ведавшую хозяйством интерната, он именовал «милостивая государыня» и гордился таким знанием светского тона.

В помощь преподавателю Кюртхену был дан сверхштатный учитель со степенью доктора — веселый, деятельный, с хорошо привешенным языком и при всем том фантазер, оказавший, пожалуй, большее, чем это было желательно, влияние на образ мыслей и самоощущение Клауса-Генриха. Был приглашен также учитель гимнастики, по фамилии Цотте. Заметим кстати, что молодого учителя звали Юбербейн, Рауль Юбербейн. Остальные преподаватели приезжали ежедневно поездом из столицы.

Клаус-Генрих с удовлетворением отметил, что в отношении положительных знаний предъявляемые к нему требования значительно снизились. Сморщенный указательный палец инспектора Дреге больше не задерживался на строчках, он свое дело сделал. Во время уроков, а также при исправлении письменных работ учитель Кюртхен широко пользовался возможностью проявить свой такт. Вскоре после открытия интерната он попросил Клауса-Генриха наверх к себе в кабинет — это произошло тотчас же по окончании горячего завтрака в столовой первого этажа с высокими окнами — и сказал дословно следующее:

— Исходя из общих интересов, было бы нецелесообразно предлагать вам, ваше великогерцогское высочество, во время наших совместных занятий науками вопросы, в данную минуту для вас не удобные. С другой стороны, желательно, чтобы вы, ваше великогерцогское высочество, почаще подымали руку, выражая тем самым готовность к ответу. Поэтому я прошу вас, ваше великогерцогское высочество, дабы я мог ориентироваться, при нежелательных вопросах вытягивать руку во всю длину, а при таких, на которые вам будет угодно ответить, подымать руку только наполовину и согнутой в локте.

А вот доктор Юбербейн* тот оглашал класс своими громкими речами, главным в которых был их жизнерадостный дух, однако и сам предмет не упускался из виду. Учитель Юбербейн не заключал с Клаусом — Генрихом никаких договоров и с искренней приветливостью спрашивал его, когда

считал это нужным, и никакого конфуза не получалось. Казалось, его приводят в веселое настроение, в восторг маловразумительные ответы Клауса-Генриха.

— Охо-хо! — смеялся он, запрокидывая голову. — Ай да Клаус-Генрих! Ай да августейшая кровь! Ай да святое неведение! Вы не подготовлены к суровым жизненным проблемам! Ну что ж, я видал виды, мое дело помочь вам разобраться.

И он сам отвечал на вопрос, не вызывал другого ученика, если Клаус-Генрих ответит не попад. Остальные учителя довольствовались изложением своего предмета. Учителю гимнастики Цотте было дано свыше указание заниматься физическими упражнениями, принимая в расчет левую руку Клауса-Генриха, но так, чтобы не привлекать внимания принца и его соучеников к этому недостатку. Таким образом, физические упражнения свелись к подвижным играм, а на уроках верховой езды, которую тоже преподавал господин Цотте, не допускалось никакого молодчества.

Отношения Клауса-Генриха с его пятью товарищами нельзя было назвать сердечными, настоящей дружбы не получалось. Он был сам по себе, никогда не был одним из них, никак не растворялся в их числе. Их было пять, а он был один, принц, пятеро воспитанников и учителя — вот кто составлял учебное заведение. Много мешало искренней дружбе. Все пятеро учились в интернате ради Клауса-Генриха, их пригласили ему в товарищи; на уроках, когда он давал неправильный ответ, их не вызывали, во время верховой езды и подвижных игр они должны были считаться с его физическим недостатком. Им осточертели непрестанные напоминания о преимуществах совместной жизни с ним. Трое воспитанников — фон Гумплах, фон Платов и фон Верцан, сыновья менее состоятельных помещиков, — все время пребывали под впечатлением гордости, которую проявили их родители, осчастливленные приглашением министерства двора, а также тех поздравлений, которые сыпались на них со всех сторон. Зато граф Пренцлау, толстый, рыжеволосый, веснушчатый малый по имени Богумил, который, отдуваясь, цедил слова, был отпрыском самого богатого и знатного землевладельца в герцогстве, он был избалован и с большим гонором. Он отлично знал, что его родители не могли отказаться от предложения барона фон Кнобельсдорф а, но что для них это не бог весть какая милость и что в поместьях своего отца он, граф Богумил, мог бы жить куда лучше и сообразнее своему положению, чем в замке Фазанник. Верховых лошадей он находил не породистыми, ландо — отслужившим свой век, шарабан — старомодного фасона; втайне он

ворчал на еду. Дагоберт, граф Трюммергауф, не говорящий, а лепечущий изящный подросток, похожий на борзую собаку, во всем был с ним заодно.

У них было излюбленное словечко, которое они охотно и часто произносили резким гортанным голосом, вкладывая в него все свое аристократическое презрение: «свинство». Свинством были пристежные воротнички. Свинством было играть в лаун-теннис в обычном костюме. Но Клаус-Генрих не чувствовал желания вводить в свой обиход это слово. До сих пор он вообще не знал, что существуют сорочки с пришитыми воротничками и что можно иметь зараз столько костюмов, сколько их было у Богумила Пренцлау. Он, может быть, тоже охотно сказал бы «свинство», но всякий раз вспоминал, что на нем штопанные чулки. Он чувствовал, что неэлегантен по сравнению с Пренцлау и топорен по сравнению с Трюммергауфом. Трюммергауф был похож на породистое животное, у него был длинный, острый, тонкий, словно лезвие ножа, нос с трепетно раздувающимися ноздрями, голубоватые жилки на висках с нежной кожей и маленькие уши без мочек. Из его широких цветных манжет, застегнутых на золотые запонки цепочками, выглядывали холеные, как у женщины, руки с выпуклыми ногтями, и одну из них украшал золотой браслет. Он не говорил, а лепетал, полузакрыв глаза... Да, совершенно ясно: с Трюммергауфом Клаус-Генрих состязаться в аристократизме не может. У него, у Клауса-Генриха, правая кисть довольно широкая, скулы выдаются, как у людей из народа; рядом с Дагобертом он казался себе просто увальнем. Возможно, Альбрехту было бы легче, чем ему, сказать в тон этим «фазанам» — «свинство». Но он, Клаус — Генрих, не аристократ, совсем не аристократ, об этом ясно говорят факты. Взять хотя бы его имя — Клаус — Генрих, — так у них в герцогстве зовутся сыновья башмачников, и дети господина Штафенютера из трактира наискосок, те, что сморкаются в руку, они зовутся так же, как он, как его родители, как его брат. А аристократов зовут Богумил и Дагоберт..., Клаус-Генрих был один и одинок среди пятерых своих сверстников.

И все же в Фазаннике у него завязалась дружба, дружба с доктором Юбербейном, сверхштатным учителем. Рауль Юбербейн не отличался красотой. У него была рыжая борода и зеленовато-бледное лицо и при этом водянистые голубые глаза, редкие рыжие волосы и удивительно уродливые оттопыренные и заостренные кверху уши. Но руки у него были небольшие и изящные. Он носил только белые галстуки, что придавало ему праздничный вид, хотя гардероб его был более чем скромнен. На улицу надевал грубошерстное пальто, а для верховой езды — доктор Юбербейн ездил верхом и, надо сказать, превосходно — выдавший виды сюртук,

полы которого зашпиливал английскими булавками, узкие на пуговицах брюки и новую шляпу.

В чем заключалось его очарование для Клауса — Генриха? Это очарование складывалось из многих элементов. Еще в самом начале жизни в интернате между «фазанами» распространился слух, что сверхштатный учитель около года тому назад с опасностью для жизни вытащил то ли из болота, то ли из омута ребенка и получил медаль за спасение утопающих* Это произвело впечатление. Потом стало известно — и Клаусу-Генриху тоже — еще многое из биографии доктора Юбербейна. Рассказывали, что он сомнительного происхождения, что у него не было отца «Мать — актриса — уговорила бедную супружескую чету усыновить его, заплатив за это известную сумму; в детстве о-н голодал, чем и объясняется зеленоватый цвет его лица, Помыслить об этом представить себе это невозможно, — что-то дикое, недоступное пониманию... Впрочем, доктор Юбербейн сам иногда делал кое-какие намеки; например, когда дворянские сынки, у которых из головы не выходило его темное происхождение, несколько заносчиво и неподобающе держали себя с ним. «Эх вы балованные маменькины сынки! — сердился он. — Я прошел огонь и воду и медные трубы и требую, чтобы такие господчики, как вы, держали себя поскромнее!» И то, что доктор Юбербейн прошел огонь и воду, тоже оказало свое действие на Клауса-Генриха. Но больше всего его привлекала в докторе Юбербейне непосредственность обращения с ним, с Клаусом-Генрихом. Такого тона, который доктор Юбербейн усвоил с первого же дня в отношении Клауса-Генриха, не позволял себе никто другой. В Юбербейне не было окаменелой замкнутости лакеев, молчаливого ужаса выписанной из Швейцарии мадам, деловитой почтительности господина Дреге или тактичности довольного собой профессора Кюртхена. В нем не было того отчужденного, подобострастного и все же назойливого, что появлялось в глазах у людей при встрече с Клаусом-Генрихом. В первые дни в интернате он больше молчал, присматривался, но затем он подошел к принцу по-отечески, как старший товарищ, с веселой и искренней сердечностью, доселе не знакомой Клаусу-Генриху. Вначале Клаус-Генрих был смущен, он со страхом смотрел в зеленоватое лицо Юбербейна. Но на того его замешательство не произвело никакого впечатления, ни капли не отпугнуло; он стал только еще сердечнее, непринужденнее и разговорчивее, и вскоре Клаус — Генрих был согрет и завоеван. Дело в том, что в манере доктора Юбербейна не было ничего грубого, развенчивающего, даже ничего нарочитого и воспитательного. В ней чувствовалось превосходство человека, который прошел огонь и воду и

медные трубы, и вместе с тем ласковая и добровольная дань уважения и любовь, признание иного бытия и иной сущности Клауса-Генриха; в то же время он как бы предлагал объединить в жизнерадостном союзе их столь разные существования. Раза два-три он назвал его «ваше высочество», затем просто «принц», затем совсем попросту «Клаус-Генрих». И так оно и осталось.

Когда «фазаны» выезжали на верховую прогулку — зимой по снегу, осенью во время листопада, ранней весной, когда оттепель, или летом, когда птицы выводят птенцов, — они ехали впереди кавалькады: Клаус-Генрих на спокойной рыжей лошадке, доктор Юбербейн по левую руку от него, на пегой лошади с широким крупом, они ехали вдоль лесных опушек, по полям, мимо деревень, и доктор Юбербейн рассказывал о своей жизни. Рауль Юбербейн, звучно, не правда ли? Но зато какая безвкусица! Да, Юбербейн это фамилия его приемных родителей, бедных, пожилых, скромных людей из среды мелких банковских служащих, и он носит ее на законном основании. А вот Раулем его зовут потому, что таково было единственное желание и требование, высказанное его матерью при вручении его крохотной жалкой особы в придачу к обещанной сумме. Желание, несомненно, сентиментальное, так сказать обет. Во всяком случае,[^] возможно, что его настоящего отца звали Раулем, и надо думать, и фамилия у него была вполне соответствующая. В общем, со стороны его приемных родителей было довольно легкомысленно взять на воспитание ребенка, потому что им самим часто приходилось класть зубы на полку, и, вероятно, только большая нужда побудила их соблазниться предложенной суммой. Учился он на медные деньги. Но он взял на себя смелость показать, на что он способен, выдвинуться немножко из общей среды, а так как он хотел стать учителем, то ему дали возможность окончить учительскую семинарию на общественные средства. Ну, семинарию он окончил, между прочим, с отличием, потому что для него это было важно, и тогда ему предоставили место учителя в народной школе и назначили колоссальное жалование, из которого он время от времени уделял малую толику своим приемным родителям в благодарность за воспитание, пока эти честные люди не умерли, почти одновременно. Да будет земля им пухом! Вот он и очутился один на свете, обездоленный от самого рождения, бедный, как церковная крыса, да к тому же еще по божьей милости лопухий и с зеленой рожей, чтоб легче было внушать людям симпатию. Веселые обстоятельства, не правда ли? Но такие обстоятельства как раз и есть благоприятные обстоятельства. Словом, вот как оно было. Нищенская юность, одиночество, ни намек на счастье — ибо оно удел

бездельников; все помыслы направлены исключительно на одно — стать на ноги; от этого не раздобреешь, зато закалишься душой, отдыха себе не даешь, ну и обгонишь того-другого. Как благоприятно сказывается на способностях, когда ты ясно и твердо знаешь, что можешь рассчитывать только на собственную смекалку! Какое преимущество перед теми, кому «это не нужно», «не до зарезу нужно», перед теми людьми, которые утром закуривают сигару... В ту пору Рауль Юбербейн познакомился у постели своего заболевшего ученика, такого же чумазого, как и все остальные, в комнате, благоухавшей далеко не весенними ароматами, с одним молодым человеком несколькими годами старше него, находившимся в подобном же положении и тоже обездоленным от рождения, поскольку он был евреем. Клаус-Генрих его знает — да, да, можно сказать, что познакомился с ним Клаус — Генрих при весьма интимных обстоятельствах. Зову г его Плюш, он доктор медицины; случайно он оказался в Гримбурге при рождении Клауса-Генриха, а затем несколько лет спустя стал работать в столице в качестве детского врача. Ну так они с Плюшем друзья и сейчас еще, а в ту пору они вели нескончаемые разговоры о судьбе и выдержке. Да, они оба прошли огонь и воду и медные трубы. Юбербейн с серьезным удовлетворением вспоминал то время, когда был учителем в народной школе. Его деятельность не ограничивалась классной комнатой, он не отказывал себе в удовольствии проявлять человеческую заботу о своих озорниках, навещать их на дому, входить в их подчас не очень-то идиллическую семейную жизнь, а при этом неминуемо приобретаешь житейский опыт. Верно, если до того он еще не знал

6 Т. Мани, т. 2 лика жизни, то теперь ему представился случай заглянуть в этот суровый лик с плотно сжатыми губами. Впрочем, он не переставал совершенствовать собственное образование, давал частные уроки упитанным бюргерским деткам и потуже стягивал пояс на животе, чтоб иметь возможность покупать Книги, пользовался досугом долгих тихих ночей, чтобы учиться. И в один прекрасный день с высочайшего разрешения сдал государственный экзамен, получил ученую степень и перешел преподавателем в гимназию. По правде говоря, расставаться со своими озорниками ему было грустно, но такова была его дорога* А потом случилось так, что его назначили сверхштатным учителем в замок Фазанник, хотя он и обездолен от рождения.

Вот что рассказал доктор Юбербейн, и, слушая его, Клаус-Генрих преисполнился к нему симпатией. Он разделял нелестное мнение Юбербейна о тех, кому «это не нужно» и которые утром закуривают

сигару, он чувствовал страх и радость, когда Юбербейн, весело бравируя, говорил об «огне, воде и медных трубах», о «житейском опыте» и о суровом лице с плотно сжатыми губами. С особым участием следил он за его несчастной и мужественной жизнью от той минуты, когда за него была уплачена известная сумма, до его назначения учителем гимназии. Клаусу-Генриху казалось, что и он тоже может говорить в общих чертах о судьбе и выдержке. Внутри у него что-то оттаяло, все, что он пережил за свои пятнадцать лет, ожило, его охватило желание поделиться тем, что накопилось на сердце, и он попробовал тоже рассказать о себе. Но, как ни странно, доктор Юбербейн остановил его, самым решительным образом воспротивился такому намерению.

— Нет, нет, Клаус-Генрих, — сказал он, — довольно — и точка. Пожалуйста, без откровенностей! Я, конечно, знал, что у вас есть что порассказать мне... Я это знал уже, когда в течение чуть не целого дня наблюдал за вами... Но вы ошибаетесь, если думаете, что я хоть в малейшей мере вызывал вас на то, чтобы плакаться мне в жилетку. Прежде всего рано или поздно вы пожалели бы об этом. А затем радости сердечных излияний вообще не для вас... Видите ли, я могу болтать. Кто я? Сверхштатный учитель. Пускай не совсем заурядный, но все же только учитель. Особь весьма легко классифицируемая. А вы? Кто вы? Это уже труднее... Скажем, вы — отвлеченное понятие, некий идеал. Сосуд. Символ, а значит, некая условная схема. А условность и непосредственность — разве вы еще не знаете, что они взаимно исключают друг друга? Исключают. Вы не имеете права открывать свою душу, а если вы все-таки сделаете такую попытку, вы сами убедитесь, что вам это не к лицу, сами почувствуете всю безвкусицу и никчемность этого. Я должен призвать вас к сдержанности, Клаус — Генрих.

Клаус-Генрих, улыбаясь, отсалютовал хлыстом. И, улыбаясь, поехали они дальше.

В другой раз доктор Юбербейн, между прочим, заметил:

— Популярность не вполне исчерпывающий, но весьма возвышенный и обобщенный вид душевной близости. — Больше он ничего не сказал.

Иногда летом во время большой перемены они сиживали вдвоем в пустом саду при трактире, прохаживались, беседуя, по лугу, на котором гонялись друг за другом «фазаны», или заказывали лимонад господину Штафенютеру. Довольный трактирщик вытирал простой деревянный стол и собственноручно приносил лимонад. Когда носик бутылки приоткрывался, в горлышко опускался стеклянный шарик «Доброкачественный товар! — говорил Штафенютер.» Самый

пользительный напиток. Смею заверить, ваше великогерцогское высочество и господин доктор, не смесь какая-нибудь, а натуральный подсахаренный сок, с чистой совестью могу предложить!» Затем он приказывал детям петь в честь гостей. Детей было трое, две девочки и мальчик, они пели в три голоса. Они стояли в некотором отдалении под зеленой сенью каштанов и пели народные песни и при этом сморкались в руку. Раз они спели песню, начинавшуюся так: «Все мы люди, только люди», Доктор Юбербейн не одобрил этот номер программы, что явствовало из его замечаний.

— Дрянная песня, — сказал он и наклонился к Клаусу-Генриху. — Самая что ни на есть пошлая песня. Песня для самоуспокоения, вам, Клаус-Генрих» она не должна нравиться.

Потом, когда дети уже больше не пели, он опять вернулся к этой песне и назвал ее прямо-таки «гаденькой».

— Все мы люди, только люди, — повторил он. — Господи боже мой, кто же в этом сомневается! Но, может быть, мне позволено будет напомнить, что все же достойны внимания те из нас, которые дают повод особенно подчеркнуть эту истину... Видите ли, — сказал он, откинувшись на спинку стула, положив ногу на ногу и поглаживая свою рыжую бороду снизу вверх, — видите ли, Клаус-Генрих, человек с маломальскими духовными запросами невольно ищет в этом сереньком мире необычное, и оно ему мило, где бы и в чем бы оно ни проявилось, — такого человека должна раздражать эта пошлая песня. Этакое тупое и эгоистичное отмахивание от исключительных случаев, и от высоких и от принижающих, и от таких, которые сразу и то и другое... Что я, в своих интересах говорю? Вздор! Я всего-навсего сверхштатный учитель. Но одному господу богу известно, что во мне бродит, — я не нахожу никакого удовлетворения подчеркивать то, что, в сущности, все мы только сверхштатные учителя. Мне нравится незаурядное в любом его проявлении и в любом смысле, мне нравятся те, что отмечены внутренней исключительностью, те, что выделяются среди остальных, те, в ком есть что-то экзотическое, все те, на кого народ таращит глаза, — я хочу, чтобы они любили свой удел, и я не хочу, чтобы они облегчали себе жизнь мягкотелой истиной, которую нам только что преподнесли в три голоса... Почему я стал вашим учителем, Клаус-Генрих? Я цыган, пускай трудолюбивый, но все-таки прирожденный цыган. Далеко еще не выяснено, мой ли удел быть княжьим холопом. Почему же я с искренним удовольствием согласился па предложение, сделанное мне ввиду моего трудолюбия и несмотря на то, что я обездолен от рождения? Потому что в

той форме, в которой нашло свое выражение ваше бытие, Клаус — Генрих, я вижу наиболее явную, наиболее яркую, наиболее оберегаемую форму исключительного на земле. Я стал вашим учителем, ибо мне хочется сохранить в вас живым чувство вашего удела. Замкнутость, этикет, долг, самообладание, выдержка, условность — разве тот, для кого в этом жизнь, не имеет права презирать? Разве можно допустить, чтобы ему тыкали в нос человечностью и добродушием? Нет, Клаус-Генрих, если вы не возражаете, уйдемте от этого бестактного штафенютерского отродья.

Клаус-Генрих рассмеялся; он дал детям немножко из своих карманных денег и ушел вместе с Юбербейном.

— Да, да, в наши дни надо сдерживать потребность души в преклонении, — сказал как-то доктор Юбербейн Клаусу-Генриху во время общей прогулки по лесу (они ушли несколько вперед от пяти «фазанов»). — Где оно — великое? Разве его найдешь! Но, кроме величия и предназначения, есть то, что я называю высоким, — избранные и грустно обособленные формы существования, к которым надо относиться с бережной нежностью. Великое, в общем, отличается силой, оно ходит в ботфортах и не нуждается в благоговейном культе. Но высокое трогает душу, этр, черт меня побери, самое трогательное, что есть на земле.

Несколько раз в году «Фазанник» выезжал в столицу, в великогерцогский придворный театр — на классические оперные и драматические спектакли; а уж день рождения Клауса-Генриха обязательно отмечался посещением театра. Клаус-Генрих сидел в спокойной позе на изогнутом кресле у плюшевого барьера обитой красным герцогской ложи бенуара, верх которой покоился на головах двух кариатид со скрещенными руками и невыразительными строгими лицами, и смотрел на своих коллег — на принцев, чья судьба свершалась на сцене, в то же время выдерживая атаку биноклей, которые то и дело, даже во время действия, направлялись на него из зрительного зала. Профессор Кюртхен сидел по левую руку от него, а доктор Юбербейн с «фазанами» в другой ложе, рядом. Однажды они слушали «Волшебную флейту», и по дороге домой, на станцию Фазанник, в купе первого класса, доктор Юбербейн смешил всю компанию, подражая разговору певцов, когда согласно роли они переходят на прозаический диалог. «Он — государь!» — сказал он елейным голосом и сам себе возразил тягучим, поющим пасторским тоном: «Он более нежели государь, он — человек!» Даже профессор Кюртхен заверещал от восторга. Но на следующий день, во время частных занятий с Клаусом-Генрихом в его классной комнате с круглым столом красного дерева, белым потолком и античным торсом на кафельной печке, доктор

Юбербейн повторил свою пародию, а потом сказал:

— Господи боже мой, в его время это было чем-то новым, откровением, потрясающей истиной!.. Есть парадоксы, которые так долго стояли вниз головой, что их необходимо поставить на ноги, только тогда в них опять будет что-то хоть мало-мальски дерзкое. «Он человек... Он более нежели человек» — это куда смелее, прекраснее, да и правды в этом больше... А вот если сказать наоборот — так получается просто гуманная идея; но я не очень-то жалую гуманные идеи, я предпочитаю пренебрежительно говорить о них. В том или ином смысле надо принадлежать к тем смертным, про которых говорят: «*В конце концов* они *тоже* люди»; иначе станешь такой же унылой фигурой, как сверхштатный учитель. Я не могу искренне желать всеобщей приятной нивелировки, уничтожения конфликтов и дистанций. Ничего не поделаешь, таким уж я родился, и образ *principe uomo*^[6] внушает мне, если говорить прямо, ужас. Надеюсь, Клаус-Генрих, что вам он тоже не очень симпатичен? Видите ли, во все времена были монархи и незаурядные люди, для которых исключительность их существования не создавала затруднений, в простоте душевной они не сознавали своего величия или грубо пренебрегали им и были способны, не ощущая душевных мук, снять пиджак и играть в кегли с обывателями. Но большого значения они не имеют, как в конечном счете не имеет значения все, что бедно духом. Ибо дух, Клаус-Генрих, дух — это церемониймейстер, который неумолимо настаивает на соблюдении достоинства, больше того — он, собственно, создает достоинство, он исконный враг и благородный противник всяческого гуманного мещанства. «Более нежели государь?..» Нет! Представительствовать, представлять многих, представляя себя, быть возвышенным, совершенным образом множества — вот что важно; представительство несомненно куда значительнее и выше, чем простота, Клаус-Генрих, — потому вас и называют ваше высочество...

Так рассуждал доктор Юбербейн, громко, искренне и красноречиво, и то, что он говорил, возымело свое действие на ход мыслей и самоощущение Клауса — Генриха и, может быть, даже больше, чем это было бы желательно. Принцу было тогда пятнадцать — шестнадцать лет, и, значит, он был способен если и не вполне усвоить такие идеи, то во всяком случае воспринять их сущность. Решающим было то, что личность доктора Юбербейна поразительно подкрепляла его мысли и поучения. Когда попечитель Дреге, который кивал лакеям, напоминал Клаусу-Генриху о его «высоком назначении», это была просто усвоенная им манера выражаться, преследовавшая одну цель — придать вес его положительным

требованиям и лишенная внутреннего смысла. Но когда доктор Юбербейн, как он сам говорил, обездоленный от рождения и с зеленоватым лицом, потому что он в свое время наголодался, когда этот человек, который вытащил ребенка не то из болота, не то из омута, который прошел огонь и воду и медные трубы и приобрел житейский опыт, когда этот человек, который не только не кланялся лакеям, но даже при случае орал на них громовым голосом, и уже на третий день, не испросив на то разрешения, откинув церемонии, начал звать Клауса-Генриха по имени, когда он, отечески улыбаясь, заявлял, что Клаус-Генрих «вознесен на высоты человечества» (такое выражение он охотно употреблял), — это воспринималось как что-то свободное, новое, на что, как сказать, отзывалось все внутри. Когда Клаус-Генрих слушал зазорные и веселые автобиографические рассказы доктора Юбер — бейна о «суровом с плотно сжатыми губами лице жизни», то у него на душе было так, словно он опять пустился на разведки, как в свое время с Дитлиндой. Клауса-Генриха согревало, наполняло его сердце бесконечной благодарностью то обстоятельство, что человек, умеющий так рассказывать, как он сам про себя говорил, «видавший всякие виды», держится с ним не отчужденно и подобострастно, как другие, но как товарищ, которого роднит с ним судьба и выдержка, и при всем том он не отказывает ему в свободном и радостном почитании, — вот в этом-то и заключалось очарование, вот этим-то и покорило его навеки сверхштатный учитель.

Вскоре после того, как ему исполнилось шестнадцать лет (Альбрехт, престолонаследник, уже тогда из-за плохого здоровья жил на юге), Клаус-Генрих вместе с пятью «фазанами» подтверждался в дворцовой церкви — «Курьер» поместил об этом сообщение, не делая, однако, из данного события большой сенсации. Президент консистории доктор Визлиценус взял за лейтмотив своей проповеди библейскую тему, и на сей раз избранную великим герцогом, а Клаус — Генрих был произведен по этому случаю в лейтенанты, хотя он ровно ничего не смыслил в военном деле... Реальное содержание все больше и больше исчезало из его жизни. Поэтому и торжественная церемония конфирмации не внесла в нее ничего существенно нового, и по ее окончании принц спокойно возвратился в Фазанник и зажил прежней жизнью в кругу учителей и соучеников.

Только год спустя покинул он скромную старомодную классную комнату с античным торсом на кафельной печке, интернат кончил свое существование, пять дворян-однокашников Клауса-Генриха поступили в кадетский корпус, а он опять поселился в Старом замке и согласно решению, принятому господином фон Кнобельсдорфом совместно с

великим герцогом, в течение года посещал старший класс столичной гимназии. Это было мудрое, встретившее всеобщее одобрение мероприятие, но по существу дела ничто не изменилось. Профессор Кюртхен занял прежний пост в гимназии, продолжал, как и до того, обучать Клауса-Генриха различным предметам и в классе, еще ретивее, чем в интернате, старался проявить свой необыкновенный такт. Выяснилось, что он осведомил и других учителей о договоренности с принцем по — разному поднимать руку для ответа. Доктор же Юбербейн, который тоже вернулся в гимназию, несмотря на свою головокружительную карьеру, еще недостаточно продвинулся на служебном поприще, чтобы преподавать в последнем классе. Но по пламенному и настоящему желанию Клауса-Генриха, которое он не высказал непосредственно великому герцогу, а довел до его сведения через любезного господина фон Кнобельсдорфа, так сказать, служебным путем, сверхштатного преподавателя Юбербейна пригласили репетировать принца и руководить его домашними занятиями; он ежедневно приходил в замок, орал на лакеев и все еще имел возможность влиять на своего ученика задорными и сумасбродными речами.

Надо думать, его продолжающемуся влиянию следует приписать то обстоятельство, что связь Клауса — Генриха с юношами, сидевшими на одной с ним изрезанной перочинными ножичками школьной скамье, была еще слабей и отдаленнее, чем его связь с пятью питомцами «Фазанника», а значит, цель этого года — приобретение популярности — не была достигнута. Легче всего было завязать дружбу на переменах, которые и летом и зимой ученики проводили на большом, выложенном плитами дворе. Но перемены — отдых для остальных — от Клауса-Генриха требовали сугубой затраты сил, связанной с его особым положением. Само собой разумеется, что во дворе вся школа пялила *ла* него глаза, во всяком случае в первую четверть, а выдержать это было совсем не легко, особенно, если принять во внимание, что он был предоставлен себе самому и никак не обособлен от остальных — мощный двор был один для всех, и для Клауса-Генриха и для них, объединившихся против него, чтоб глазеть. Младшие с детским простодушием застывали в самозабвенных позах под самым его носом, выпучив на него глаза, а те, что постарше, шныряли вокруг и украдкой, не моргая, глядели на него... С течением времени любопытство поулеглось, но и тогда, — бог знает, кто уж тут виноват, Клаус — Генрих или остальные, — но и тогда дружба никак не завязывалась. Принц гулял взад и вперед по двору, справа от него шел директор или дежурный наставник, а вокруг шныряли любопытные.

Видали его и в кругу одноклассников болтающим с ними. Приятное зрелище! Он полусидел, прислонившись к контрфорсу облицованной плитками кирпичной стены, скрестив ноги и заложив за спину левую руку, а пятнадцать учеников выпускного класса широким полукругом стояли перед ним. В этом году их было только пятнадцать: последние годы в старшие классы переводили с оглядкой, дабы в число избранных не проникли нежелательные по своему происхождению или личным качествам элементы и Клаусу-Генриху не пришлось бы в течение целого года быть с ними на «ты». Потому что «ты» было обязательным требованием. Клаус-Генрих заговаривал с одним из учеников, тот выступал немножко вперед из полукруга, подходил ближе и отвечал, каждый раз слегка кланясь. Оба улыбались; все улыбались, говоря с Клаусом — Генрихом. Например, он спрашивал:

- Ты уже написал немецкое сочинение к следующему вторнику?
- Нет, принц Клаус-Генрих, не совсем, конец еще не готов.
- Трудная тема. Я просто не знаю, что писать.
- Как можно, чтобы вы... чтобы ты не знал, что писать!
- Нет, правда, очень трудно. У тебя ведь хорошая отметка за классную работу по математике?
- Да, принц Клаус-Генрих, мне повезло.
- Почему повезло, ты заслужил. Мне никогда всего этого не уразуметь!

Веселое одобрение среди остальных. Клаус-Генрих обращался к другому однокласснику, и первый поспешно отступал. Всем было ясно, что дело здесь совсем не в сочинении или классной работе по математике, а в самом разговоре, в самом факте и действии, важен был тон, манера держаться, важно было, как выступить вперед, как отступить, важно было благополучно довести до конца щекотливое, стоящее выше всего житейского дело. Возможно, что сознание этого и вызывало улыбку на лицах.

Иногда, глядя на стоящих перед ним широким полукругом товарищей, Клаус-Генрих говорил что-нибудь вроде: «Профессор Николовиус очень похож на филина».

Это вызывало единодушный взрыв веселья. Как по сигналу, все приходили в неистовый восторг, не зная удержу, хором гоготали во всю мощь своих ломающихся голосов, и кто-нибудь по этому случаю заявлял, что Клаус-Генрих «молодчага». Но такие истины Клаус-Генрих провозглашал не часто, только когда улыбки тускнели и сменялись скучающей, даже нетерпеливой гримасой; он провозглашал их, чтоб внести

оживление и с любопытством и испугом смотрел на вызванную его словами короткую вспышку веселья.

Назвал его «молодчагой» не Ансельм Шикеданц, а Клаус-Генрих именно для него сравнил профессора Николовиуса с филином. Правда, Ансельм Шикеданц тоже посмеялся над его вольной шуткой, но не одобрительно, а словно говоря: «Тоже мне, придумал!» Ансельм Шикеданц был стройный брюнет, за которым в школе установилась слава отчаянного. В этом году старший класс вел себя образцово. Юношам неоднократно внушали, к чему их обязывает совместное обучение с Клаусом-Генрихом, а Клаус-Генрих был не из тех, кто дал бы им повод позабыть об этом. Но все же до его слуха не раз доходило, что Ансельм Шикеданц «отчаянный», и, когда Клаус-Генрих смотрел на него, он охотно верил этому на слово, хотя ему было неясно и непонятно, как тот добился подобной славы. Он несколько раз как бы невзначай пробовал это выяснить, обращаясь то к одному, то к другому, чтобы вывести, в чем «отчаянность» Шикеданца. Ничего определенного он не выяснил. Но по ответам, и неприязненным и хвalebным, догадывался, что Шикеданц бывает безумно обаятелен, непозволительно великолепен и что это ясно всем, кроме него, Клауса-Генриха, — и эта догадка отзывалась в нем болью. Кто-то из учеников прямо сказал о Шикеданце и при этом обмолвился и назвал Клауса — Генриха «ваше высочество», что было запрещено: «Ах, ваше высочество, вы бы его видели, когда вас тут нет!»

Никогда он, Клаус-Генрих, не увидит Шикеданца, когда его, Клауса-Генриха, тут нет, никогда он не сблизится с ним, никогда его не узнает!

Клаус-Генрих украдкой наблюдал за Шикеданцем, когда тот вместе с одноклассниками стоял перед ним такой же улыбающийся и сдержанный. В присутствии Клауса-Генриха все сдержанны из-за его высокого сана, он отлично это знает, и никогда ему не увидеть, каким бывает Шикеданц, какой он, когда дает себе волю. Клауса-Генриха это мучило как ревность, как тайное жгучее сожаление...

К этому времени относится печальное, больше того — неприличное происшествие, о котором великий герцог с супругой так ничего и не узнали, потому что доктор Юбербейн не проронил ни слова; до столицы тоже дошли только смутные слухи: все те, при участии и по вине которых это случилось, держали язык за зубами несомненно из чувства неловкости. Дело касается неприличного инцидента, который произошел в связи с пребыванием на городском бале принца Клауса-Генриха и в котором главную роль играла некая фрейлейн Уншлит, дочь богатого мыловара.

Городской бал — официальное, но, несмотря на это, непринужденное

празднество, которое город каждую зиму устраивал в Парковой гостинице — большом, в последнее время еще расширенном и обновленном здании в южном предместье — прочно вошел в жизнь столичного общества. Буржуазные круги видели в нем возможность соприкоснуться с двором. Все знали, что Иоганн-Альбрехт III, являвшийся на бал в черном фраке, дабы пройти в полонезе с супругой бургомистра, никогда не питал особого пристрастия к этому бюргерскому увеселению, на котором не очень придерживались этикета, и старался как можно раньше покинуть зал. Тем более приятное впечатление произвел тот факт, что его второй сын, хотя это и не было для него обязательным, уже в этом году присутствовал на бале, да к тому же еще, как это стало известно, — по собственному почину. Свое страстное и весьма настоятельное желание принц, как говорили, довел через посредство его превосходительства господина фон Кнобельсдорфа до сведения великой герцогини, а она в свою очередь добилась разрешения супруга...

Праздник внешне протекал как обычно. К крыльцу подъехали высокие гости: принцесса Катарина в перекрашенном шелковом платье и шляпке «капот», окруженная своим рыжеволосым потомством, принц Ламберт со своей миловидной супругой и вслед за ними Иоганн-Альбрехт и Доротея с принцем Клаусом-Генрихом; в вестибюле их встретили члены магистрата, на фраках у которых красовались розетки с длинными лентами. На бале присутствовали несколько министров, адъютанты в штатском, придворные, как господа, так и дамы, сливки городского общества, а также окрестные помещики. В большом белом зале августейшим супругам сначала был представлен ряд лиц, затем под звуки музыки, грянувшей с хоров, великогерцогская чета открыла бал — Иоганн-Альбрехт с супругой бургомистра, Доротея с бургомистром. По окончании полонеза начались танцы, настроение повысилось, щеки порозовели, разгоряченная атмосфера бала уже возбуждала, томила, навевала сладостные грезы или грусть, — а высокие гости стояли меж тем, как и полагается стоять высоким гостям: у узкой стены под хорами, холодно и милог стиво улыбаясь. Время от времени Иоганн-Альбрехт удостаивал разговором того или иного почтенного господина, а Доротея ту или иную даму. Те, к кому они обращались, немедленно с сосредоточенным видом выступали вперед, а затем отступали и стояли, соблюдая должную дистанцию в полусогнутой позе, склонив набок голову, кивали, отрицательно мотали головой, улыбались, не меняя позы, в ответ на обращенные к ним вопросы и замечания или поспешно отвечали, целиком поглощенные важностью минуты, предупредительно быстро переходя от сердечной веселости к

глубокой серьезности, явно пребывая в повышенном настроении и проявляя страстность, по всей вероятности чуждую им в повседневной жизни. Еще не успевшие отдышаться после танца любопытные обступали их полукругом и следили за этими лишенными всякого реального содержания разговорами со странно-напряженным выражением лица, объяснявшимся тем, что они улыбались, высоко подняв брови.

Много внимания уделялось Клаусу-Генриху. Он держался несколько позади родителей в компании своих двух рыжеволосых кузенов, которые уже вступили в полк, но сегодня тоже были в штатском, он стоял вполупорот к публике, выставив вперед одну ногу, заложив левую руку за спину, являя залу свой правый профиль. Репортер «Курьера», отряженный на бал, записывал, поглядывая на него, что-то в свою памятную книжку. Все видели, как принц помахал правой рукой, затянутой в перчатку, своему учителю доктору Юбербейну, рыжая борода "и зеленоватое лицо которого промелькнули среди публики, и даже сделал несколько шагов ему навстречу. Доктор, сорочка которого была застегнута на крупные пуговицы с эмалью, сперва поклонился, когда Клаус-Генрих подал ему руку, но сейчас же вслед за тем стал его в чем-то убеждать, как обычно непринужденным, отеческим тоном. Принц, казалось, протестовал, впрочем, несколько возбужденно смеясь. Но затем кое-кто из присутствующих слышал, как доктор Юбербейн воскликнул:

— Глупости, Клаус-Генрих! Тогда чего ради вам давали уроки? Чего ради ваша мадам с самого раннего детства вас обучала? Не понимаю, зачем вы приехали на бал, если не хотите танцевать?! Раз, два, три, сейчас я вас познакомлю!

И, продолжая шутить и балагурить, он представил принцу нескольких барышень, которых, не долго думая, взял за руку и подвел к Клаусу-Генриху. Они, как по команде, приседали и снова подымались в плавном придворном реверансе, прикусив от старания нижнюю губу. Клаус-Генрих стоял, сдвинув каблуки. Он повторял:

— Рад... очень рад...

Одной он даже сказал:

— Веселый бал, не правда ли, мадемуазель?

— Да, ваше великогерцогское высочество, нам очень весело, — ответила она пискливым, щебечущим голоском.

Это была, правда, несколько костлявая, но рослая и красивая барышня в белом кисейном платье, завитая, с высоко взбитыми белокурыми волосами, с золотой цепочкой на обнаженной шее, на которой резко выступали ключицы, в митенках на больших белых руках. Она прибавила:

— Сейчас начнется кадрили. Не желаете ли, ваше великогерцогское высочество, принять участие в танце?

— Не знаю... — сказал он, — право же, не знаю...

Он огляделся. Действительно, суতোлка в зале сменилась геометрическим порядком. Выстраивались ряды, составлялись каре, танцоры подыскивали себе визави. Музыка еще молчала.

Клаус-Генрих посмотрел на своих кузенов. Да, они танцуют лансье, они уже подали руку ошастливленным ими дамам.

Гости видели, как Клаус-Генрих подошел сзади к красному атласному креслу своей матери и что-то быстро шепнул ей, гости видели, как великая герцогиня, красивым движением склонив свою ослепительную шею, передала вопрос сына супругу и как великий герцог кивнул головой. А то, с какой юношеской поспешностью Клаус-Генрих устремился в зал, чтобы не опоздать к началу кадрили, вызвало у некоторых улыбку.

Репортер «Курьера», держа наготове записную книжку и карандаш, весь изогнувшись, следил из своего уголка, кого пригласит принц. Он пригласил фрейлейн Уншлит, дочь мыловара, ту самую рослую блондинку с выступающими ключицами и большими белыми руками. Она все еще стояла там, где ее оставил Клаус-Генрих.

— Вы еще тут? — спросил он, запыхавшись. — Можно вас пригласить? Идемте!

Каре уже составились. Они пошли по залу, ища, куда бы пристроиться. На помощь к ним поспешил господин с розеткой, он схватил за плечи одну пару и заставил ее уступить свое место под люстрой его великогерцогскому высочеству с фрейлейн Уншлит, Музыка, пока еще медлившая, теперь загремела, начались фигуры, поклоны, реверансы, и Клаус-Генрих вертелся вместе с другими.

Двери в соседние комнаты были открыты. В одной из них видна была стойка, а на ней — вазы с цветами, крюшонница и блюда с разными бутербродами. Кадрили доходила до самой двери, два каре танцевали уже в буфете; в других комнатах стояли еще пустые столы, накрытые белыми скатертями.

Клаус-Генрих делал несколько па вперед, несколько па назад, улыбался, протягивал руку, брал чужие руки, все снова и снова брал большую белую руку своей дамы, обнимал правой рукой ее мягкую кисейную талию и вертелся с ней на месте, а левую руку, тоже затянутую в маленькую перчатку, упирал в бок. Все смеялись, болтали, выделявали па и вертелись. Он ошибался, забывал, путал фигуры и останавливался в смущении, не зная куда теперь.

— Вы должны мне помогать! — крикнул он в сутолоку танца. — Я же всех путаю! Ткните меня, когда надо, в бок!

И постепенно партнеры его осмелели, стали его поправлять, смеясь, командовать, куда ему идти, и даже, когда это было нужно, подталкивали слегка то туда, то сюда. Красивая девушка с выступающими ключицами особенно охотно подталкивала его.

Настроение повышалось с каждым туром. Движения становились развязнее, возгласы задорнее. Танцоры уже притопывали и, взявшись за руки, раскачивали их взад и вперед, как качели. И Клаус-Генрих тоже притопывал, сначала только чуть-чуть, но потом все сильнее. А раскачивать руками не забывала его красивая дама, когда они вместе делали несколько па вперед. И каждый раз, когда она бывала его визави, она залихватски шаркала ножкой, что еще увеличивало общее веселье.

Все с завистью глядели в буфет — такое там стояло оживление и смех. Вот один из танцующих там выбежал из каре, подскочил к стойке, стащил бутерброд и под смех остальных сжевал его, притопывая и приплясывая, гордый своей выходкой.

— Ну и нахалы! — сказала фрейлейн Уншлит. — Они там своего не упустят!

Ей это не давало покоя. И не успели вокруг опомниться, как она, оставив своего кавалера и ловко лавируя, проскользнула между рядами танцующих, схватила бутерброд и вернулась на место.

Клаус-Генрих хлопал громче других. При его левой руке это было довольно затруднительно, но он выходил из положения, хлопая правой рукой себя по ляжке и трясясь от смеха. Потом он затих и даже побледнел. Он переживал внутреннюю борьбу... Кадриль приближалась к концу. То, что он задумал, надо было делать скорей. Уже начиналась *chaîne anglaise*.^[7]

И вот в последнюю минуту он преодолел себя и сделал то, что задумал. Он сорвался с места, быстро пробрался между парами, вполголоса извиняясь каждый раз, как задевал кого-нибудь из танцующих, добежал до стойки, схватил бутерброд, помчался назад, скользнул в свое каре. И это еще не все. Он поднес бутерброд — бутерброд с яйцом и анчоусом — ко рту своей дамы, барышни с большими белыми руками — она слегка пригнулась, откусила кусок без помощи рук, откусила добрую половину бутерброда... и, гордо откинув голову, Клаус-Генрих положил то, что осталось, себе в рот!

Веселье в каре Клауса-Генриха дошло до апогея во время *chaîne chinoise*, которая как раз началась. Пары завертелись, крест-накрест подавая друг другу руки, переплетаясь в двух встречных потоках,

обходящих по кругу зал. Минутная остановка, потоки переменили направление, и опять все завертелось по кругу... Смех, обрывки разговоров, запинка, заминка — и замешательство поспешно улажено.

Клаус-Генрих пожимал руки, которые ему подавали, не ведая, чьи они. Он улыбался, задыхаясь от радости. Его прилизанные волосы растрепались, отдельные пряди упали на лоб, пластрон выпятился над жилетом, а на лице, в разгоревшихся глазах появилось то мягкое, можно сказать, трогательное воодушевление, которое порой является выражением счастья. Несколько раз протягивая руку и, выделявая па, он говорил:

— Ну и повеселились же мы! Ух, как повеселились!

Он встретился с кузенами и им тоже сказал:

— Ну и повеселились же мы — там, в буфете!

Затем все захлопали в ладоши, встретившись со своей парой: цель была достигнута. Клаус-Генрих опять стоял лицом к лицу со своей красивой дамой, у которой выступали ключицы; и так как музыка опять переменила темп, он снова обнял ее мягкую талию, и они завертелись в общем круговороте.

Клаус-Генрих вел даму неумело и довольно часто натыкался на другие пары, потому что левую руку он упер в бок, но так или иначе он довел свою даму до входа в буфет, там они остановились и выпили для освежения ананасный крющон, который им подали лакеи. Они сидели у самого входа на бархатных табуретах, пили и болтали о кадрили, о городском бале, о разных общественных увеселениях, в которых этой зимой уже принимала участие его красивая дама.

Тут к Клаусу-Генриху подошел свитский майор, господин фон Платов, флигель-адъютант великого герцога, он поклонился и попросил разрешения доложить, что их королевские высочества отбывают. Ему поручено... Но Клаус-Генрих так явно выразил желание остаться еще немного, что адъютант не решился настаивать. Принц что-то негодуяще лепетал и, несомненно, очень болезненно воспринял требование ехать домой.

— Нам так весело! — сказал он, встал и даже притронулся к локтю майора фон Платова. — Дорогой господин фон Платов, пожалуйста, похлопочите за меня! Поговорите с его превосходительством господином фон Кнобельсдорфом, сделайте что хотите — но как можно уехать сейчас, когда нам так весело!.. Я уверен, что и кузены еще остаются...

Майор посмотрел на красивую девушку с большими белыми руками, которая улыбнулась ему, он тоже улыбнулся и обещал сделать все, что от него зависит. Эта короткая сценка происходила в то время, когда

великогерцогскую чету провожали в вестибюле гостиницы члены магистрата. Сейчас же вслед за этим в первом этаже снова начались танцы.

Бал был в самом разгаре. Официальности не было больше и в помине, полная непринужденность вошла в свои права. В боковых комнатах за столами, накрытыми белыми скатертями, сидели всей семьей, пили и ужинали. Разгоряченные танцами, возбужденные кавалеры и барышни прибежали и убегали, присаживались на краешек стула, откусывали кусочек, выпивали стакан крюшона и снова шли веселиться. В нижнем этаже был устроен пивной погребок в старонемецком вкусе, который усердно посещали солидные господа. Танцевальным залом и буфетом окончательно завладела молодежь. Буфет заняли человек пятнадцать — двадцать — дочери и сыновья бюргеров и среди них Клаус-Генрих. Там у них был как бы свой отдельный бал. Они танцевали под звуки музыки, долетавшей из главного зала.

На короткий срок заходил туда и доктор Юбербейн, репетитор принца, и недолго беседовал со своим учеником. Слышали, как он, держа в руке часы, упоминал о господине фон Кнобельсдорфе, слышали, как он сказал, что пойдет вниз в погребок и вернется сюда за принцем. Потом он ушел. Было половина одиннадцатого.

И пока он сидел внизу и беседовал со знакомыми, потягивая пиво, — за этот час, самое большее за полтора, — в буфете произошел безобразный инцидент, та, собственно говоря, непостижимая выходка, которую он пресек, к сожалению, слишком поздно.

То, что молодежь потеряла чувство меры, следует отнести скорее за счет опьянения танцами, чем за счет вина, ибо крюшон пили очень слабый, в нем было больше газированной воды, чем шампанского. Но, принимая во внимание характер принца и принадлежность к добропорядочным буржуазным семьям остального общества, для объяснения тягостного происшествия этого недостаточно. Здесь с обеих сторон действовало другое, совершенно особое опьянение... Странно то, что Клаус-Генрих отдавал себе полный отчет в отдельных стадиях этого опьянения и все же не мог или не хотел его стряхнуть.

Он был счастлив. Он чувствовал, что его щеки пышат тем же жаром, что и у остальных, потемневшими от теплого волнения глазами обводил он присутствующих, восторженно оглядывая каждого, и взор его говорил: «Мы!» И уста его говорили то же, говорили задушевым блаженным голосом одну за другой такие фразы, где встречалось словечко «мы». «Мы сейчас сядем, мы опять пойдем танцевать, мы выпьем крюшона, мы как раз составим два каре...» Особенно часто говорил Клаус-Генрих «мы»

девушке с выступающими ключицами. Он совсем позабыл о своей левой руке, она висела вдоль тела, не стесняла его, не мешала ему веселиться, он не думал о том, что ее надо прятать. Многие только сейчас увидели, какая она, и с любопытством или бессознательной гримаской глядели на *;ухую короткую руку в рукаве фрака, на маленькую, уже припачканную белую лайковую перчатку, прикрывающую левую кисть. Но так как Клаус-Генрих совсем не обращал на нее внимания, то молодежь осмелела и в этом отношении, и случалось, что во время *chatne chinoise* кто-нибудь без стеснения хватал его за недоразвитую руку...

Он не вырывал ее. Ему казалось, что его подхватила и несет волна благожелательства, огромного, необузданно задорного благожелательства, которое растет, само себя подогревая, что она все неудержимее подступает к нему, все крепче, все ближе напирает, торжествуя подымает на своем гребне. Что же это такое? Что-то неопределенное, неуловимое... В воздухе стояли слова, отрывистые возгласы, недоговоренные, но ярко отражающиеся во всем — в лицах, повадках, в том, что делалось и говорилось: «Ну-ка, пускай он тоже...» «Долой, долой, долой его!..» «Хватай, хватай!..» Молоденькая девушка со вздернутым носиком, пригласившая Клауса-Генриха на галоп, когда дамы выбирали себе кавалеров, уносясь с ним в танце, сказала как будто без всякой связи, но очень явственно: «Подумаешь!»

Он видел у всех в глазах веселый огонек и видел, что им доставляет удовольствие принизить его до своего уровня. Минутами в его блаженные грезы, в чувство счастья от того, что он с ними, среди них, один из них, врывалось холодное, острое ощущение, что он обманулся, что задушевное, прекрасное «мы» ввело его в заблуждение, что он все же не растворился в них, что он по-прежнему центр и предмет внимания, но не так, как всегда, а по-иному, по-нехорошему. В известной мере они были врагами, он видел это по радости разрушения, которой сверкали их глаза. Он слышал, словно издалека, и при этом его бросило в жар от испуга, как красивая девушка с большими белыми руками назвала его просто по имени, — и он ясно почувствовал, что тут это звучит совсем не так, как у доктора Юбербейна. В известном смысле ей было дано на то право, было дозволено, но неужели здесь никто не оградит его достоинства и чести, если он сам не сделает этого? Ему казалось, что они срывают с него одежду и временами в их веселье проскальзывало что-то дикое и издевательское. Долговязый белокурый юноша в пенсне крикнул, когда Клаус-Генрих столкнулся с ним во время танца, крикнул громко, так, что все слышали: «Это что такое?» Красивая девушка, оскалив зубы, с остервенением вальсировала в его

объятиях, долго, до головокружения. А он, вальсируя с ней, затуманенным взором смотрел на ее ключицы, которые резко выделялись на белой шее с немного пористой кожей.

И вдруг они упали. Они кружились слишком быстро, и когда захотели остановить уносивший их неистовый вихрь, грохнулись на пол; на них споткнулась другая пара, впрочем, не совсем случайно, вернее, ее подтолкнул долговязый юноша в пенсне. Куча на полу увеличилась, и над своей головой Клаус-Генрих услышал гогот, хорошо знакомый ему по школьному двору, когда он пробовал для оживления окружающих отпустить вольную шутку, только здесь он звучал злей и развязнее...

Когда около двенадцати ночи доктор Юбербейн появился, к сожалению, несколько поздно, в дверях буфета, его глазам представилась следующая картина: его юный питомец сидел один на зеленом плюшевом диване у левой боковой стены в расстегнутом фраке, разукрашенный на небывалый лад: за вырез жилета, в петли манишки, даже за крахмальный воротничок были засунуты цветы из двух огромных китайских ваз, красовавшихся на стойке, шею обвивала золотая цепочка, которая принадлежала девушке с выступающими ключицами; а на голове в виде шляпы покачивалась плоская металлическая крышка от крюшонницы. Он бормотал: «Что вы делаете?.. Что вы делаете?..» А вся компания, взявшись за руки, с явным ликованием, хихикая, прыская со смеху и паясничая, приплясывала перед ним, двигаясь, по полукругу то вправо, то влево.

На скулах у доктора Юбербейна проступили красные пятна, казавшиеся удивительно странными и даже какими-то неправдоподобными при его зеленоватом лице.

— Прекратить, сейчас же прекратить! — крикнул он громовым голосом; и сразу наступили тишина и отрезвление.

Доктор Юбербейн среди всеобщей растерянности шагнул к принцу, выхватил цветы, сорвал цепочку, сбросил крышку, затем склонился перед Клаусом — Генрихом и сказал с серьезным лицом:

— Ваше великогерцогское высочество, осмелюсь попросить вас...

«Я осел, осел!» — твердил он, выходя из зала — Клаус-Генрих покинул бал в сопровождении доктора Юбербейна.

Вот какое тягостное происшествие случилось с Клаусом-Генрихом в тот год, когда он посещал гимназию. Как уже было сказано, никто из причастных к этому делу не проговорился, доктор Юбербейн в течение нескольких лет тоже не напоминал о нем Клаусу-Генриху — и, никем не облеченное в слова, оно было лишено плоти и тут же позабылось, во всяком случае так можно было предположить.

Городской бал состоялся еще в январе. Сезон увеселений закончился на масленице придворным балом, который давался во вторник, и большим раутом в Старом замке — ежегодными празднествами, на коих еще не присутствовал Клаус-Генрих. Затем наступила пасха, а с ней конец учебного года: экзамен на аттестат зрелости, приятная формальность, во время которой преподаватели весьма часто обращались к Клаусу-Генриху с вопросом: «Не правда ли, ваше великогерцогское высочество?» — меж тем как принц с изящной непринужденностью старался не посрамить свое исключительное положение. Особых изменений в его жизнь экзамен не внес. Еще некоторое время Клаус-Генрих прожил в столице. Но после троицы ему исполнилось восемнадцать лет, что вызвало целый комплекс торжественных действий, которые положили начало серьезному изменению его жизни и на много дней обрекли его на столь напряженное и высокое служение.

Он официально был признан совершеннолетним. Впервые после крестин был он опять центром внимания и главным действующим лицом во время торжественной церемонии. Но если тогда Клаус-Генрих мог молча, безответственно и пассивно подчиниться этикету, который опекал и направлял его, то теперь ему вменялось в обязанность, точно соблюдая неумолимые предписания, не выходя из строго определенных рамок, твердо помнить о том, что ему надлежит предстать перед публикой, драпируясь в пышную мантию торжественного ритуала, обрадовать зрителей и возвысить их над повседневностью своей прекрасной выправкой и подобающей осанкой, с виду не стоящими ему никакого труда.

Впрочем, пышная мантия в данном случае не аллегория, ибо принц предстал по сему случаю в красной мантии — выцветшей и театральной, своего рода бутафории, служившей еще его отцу и деду при их совершеннолети и пропахшей нафталином, хотя перед тем ее несколько дней проветривали. Красная мантия в свое время входила в орденское одеяние кавалеров Гримбургского грифа, а теперь употреблялась только при торжественной церемонии для облачения вступающих в совершеннолетие принцев. Альбрехту, наследнику престола, не пришлось надеть этот фамильный предмет гардероба. Альбрехт появился, на свет зимой и потому всегда проводил день своего рождения на юге, в теплом и сухом климате, куда собирался уехать и этой осенью; в год его восемнадцатилетия состояние здоровья не позволило ему вернуться на родину, поэтому было решено заочно признать его совершеннолетним, отказавшись от торжественной церемонии.

Присутствующие единодушно решили, что Клаусу — Генриху мантия очень к лицу, а сам он, хоть мантия и стесняла его движения, воспринял ее как благодеяние, ибо так ему было легче скрыть левую руку. У себя в спальне, помещавшейся во втором этаже и выходившей окнами в тот двор, где рос розовый куст, Клаус-Генрих добросовестно и тщательно готовился к предстоящему публичному выступлению, одеваясь между кроватью под балдахин и пузатыми шкафами с помощью лакея Неймана, молчаливого и аккуратного человека, который незадолго перед тем был приставлен к нему в качестве камердинера, ведающего и его гардеробом. Нейман вышел из парикмахеров и во всем, что касалось его первоначальной профессии, отличался болезненной щепетильностью, тем сознанием недостижимости идеала, которое является гарантией мастерства. Он брил не так, как иные прочие, он не удовлетворялся тем, что не осталось ни одного волоска; он брил так, чтобы исчезли даже тень, даже воспоминание о бороде и, ни разу не царапнув кожи, придавал ей идеальную бархатистость и гладкость. Он подстриг Клаусу-Генриху волосы на висках точно под прямым углом и причесал их с тем старанием, которое, по его мнению, приличествовало для такого торжественного выступления. Он умело провел косой пробор от левого глаза через всю голову до самой макушки и при этом не потревожил ни единого волоска. Он умело откинул со лба волосы, зачесал их назад и так крепко пригладил щеткой над правым глазом, что ни шляпа, ни каска не могли уже их растрепать. Затем Клаус-Генрих с его помощью облачился в узкий, сидевший на нем как влитой мундир лейтенанта лейб-гренадерского полка с высоким шитым воротником, который способствовал строгой выправке, надел шелковую лимонного цвета ленту и плоскую золотую цепь фамильного ордена Гримбургов и спустился вниз в картинную галерею, где собрались ближайшие члены семьи и иностранные родственники великогерцогской четы. Придворные чины дожидались в смежном Рыцарском зале. Иоганн-Альбрехт собственноручно облачил сына в красную мантию.

Господину фон Бюль цу Бюлю пришлось немало подумать, прежде чем ему удалось установить порядок торжественного шествия из Рыцарского зала в Тронный. Организовать импозантное зрелище при личном составе свиты было весьма затруднительно, и господин фон Бюль жаловался на нехватку высших придворных чинов, ощущавшуюся особенно тяжело в подобных случаях. С недавних пор в ведение господина фон Бюля были отданы и придворные конюшни, и он чувствовал себя в силах справиться со столькими должностями. А сейчас он обращался ко всем с вопросом: где прикажете найти людей, достойных предвзирать

шествие, раз высшие должности представлены только обергермейстером фон Штиглицем и управляющим великогерцогскими театрами генералом, страдающим подагрой?

В качестве обергофмаршала, обергофцерemonий — мастера и обергофмейстера он выступал, извиваясь и выставляя вперед свой высокий жезл, непосредственно за наряженными пажами и причесанными на косой пробор кадетами, которые открывали шествие, и, красуясь шитым мундиром, каштановым париком, грудью, увешанной орденами не хуже котильонной подушки, и золотым пенсне на носу, озабоченно соображал, кто идет позади: с десятков камергеров в шелковых чулках, с треуголкой, отороченной плюмажем, под мышкой и ключом на талии, у заднего шва мундира (да, с десятков, не больше, ведь необходимо оставить несколько штук для арьергарда), за ними, впереди принца Клауса-Генриха в красной мантии, который вместе со своими августейшими родителями и сопровождающими их Альбрехтом и Дитлиндой и является центром всего шествия — господин фон Штиглиц и с трудом ковыляющий генерал от театральных зрелищ. Непосредственно за высочайшими особами шагает, улыбаясь морщинками вокруг глаз, министр двора и председатель совета министров фон Кнобельсдорф. Следом за ним — небольшая группа адъютантов и придворных дам: генерал граф Шметтерн и майор фон Платов, один из графов Трюммергауфов, кузен придворного финансов-директора, офицер, приставленный к наследному принцу, и фрейлины великой герцогини во главе с страдающей одышкой баронессой фон Шуленбург-Трессен. Затем предваряемые и сопровождаемые адъютантами, камергерами и придворными дамами принцесса Катарина со своим рыжеголовым потомством, принц Ламберт со своей миловидной супругой и иностранные родственники или их представители. Замыкают шествие пажи.

Так размеренным шагом подвигалась процессия из Рыцарского зала через парадные апартаменты, зал Двенадцати месяцев и Мраморный зал в Тронный. По два лакея в парадных коричневых ливреях с золотисто-красными аксельбантами стояли, замерев, словно театральные статисты, с каждой стороны распахнутых настежь дверей. Через большие окна беспощадно ярко и радостно светило утреннее июньское солнце.

Клаус-Генрих, шествуя между родителями через холодную пустыню парадных покоев, оглядывал их пышную мишуру и облезлое великолепие, не скрашенное всепреображающим нарядным блеском искусственного освещения. Яркий день весело и трезво освещал их обветшалую роскошь. С больших люстр на длинных обвитых материей стержнях ради такого

торжественного дня были сняты чехлы, и целый лес незажженных свечей глядел в потолок; но на одних люстрах не хватало хрустальных подвесок, на других были порваны гирлянды бус, и впечатление получалось такое, словно от одной откушен кусок, а у другой выбит зуб; на чопорных дворцовых креслах с широко расставленными подлокотниками, чинно и скучно выстроившихся вдоль стен, посекалась тканая шелковая обивка, позолота облезла; на светлой поверхности высоких зеркал, по обеим сторонам которых висели бра, темнели тусклые пятна, а сквозь проеденные кое — где молю дырки в поблеклых и выгоревших на подборах драпри просачивался свет. Позолоченный и посеребренный багет, окаймлявший обои, во многих местах отклеился и отстал от стены, а в Серебряном зале, в парадном покое, том самом, где великий герцог давал торжественные аудиенции и где в центре стоял перламутровый столик на серебряной ножке, изображающий ствол дерева, кусок посеребренного украшения на плафоне просто-напросто обвалился, и наверху появилось большое белое гипсовое пятно...

Но почему же все-таки казалось, что эти покои могут устоять перед трезвым, смеющимся дневным светом, могут поспорить с ним? Клаус-Генрих посмотрел украдкой на отца... Состояние апартаментов, казалось, не смущало его. Великий герцог и смолоду был только-только среднего роста, а теперь стал, можно сказать, и совсем маленьким. Но он шествовал, надменно закинув голову, при лимонно-желтой орденской ленте на генеральском мундире, в который он облачился для такого дня, хотя вообще склонности к военщине не питал. Из-под высокого лысого лба и седящих бровей устало и высокомерно глядели вдаль голубые обведенные тенью глаза, а от закру-; ченных кверху белых усов к бороде бежали две морщины, глубоко врезавшиеся в старческую желтую кожу и придававшие лицу презрительное выражение... Нет, ясный день не может повредить этим залам; обветшалость не только не наносит ущерба их величественности, в известной мере она даже благоприятствует ей. Эти покои холодно отстраняют себя, отрекаются от свежего, пронизанного солнцем мира, противопоставляя ему величественную неуютность, театральную симметрию, странно безжизненную атмосферу сцены или храма, здесь царит суровый культ формы, и Клаус-Генрих сегодня впервые приобщается к торжественному служению...

Продефилировав между двумя лакеями, которые с неумолимым видом сжали губы и закрыли глаза, шествие вступило на простор белого с золотом Тронного зала. И тут начались благоговейные телодвижения — отдача чести, шарканье, поклоны, реверансы — и продолжались все время,

пока процессия шла вдоль выстроившихся в ряд гостей. Тут были дипломаты с супругами, придворная и земельная знать, офицерский корпус столицы, министры, среди них и новый министр финансов доктор Криппенрейтер с наигранно оптимистическим выражением лица, кавалеры Гримбургского грифа первой степени, председатели обеих палат ландтага, всякие должностные лица. А наверху в тесной ложе, помещавшейся на той же стене, где вход, над большим зеркалом расположились представители прессы, они усердно записывали, задние, глядя через плечи передних... Дойдя до трона с увенчанным пучком страусовых перьев балдахином — симметрично с двух сторон подобранной бархатной с золотой каймой драпировкой, которую не мешало бы подновить, — кортеж разделился, как в полонезе, и выполнил ряд точно установленных движений. Пажи и камергеры разошлись направо и налево, господин фон Бюль отступил назад, обернувшись лицом к трону и подняв свой жезл, и, дойдя до середины зала, остановился. Великий герцог с супругой и детьми поднялся по закругленным и устланным красной материей ступеням к стоящим наверху широким позолоченным театральным креслам. Остальные члены великогерцогской фамилии вместе с иностранными высочествами выстроились по обе стороны трона, за ними поместилась свита: статс-дамы и дежурные кавалеры; пажи расположились на ступенях. Иоганн-Альбрехт махнул рукой, и господин фон Кнобельсдорф, уже стоявший наготове напротив трона, поспешил, улыбаясь глазами, по точно определенной кривой к покрытому бархатом столику, который стоял сбоку у подножия трона, и приступил к оглашению официальных документов и прочим формальностям.

Клауса-Генриха объявили совершеннолетним и, следовательно, имеющим, буде это потребует, законное право на престол. В эту минуту глаза всех были обращены на него-и на его королевское высочество Альбрехта, его старшего брата, который стоял рядом. Наследный принц был в мундире ротмистра гусарского полка, при котором состоял номинально. Из обшитого серебряным галуном воротника его мундира торчал не по форме высокий белый штатский стоячий воротничок. У Альбрехта был вытянутый назад череп, сдавленные виски, тонкое, умное и болезненное лицо со светлыми, как солома, еще только пробивающимися усами и голубые глаза с отсутствующим взглядом — ведь он видел лицо смерти... Да, наружность не типичная для кавалериста, но зато такая породистая и неприступно аристократичная, что Клаус-Генрих со своими простонародными скулами рядом с братом казался просто увальнем. Наследный принц, когда глаза всех устремились на него, сделал свою

обычную гримаску: слегка выпятил короткую пухлую нижнюю губу и втянул верхнюю.

Совершеннолетний принц был пожалован всеми орденами герцогства, включая и Альбрехтский крест и орден Гримбургского грифа первой степени, не говоря уже о фамильном ордене «За постоянство», которым он был награжден, когда ему исполнилось десять лет. Затем последовала церемония поздравления: перед тронем продефилировали все гости, возглавляемые извивающимся господином фон Бюлем, и торжество закончилось парадным завтраком в Мраморном зале и зале Двенадцати месяцев...

Следующие дни ознаменовались увеселениями в честь иностранных владетельных особ. В Голлербрунне был дан праздник с фейерверком и танцами в парке для придворной молодежи. Были устроены увеселительные поездки в сопровождении пажей на лоно летней природы — в дворцы Монбрийан и Егерпрейс, на руины Хадерштейна, и народ — скроенный на один лад народ: коренастый, скуластый, с задумчивыми глазами — стоял вдоль дорог, поздравлял и кричал «ура!» и себе и своим представителям. В столице владельцы художественных лавок выставили в витринах фотографии Клауса-Генриха, а «Курьер» даже напечатал его портрет, идеализированный рисунок в народном вкусе, на котором принц был изображен в красной мантии. Вскоре затем последовало еще одно торжество: официальное зачисление Клауса — Генриха в армию, в лейб-гренадерский полк.

Это происходило так: полк, на долю которого выпала честь зачислить в ряды своих офицеров Клауса — Генриха, построился в открытое каре на Альбрехтсплаце. В центре развевались многочисленные султаны; присутствовали принцы, принадлежащие к правящей фамилии, и генералы. Военные пестрым пятном выделялись на черноватом фоне оттиснутой за кордон публики. На поле действия со всех сторон были наставлены фотографические аппараты. Из оком Старого замка смотрели в ожидании предстоящего зрелища великая герцогиня, принцессы и фрейлины.

Прежде всего Клаус-Генрих, одетый в лейтенантский мундир, предстал перед великим герцогом в Старом замке. С серьезным лицом, не улыбаясь, приблизился он к отцу и, щелкнув каблуками, по всей форме рапортовал о том, что прибыл в его распоряжение. Великий герцог коротко, тоже не улыбаясь, поблагодарил его, затем в парадном мундире, с развевающимся султаном на каске спустился на площадь. Клаус-Генрих приблизился, сопровождаемый адъютантами, к опущенному знамени — пожелтевшему и во многих местах порванному тканю шелковому

полотнищу и принес присягу. Великий герцог резким начальническим голосом, к которому прибег специально для этого случая, произнес краткую речь, причем, обращаясь к сыну, назвал его «ваше великогерцогское высочество» и публично пожал ему руку. Полковник лейб-гренадеров, покраснев от натуги, провозгласил в честь великого герцога «ура!», подхваченное гостями, полком и публикой. Затем последовал парад, и все закончилось завтраком в замке для господ офицеров.

Это красивое представление на Альбрехтсплаце не преследовало практических целей, оно было ценно безотносительно, само по себе. Клаус-Генрих по-прежнему не нес военной службы, еще в тот же день он отправился с родителями, братом и сестрой в Голлербрунн, где ему предстояло провести лето в старомодно обставленных покоях и у реки, в парке, обнесенном высокой, как стена, живой изгородью, а осенью он должен был поступить в университет. Ибо его жизнь была предусмотрена следующим образом: осенью он на год поступает в университет, не в столичный, а в другой университет герцогства, и сопровождает его доктор Юбербейн, его репетитор.

Назначение этого молодого ученого в менторы опять-таки надо отнести за счет особого, настойчиво выраженного желания принца; и в решающей инстанции сочли возможным уважить его просьбу касательно выбора ему гувернера и старшего товарища на этот год свободной студенческой жизни, хотя многое говорило против этого выбора. Во всяком случае, в широких кругах его осуждали, где вслух, где шепотом: доктор Юбербейн был не популярен.

В столице его не любили. Полученной им медали за спасение утопающих и его устрашающему трудолюбию отдавали должное, но этот человек не был приятным согражданином, любезным сослуживцем и безупречным чиновником; наиболее доброжелательные считали его раздражительным, неприятным и неугомонным чудаком, не дающим себе передышки даже-в праздничные дни и не умеющим по окончании служебных обязанностей спокойно наслаждаться жизнью, как все прочие люди. Он, незаконный сын какой-то авантюристки, безвестный юноша без средств и видов на будущее, трудом, настойчивостью и силой воли выбился со дна общества в сельские учителя, получил высшее образование, стал преподавателем гимназии, он дожил до того, — многие говорили «добился того», — что его пригласили в Фазанник преподавателем к принцу; и все же он не знает отдыха, не знает покоя, не умеет мирно наслаждаться жизнью... А ведь жизнь, как весьма метко заметил, имея в

виду доктора Юбербейна, один умный человек, — жизнь — это не только служба и работа, существуют и чисто человеческие обязанности и требования, и пренебрегать ими куда более тяжкий грех, чем, скажем, относиться с некоторой снисходительностью к себе и сослуживцам, и гармонической личностью, во всяком случае, можно назвать только того, кто воздаёт должное и службе и людям, и жизни и труду. Юбербейн нелегко сходился с людьми, и это восстанавливало против него. Он избегал общества сослуживцев и дружил только с одним человеком, работавшим в другой области науки, — с детским врачом, носи-вшим неблагозвучную фамилию Плюш, впрочем, имеющим большую практику и некоторыми чертами характера, вероятно, похожим на Юбербейна. Только очень редко — да и то будто из милости — присоединялся он к своим коллегам по гимназии, которые по окончании трудов праведных собирались в ресторане выпить кружку пива, перекинуться в картишки или просто обсудить общественные и домашние дела; вместо этого он проводил вечера и, как узнали от его хозяйки, часть ночи за научной работой у себя в кабинете, от чего цвет лица его делался все зеленее, а глаза явно говорили об усталости. Вскоре после его возвращения из Фазанника начальство сочло себя обязанным повесить его в старшие учителя. Что ему еще нужно? Стать директором? Профессором высшей школы? Министром просвещения? Твердо установлено было одно: за его не знающим меры и удержу усердием скрывается или, вернее, *не* скрывается зазнайство и заносчивость. Его поведение, его громкая, резкая, задорная речь — сердили, раздражали, восстанавливали против него. Он не сдерживал языка, когда говорил со старшими по возрасту и чипу учителями. Он усвоил отческий тон по отношению ко всем, начиная от директора и до самого незначительного сверхштатного учителя, а в его манере говорить о себе, как о человеке, прошедшем огонь и воду, рассуждать о «судьбе и выдержке» и при этом высказывать доброжелательное презрение к тем, «кому это не нужно», «кто закуривает по утрам сигару», — да, в этом так и сквозило самомнение. Ученики обожали его, он добивался превосходных результатов, это верно. Однако в городе у доктора Юбербейна было много врагов, больше, чем он думал, и даже в печати высказывались сомнения относительно желательности его влияния на принца...

Так или иначе Юбербейн получил отпуск, посетил пока что один, в качестве квартирьера, городок, славившийся своим университетом, в стенах которого Клаусу-Генриху предстояло прожить год вольной студенческой жизнью, и по возвращении был принят министром великогерцогского двора, его превосходительством фон Кнобельсдорфом,

дабы получить необходимые инструкции. Сводились они приблизительно к следующему: важнее всего, чтобы за этот год между герцогским сыном и студенческой молодежью на почве общих занятий и свободной академической жизни завязались товарищеские отношения, ибо этого требуют интересы династии. Господин фон Кнобельсдорф ограничился лишь казенными фразами, и доктор Юбербейн, выслушав его, молча поклонился и слегка скосил рот, а заодно и свою рыжую бороду. И вскоре Клаус-Генрих отбыл в университет вместе с ментором, догкартом и несколькими слугами.

В глазах публики и в зеркале официальных сообщений — прекрасный, овеянный музами и очарованием свободы год, однако нисколько не отягченный приобретением фактических знаний. Возникшие было опасения, что доктор Юбербейн по оплошности или недоразумению станет докучать принцу непосильными требованиями в отношении наук, рассеялись. Напротив, выяснилось, что Юбербейн вполне понимает, сколь несходны его собственный серьезный строй жизни и высокий удел его ученика. С другой стороны (то ли по вине ментора, то ли по вине самого Клауса — Генриха), инструкция о свободных и непринужденных товарищеских отношениях осталась благим, но чисто теоретическим пожеланием, так что существенным и специфически присущим этому году не могло считаться ни то, ни другое — ни наука, ни непринужденные отношения. Существенным и специфическим был как будто год сам по себе — его уклад и приятные обычаи, которым Клаус-Генрих подчинился с приличествующей выдержкой, так же как подчинился представительским обязанностям в свой — последний день рождения-только на этот раз на нем была не красная мантия, а цветная студенческая шапочка, называемая «штюрмер», в коей его и представил своим читателям «Курьер».

Внесение Клауса-Генриха в список студентов прошло без каких-либо торжественных церемоний, однако все же было указано на честь, которая выпала на долю высшему учебному заведению, принявшему в свои стены принца; а лекции, на которых он присутствовал, начинались обращением — «Ваше великогерцогское высочество!». Гофмаршальская часть сняла для него красивую, утопающую в зелени виллу на аристократической и не слишком дорогой улице, и прохожие узнавали и приветствовали его, когда он в своем догкарте с лакеем позади ездил оттуда на лекции, на которых сидел с выражением вежливого внимания на лице, в то же время вполне сознавая, что все эти положительные зйания для его высокого назначения несущественны и ненужны. Между студентами ходили почтительные и весьма отрадные рассказы, из которых явствовало, что принц принимает

живое участие в занятиях. Так, в конце одной лекции по естественным наукам (Кlaus-Генрих «для общего развития» посещал и эти лекции) профессор в присутствии слушателей наполнил водой металлический шар и сказал, что вода, расширяясь при замерзании, разорвет металлическую оболочку; в следующий раз он продемонстрирует осколки шара. В этом последнем пункте он своего слова не сдержал, вероятно, по забывчивости: на следующей лекции он не продемонстрировал разорванный шар. И что же, Klaus-Генрих поинтересовался, удался ли опыт. По окончании лекции он, как простой смертный, присоединился к толпе студентов, обступивших профессора, и скромно обратился к нему с вопросом: *«Ну как, бомба разорвалась?»* — в ответ на что профессор сначала опешил и только потом с радостным удивлением, больше того — с волнением, выразил принцу свою благодарность за любезно проявленный им интерес...

Klaus-Генрих был гостем одной из студенческих корпораций — только гостем, потому что ему нельзя было фехтовать, — и несколько раз в цветной шапочке па голове бывал на товарищеских попойках. Но те, кому был поручен надзор за ним, отлично знали, в какое совершенно неподобающее при его высоком назначении расслабленное и тупое состояние приводит употребление спиртных напитков, и посему ему нельзя было пить по-настоящему; и в этом тоже студенты были склонны считаться с его высочеством. Грубые нравы смягчились, свелись к случайным выходкам, тон и обхождение не оставляли желать лучшего, как в свое время в старшем классе гимназии; песни распевались старинные и поэтические, и, в общем, пирушки превратились в парадные торжественные собрания, в идеализированные копии обычных студенческих пооек. Между Клаусом-Генрихом и корпорантами было условлено говорить друг другу «ты», что должно было служить выражением и основой непринужденных товарищеских отношений. Но, несмотря на доброе желание, в этом, по общему мнению, было что-то в корне фальшивое и принудительное, и невольно, обращаясь к Клаусу-Генриху, его то и дело величали «ваше высочество».

Таково было влияние его личности, его любезно — сдержанного и по самой сути своей безучастного обхождения, которое, впрочем, вызывало иногда со стороны людей, соприкасавшихся с принцем, очень странные, даже смешные выходки. Так, раз на вечере у одного из профессоров он заговорил с солидным, уже пожилым господином в чине советника юстиции, который пользовался славой гуляки и беспутного старого греховодника, что, впрочем, не вредило его положению в обществе. Разговор, содержание которого абсолютно несущественно, да к тому же

навряд ли может быть воспроизведено, продолжался сравнительно долго, потому что никто не приходил на смену. И вдруг во время разговора советник юстиции свистнул — издал своими толстыми губами бессмысленную трель, как это бывает, когда хотят скрыть смущение и показать, будто чувствуют себя независимо и беспечно. Он сейчас же спохватился и начал кашлять, спеша замять неприличную выходку... Клаус-Генрих привык к подобным явлениям и из деликатности не замечал их. Иногда он входил в лавку, чтобы самолично что-то купить, и его появление вызывало панику. Он говорил, что ему требуется, просил, скажем, пуговицу, но барышня за прилавком не понимала, терялась; сосредоточить ее мысли на пуговице было нелегко, она явно была поглощена чем-то другим, что стояло вне и над предметами реального мира, — все вываливалось у нее из рук, она беспомощно переставляла коробки с места на место, и Клаусу-Генриху с трудом удавалось ее успокоить.

Таково, как уже говорилось, было воздействие его личности, и в городе многие считали его гордецом и порицали за пренебрежительное отношение к людям. Другие же не соглашались с этим, и доктор Юбербейн, с которым при случае обсуждали эту тему, за* давал вопрос — возможно ли, «даже если согласиться, что есть все основания презирать людей», — возможно ли презрение к ним при такой полной оторванности от действительной жизни, как в данном случае? И пока думали над этим вопросом, он уже утверждал, по своему обыкновению не давая никому вставить слово, что принц не только не презирает людей, а наоборот, до того уважает всех, даже самы-х ничтожных, до того высоко их ставит, до того серьезно, *хорошо* к ним относится, что бедному переоцененному и совершенно подавленному вниманием серенькому человечку остается только потеть.

Общество университетского городка ие успело прийти к какому-нибудь определенному выводу. Учебный год быстро пролетел, и Клаус-Генрих уехал, вернулся, согласно выработанной программе, в отцовскую столицу, чтобы, невзирая на свою левую руку, в течение года серьезно отдаться военной службе. Полгода он служил в лейб-драгунах и давал команду держать дистанцию в восемь шагов при учении на пиках или строиться в колонны, словно это было его прямой обязанностью. Затем он переменил род оружия и вступил в лейб-гренадерский полк, чтобы ознакомиться с пехотной службой. Он даже появлялся в замковой кордегардии и командовал сменой караула, что привлекало многочисленную публику. Со звездой на груди выходил он быстрым

шагом из караульного помещения, обнажив саблю, становился с фланга роты и не совсем точно отдавал команду, но вреда от этого не было: исправные солдаты все равно выполняли все положенные движения. Бывал он также и в офицерском собрании на товарищеских пирушках, где сидел за столом рядом с командиром полка, и в его присутствии офицеры не решались расстегнуть воротник мундира, а после ужина играть в азартные игры. Затем в двадцатилетнем возрасте он предпринял «путешествие с образовательной целью» — на этот раз уже не в обществе доктора Юбербейна, а в сопровождении военного чина — гвардии капитана фон Браунбарт — Шеллендорфа, рослого белокурого молодого человека, который предназначался в адъютанты Клаусу-Генриху, и таким образом получал возможность завоевать за время поездки симпатию принца и приобрести на него влияние.

Из этого «путешествия с образовательной целью», о котором неукоснительно сообщалось в «Курьере», Клаус-Генрих вынес не очень-то много, хоть и объездил разные государства. Он бывал при иностранных дворах, представлялся монархам, присутствовал вместе с господином фон Браунбартом на банкетах и, когда уезжал, награждался высоким орденом данного государства. Он осматривал достопримечательности, которые выбирал для него господин фон Браунбарт (тоже получивший несколько орденов), и «Курьер» время от времени сообщал, что принц в высшей степени благоприятно отзывался о такой-то картине, музее или здании в разговоре с таким-то директором или таким-то хранителем. Клаус-Генрих путешествовал, опекаемый, охраняемый и оберегаемый рыцарской заботливостью ведавшего его кассой господина фон Браунбарта, ревностному усердию которого следует приписать тот факт, что по окончании путешествия Клаус-Генрих не знал даже, как сдают в багаж чемодан.

Два слова, не больше, надо сказать об интермедии, со всей тщательностью разыгранной господином фон Браунбартом в одном из крупных городов империи. В этом городе у господина Браунбарта был приятель — дворянин, ротмистр и холостяк — близкий друг одной молодой дамы из театрального мира, услужливой и надежной особы. Предварительно списавшись со своим приятелем, господин фон Браунбарт свел Клауса-Генриха с этой особой, причем знакомство состоялось у нее в домашнем гнездышке, в подходящей для такого случая обстановке и продолжалось с глазу на глаз достаточно долго, в результате чего весьма деликатным способом была достигнута одна из заранее предусмотренных образовательных целей поездки и, надо сказать, что и в данном случае от

Клауса-Генриха требовалось только одно: приобрести некоторые новые знания. Достойная актриса получила подарок на память, а другу господина фон Браунбарта при случае дали орден. И хватит об этом.

Клаус-Генрих объездил также прекрасные южные края инкогнито, под вымышленной фамилией, звучащей благородно, как в романах. С четверть часика сживал он один в штатском платье строгого и благородного фасона среди других иностранцев в ресторане на белой террасе, любуясь синим морем, и случалось, что за ним наблюдали с соседнего столика и старались, как это принято у путешественников, угадать его общественное положение. Кем может быть этот спокойный и сдержанный молодой человек? Перебирали все круги общества; прикидывали: а что, если его отнести к купечеству, или к военному сословию, или к студентам? Но нет, не подходит. В нем чувствовали нечто высокое, но в чем тут дело, не догадывались.

АЛЬБРЕХТ II

Великий герцог Иоганн-Альбрехт умирал от страшной болезни, в ней было что-то обнаженное, что-то абстрактное, определить ее можно только одним словом — словом смерть. Казалось, на этот раз смерть, уверенная в своем неотъемлемом праве, пренебрегла маскарадом и выступила в своем подлинном обличье: смерти как таковой. Коротко говоря, у герцога начался распад крови, вызванный внутренним гнойным процессом, быстрый ход которого не удалось приостановить, несмотря на радикальную операцию, сделанную директором университетской клиники, известным хирургом. Дело быстро шло к печальной развязке — тем быстрее, что Иоганн-Альбрехт не боролся за жизнь. Он проявлял признаки бесконечной усталости, не раз повторял своим близким и даже пользовавшимся его врачам, что ему до смерти опостылело все, — а значит, и его августейшее бытие, и его высокое положение на виду у всех. За последние дни лицо его стянулось в гротескную гримасу высокомерия и предельной скуки, уже раньше проложивших на его щеках две глубокие борозды, которые теперь обозначились еще резче и только после смерти несколько разгладились...

Болезнь великого герцога прилась на зиму. Наследного принца Альбрехта вызвали в столицу, и после теплого сухого климата он сразу попал в сы рость и снег, что могло пагубно сказаться на его здоровье. Его брат Клаус-Генрих прервал путешествие, предпринятое с образовательной целью, впрочем и без того приближавшееся к концу, и вместе с господином Браунбарт-Шеллендорфом поспешил из прекрасных южных краев домой. У постели умирающего, кроме его двух августейших сыновей, дежурили великая герцогиня Доротея, принцессы Катарина и Дитлинда, принц Ламберт — один, без своей миловидной супруги, — пользующие больного врачи и камердинер Праль, а в соседней комнате собрались по долгу службы придворные чины и министры. Если верить рассказам прислуги, таинственные стуки в «Совиной комнате» за последние недели чрезвычайно усилились. Говорили, будто там периодически возобновляется гроыхание и шум, хотя за стенами комнаты никакой возни не слышно.

Перед смертью великий герцог пожаловал званием тайного советника профессора, с таким великим искусством сделавшего бесцельную операцию, — это было последним высочайшим актом Иоганна-Альбрехта.

Он ужасно устал, ему все опостылело, даже в минуты просветления сознание его было несколько затуманено, однако он отнесся к данной церемонии чрезвычайно внимательно и провел ее по всем правилам. Он приказал приподнять себя на подушках, приложив козырьком к глазам свою восковую руку, внес корректив в случайную расстановку присутствующих, велел сыновьям занять места по обе стороны его кровати, осененной балдахином, — и, хотя дух его блуждал на неведомых тропах, сбиваясь с прямого пути, он с затверженным искусством автоматически изобразил на лице милостивую улыбку и вручил профессору, который перед тем на несколько минут выходил из спальни, соответствующий диплом.

В последние минуты, когда болезнь захватила уже мозг, великий герцог выразил желание, которое с трудом разобрали, но немедленно выполнили, хотя его выполнение уже ничего не могло изменить. В бормотании умирающего все время повторялись одни и те же слова, как будто совершенно бессвязные. Он произносил названия материй: шелк, атлас и парча, упоминал принца Клауса-Генриха, употреблял специальные медицинские термины и что-то лепетал об ордене Альбрехта третьей степени с короной. Среди прочего удавалось уловить самые отвлеченные выражения, вроде «сугубые обязательства» и «благополучное большинство», по всей вероятности относившиеся к монаршим обязанностям умирающего; затем опять пошло перечисление материй, к которым под конец прибавилось слово «плюш», произнесенное более уверенным голосом. И тогда присутствующие поняли: великий герцог хочет, чтоб был приглашен для консультации доктор Плюш, тот самый врач, что двадцать лет тому назад в Гримбурге случайно присутствовал при рождении Клауса-Генриха, а теперь уже много лет практиковал в столице. Доктор Плюш был, правда, детским врачом, однако его все же позвали, и он пришел: теперь на висках у него уже пробивалась седина, усы по-прежнему были не подкручены, приплюснутый нос нависал над ними, щеки, как всегда, были тщательно выскоблены. Склонив голову набок, одной рукой теребя цепочку часов и крепко прижав локоть к телу, взвесил он положение и, не теряя времени, с участливой деловитостью занялся высокопоставленным больным, чем тот совершенно явно остался очень доволен. Так случилось, что доктору Плюшу выпала честь сделать великому герцогу последние уколы, умелой рукой облегчить ему трудный переход и помочь умереть. Такое предпочтение, правда, вызвало молчаливое недовольство прочих врачей, однако оно имело и другое последствие: вскоре после смерти великого герцога, когда в Доротеинской

детской больнице открылась вакансия на должность директора и главного врача, туда был назначен доктор Плюш, в этой роли оказавшийся позднее причастным к развитию совсем других событий.

Итак, Иоганн-Альбрехт III умер, испустил зимней ночью последний вздох, и в то время как он отходил, Старый замок был торжественно иллюминирован. Строгие складки, проложенные на его лице скукой, расправились; он подчинился этикету, который уже не требовал от него никаких усилий и в последний раз опекал, направлял его и в угоду законам представительства делал центром и предметом внимания его восковую оболочку. Господин фон Бюль цу Бюль со свойственной ему энергией распоряжался чином погребения, на которое прибыло много августейших гостей. На обстоятельное выполнение многочисленных печальных церемоний, как-то: положение тела во гроб, перенесение гроба и установка его на катафалке, траурные процессии, поминовение усопшего и заупокойные панихиды, ушел не один день; в течение восьми часов тело покойного, почетный караул вокруг которого несли два полковника, два обер-лейтенанта, два фельдфебеля, два вахмистра, два унтер-офицера и два камергера, было выставлено для обозрения публики. И только по окончании всех этих церемоний восемь лакеев вынесли цинковый гроб из алтаря дворцовой церкви, где он стоял, окруженный обвитыми черным крепом паникадилами со свечами в рост человека, восемь лесничих поставили его в гроб красного дерева, восемь лейб-гренадеров подняли на плечи и понесли к похоронной колеснице, которая под звон колоколов и пушечные выстрелы медленно двинулась в путь к великогерцогской усыпальнице. Намокшие знамена тяжело свисали с середины древка. Хотя был еще день, на улицах, по которым следовал погребальный кортеж, горели газовые фонари. Магазины выставили в декорированных крепом витринах бюст Иоганна — Альбрехта, а открытки с портретом усопшего монарха были нарасхват. По пути следования похоронной процессии непрерывной цепью выстроились войска, гимнастические общества и союзы бывших воинов, а позади в снежном месиве толпились жители столицы и, стоя на цыпочках, обнажив голову, смотрели на медлению плывущий гроб, впереди которого шли лакеи с венками, придворные чины, лица, несшие регалии покойного, и придворный проповедник доктор Визлиценус, меж тем как обергофмаршал фон Бюль, оберегермейстер фон Штиглиц, генерал-адъютант граф Шметтерн и министр двора фон Кнобельсдорф держали кисти шитого серебром покрова. За катафалком вели верхового коня покойного герцога, а сейчас же вслед за ним, впереди всех провожающих, рядом со своим братом Клаусом-Генрихом шел

великий герцог Альбрехт II. Ему была совсем не к лицу военная форма — высокий не гнущийся султан на меховом кивере, лакированные ботфорты, светлая широкая шинель с траурной повязкой. Его смущала глазающая толпа, и на ходу он нервно вздергивал одно плечо, и так уже приподнятое. По его бледному лицу ясно было видно, как тяготит его участие в этом погребальном представлении, да еще в качестве главного персонажа. Он не подымал глаз от земли и, выпятив короткую и пухлую нижнюю губу, посасывал верхнюю...

Та же гримаса не сходила с его лица и в течение всех связанных с коронованием церемоний, ввиду его слабого здоровья по возможности сокращенных. В Серебряном зале парадных апартаментов великий герцог подписал в присутствии министров, собравшихся в полном составе, формулу присяги, а в Тронном, стоя под балдахином перед высоким театральным креслом, прочитал тронную речь, изготовленную господином фон Кнобельсдорфом. В ней серьезно, но деликатно упоминалось хозяйственное положение страны и прославлялось трогательное единение, несмотря на все трудности, царящее между государем и народом; говорят, будто в этом месте тронной речи некий крупный чиновник, вероятно недовольный продвижением по службе, шепнул своему соседу, что и государь и народ одинаково запутались в долгах, в этом-де и выражается их единение, — это острое словцо передавалось затем из уст в уста и даже попало на страницы оппозиционно настроенной прессы... В заключение председатель ландтага провозгласил «ура!» в честь великого герцога, в дворцовой церкви состоялось молебствие, и на этом все кончилось. Альбрехт подписал еще указ об отмене штрафов и тюремных наказаний ряду лиц, осужденных за мелкие преступления, главным образом за порубку. Торжественный выезд через весь город в ратушу для встречи с именитыми гражданами вовсе не состоялся ввиду крайнего утомления Альбрехта II. По случаю своего восшествия на престол великий герцог из ротмистров был незамедлительно произведен в полковники и причислен к своему гусарскому полку, но он только в самых редких случаях носил форму и старался держаться как можно дальше от военной среды. Никакой смены лиц как при дворе, так и в кабинете министров он не предпринял, возможно из уважения к памяти отца.

Народ видел его редко. С первого же дня стало ясно, что гордость и застенчивость внушают ему непреодолимое отвращение к показной стороне жизни, что ему неприятно быть на виду, представлять, принимать приветствия, и это немало огорчило его подданных. Он никогда не появлялся в большой ложе придворного театра. Никогда не катался в

часы прогулки по городскому саду. В период пребывания в Старом замке он отправлялся в карете в отдаленную и безлюдную часть парка и там выходил из экипажа, чтобы немного поразмяться; а летом в Голлербрунне только в исключительных случаях покидал аллеи сада.

Иногда народу случалось его лицезреть, скажем, когда он садился в карету у Альбрехтовских ворот, кутаясь в доставшуюся ему по наследству от отца, слишком тяжелую для его хрупкого тела шубу с широким воротником. Но в робких взглядах и нерешительных приветственных кликах подданных не ощущалось подлинного воодушевления. Простые люди чувствовали, что не могут чистосердечно славить его, а вместе с ним и себя. Они смотрели на своего герцога и не узнавали в нем себя, ибо в его утонченном аристократизме не было характерных для местного населения черт. А к этому они не привыкли. Разве по сей день не стоит на Альбрехтсплаце рассыльный, наружность которого представляет собой огрубленную простонародную копию покойного герцога — такие же выдающиеся скулы и седые бачки? И не те же ли черты лица, что у принца Клауса-Генриха, так часто встречаешь у многих простолюдинов? А вот с его братом дело обстояло иначе. Народ не узнавал в нем себя в идеализированном виде, не мог в нем славить себя и на себя радоваться. Его величие — его несомненное величие — было аристократизмом отвлеченным, а не узко отечественным, непривычным, чуждым для них аристократизмом. Он это знал, и сознание своего величия и в то же время чувство, что он не по-настоящему народен, и было, вероятно, причиной его застенчивости и высокомерия. Уже с самого начала старался он по возможности переложить представительство на принца Клауса-Генриха. Он послал его в Имменштадт на открытие источника и в Буттербург на историческое торжество. Мало того, его нелюбовь ко всяким церемониям дошла до того, что господину фон Кнобельсдорфу только с большим трудом удалось уговорить его не ссылаться на свое плохое здоровье и самому провести в Тронном зале торжественный прием председателей обеих палат, не перепоручая и этого акта младшему брату.

Альбрехт II вел очень уединенную жизнь в Старом замке; это вышло как-то само собой. Во-первых, после смерти Иоганпа-Альбрехта принцу Клаусу-Генриху был назначен собственный придворный штат. Так полагалось по этикету, и посему его местожительством был избран Эрмитаж, тот самый изящно — строгий, но необитаемый и заброшенный небольшой дворец в стиле ампира на северной окраине города, который стоял среди запущенного парка, переходящего в городской сад и молча взирал на подернутый ряской прудик. Еще в ту пору, когда Альбрехт

достиг совершеннолетия, в Эрмитаже произвели самый необходимый ремонт и проформы ради назначили его резиденцией наследного принца; но Альбрехт не жил в этом дворце: покидая летом теплый и сухой климат, он возвращался непосредственно в Голлербрунн...

Клаус-Генрих жил в Эрмитаже не очень пышно, двором его ведал барон фон Шуленбург-Трессен, племянник обергофмейстериньи. Кроме камердинера Неймана, к нему были приставлены два постоянных лакея; егеря на случай торжественных выездов ему давали из штата великого герцога. Конюшня с четырьмя лошадьми — двумя верховыми и двумя выездными — и каретный сарай, где стояли коляска, карета и догкорт, были на попечении кучера и двух конюхов в красных куртках. Парк и сад обслуживал садовник с двумя подручными; а женский персонал «Эрмитажа» состоял из кухарки, судомойки и двух горничных. Гофмаршалу фон Шуленбургу было вменено в обязанность вести хозяйство своего молодого повелителя, не выходя из той суммы, которая по тщательном обсуждении была ассигнована ландтагом брату великого герцога сейчас же после восшествия Альбрехта II на престол. Сумма апанажа составляла пятьдесят тысяч марок. Так как не было никакой надежды получить согласие ландтага на испрашивавшуюся ранее сумму в восемьдесят тысяч марок, решили заранее сделать мудрый и великодушный жест и от имени Клауса-Генриха отказаться от этого требования, что произвело самое лучшее впечатление. Господин фон Шуленбург каждую зиму торговал льдом с пруда. Два раза в лето косил траву на парковых лужайках и продавал сено. После покоса лужайки были почти такие же, как английский газон.

Доротея, вдовствующая великая герцогиня, также не жила больше в Старом замке, и на то, что она удалилась от двора, были свои причины — достаточно печальные и тяжелые. Дело в том, что и эту государыню, которую много на своем веку видевший господин фон Кнобельсдорф как-то назвал одной из красивейших женщин, каких он когда-либо встречал, и эту государыню, чья сияющая красота, каждый раз как она представала перед жадными взорами людей, погрязших в будничной жизни, облагораживала, возвышала душу, давала счастье, и эту государыню тоже не пощадило время. Доротея постарела, ее тщательно выхоленная, прославленная, до небес превознесенная совершенная красота в последние годы начала быстро и неудержимо увядать, и Доротея не смогла примириться с этим. Чарующий блеск ее темно-синих глаз померк, под глазами образовались дряблые желтоватые мешки, прелестные ямочки на щеках превратились в глубокие морщины, а гордый и строгий рот впал и

стал совсем узким, — и никакое искусство, никакие применяемые ею средства, даже самые тягостные и неприятные, — ничто не могло предотвратить одряхления. Но она всегда была холодна, как и ее красота, и ничто не волновало ее, кроме собственной красоты, ибо красота была ее душой; она ничего не любила, ничего не желала, кроме облагораживающего действия этой красоты на людей, ее сердце никогда и ни для кого не билось сильнее, и теперь она почувствовала себя беспомощной и обедневшей. Не смогла внутренне принять, оправдать переход к новому состоянию и повредила рассудком. Лейб-медик Эшрих говорил также о душевном потрясении вследствие необычайно быстрого одряхления, и по-своему он, конечно, был прав. Во всяком случае, надо констатировать тот печальный факт, что Доротея в последние годы жизни своего супруга уже часто проявляла признаки глубокой меланхолии и помрачения рассудка. У нее появилась светобоязнь: так, она отдала распоряжение, чтобы во время четверговых концертов в Мраморном зале все свечи были затемнены красными колпачками, и с ней случались нервные припадки всякий раз, как она не могла добиться, чтобы такое же освещение, неоднократно дававшее повод для насмешек своим «закатным» настроением, применялось и при прочих празднествах — во время придворного бала, малого бала, парадного обеда, раутов. Она целыми днями просиживала перед своими зеркалами и, как наблюдали окружающие, гладила те, в которых по каким-либо причинам ее отражение получалось в более благоприятном свете. А потом опять приказывала вынести из своих комнат все зеркала, а те, что были вделаны в стены, занавесить, ложилась в постель и призывала смерть. Однажды госпожа фон Шуленбург нашла ее в зале Двенадцати месяцев в полном расстройстве, заплаканную перед тем портретом во весь рост, на котором она была изображена в расцвете своей красоты... Вместе с тем ею постепенно овладевала болезненная боязнь людей; и двор и народ с грустью отмечали, как в осанке этой бывлой богини начала проявляться какая-то неуверенность, движения сделались на резкость неловкими, а во взгляде появилось жалкое выражение. В конце концов она стала совсем затворницей, и на последнем придворном бале, на котором еще присутствовал Иоганн-Альбрехт, он шел в первой паре не со своей «недомогающей» супругой, а с сестрой Катариной. Его смерть была избавлением для Доротеи, так как освобождала ее от обязанности представлять где бы то ни было. Для своей резиденции вдовствующая герцогиня выбрала Зегенхауз, старый, похожий на монастырь охотничий замок, расположенный в полутора часах езды от

столицы, среди угрюмого парка и украшенный по воле некоего благочестивого охотника религиозными и охотничьими эмблемами в причудливом сочетании. Там и поселилась меланхоличная и чудаковатая великая герцогиня, и выезжавшим туда на пикник горожанам иногда удавалось издали наблюдать, как она прогуливается в сопровождении баронессы фон Шуленбург-Трессен по аллеям парка и милостиво кланяется стоящим по обе стороны деревьям.

Что же касается принцессы Дитлинды, то она в двадцатилетнем возрасте, через год после смерти отца, вышла замуж. Она отдала свою руку принцу крови из дома, переставшего быть владельческим, — Филиппу цу Рид-Гогенрид, уже немолодому, но хорошо сохранившемуся господину небольшого роста, любителю искусства и человеку передовых взглядов, который в течение долгого времени почтительно добивался ее благосклонности, ратуя сам за себя, и в один прекрасный день на благотворительном базаре он самым обывательским образом предложил ей руку и сердце. Нельзя сказать, чтобы этот союз вызвал в стране взрыв восторга. Известие о нем было встречено сдержанно, он обманул более гордые надежды, которые втайне возлагались на дочь Иоганна — Альбрехта, а злопыхатели говорили, что этот брак можно назвать по меньшей мере неравным. Одно было верно: отдав свою руку князю цу Рид-Гогенрид, — впрочем, по личной склонности, без всякого постороннего давления, — Дитлинда спустилась из привычной ей высокой сферы в гораздо менее связанную этикетом область частной жизни. Ее супруг — родовитый дворянин — был не только любителем и коллекционером картин, но и деловым человеком и фабрикантом крупного калибра. Фамилия, к которой он принадлежал, уже сто лет как перестала быть владетельной, но Филипп — первый в роде — решил, отбросив предрассудки, по-деловому воспользоваться положением ничем не стесненного частного лица. 13 молодости он много путешествовал, а затем начал подумывать о деятельности, которая могла бы дать ему внутреннее удовлетворение, а главное, позволила бы умножить доходы, что стало уже настоятельной необходимостью. Итак, он занялся делами, завел у себя в поместьях молочные фермы, пивоваренные заводы, построил сахарный завод, несколько лесопилен и начал в своих владениях планомерную разработку торфяных болот. Все свои предприятия он вел умело, с осторожностью и практической сметкой, и вскоре они процвели и стали приносить ему доходы, правда, не совсем княжеского происхождения, но, во всяком случае, дававшие ему возможность вести действительно княжеский образ жизни. Пожалуй, тех же злопыхателей следовало бы

спросить, какую же лучшую партию могли они, если рассуждать здраво, предложить принцессе. Оставляя в стороне ее сердечные чувства, скажем, что Дитлинда благодаря своему замужеству попала в удобную, зажиточную и благополучную обстановку, к которой дома не привыкла, а ведь она не принесла мужу почти никакого приданого, разве только неисчерпаемое богатство в виде носильного белья, среди прочего и несколько дюжин вышедших из употребления и никому не нужных предметов, вроде ночных чепцов и косынок, но они по традиции полагались в приданом невесты.

Она с удовольствием, решительно шагнула в частную жизнь и из внешних признаков своей принадлежности к царствующей фамилии сохранила только титул. Она осталась в добрых отношениях со своими дамами, но изгнала всякий этикет и позаботилась, чтобы ее домашний быт не был похож на придворный. Для представительницы рода Гримбургов, а Дитлинды особенно, это, возможно, было очень неожиданно, но, надо полагать, отвечало ее вкусам. Супруги проводили лето в своих поместьях, зиму — в столице, в прекрасном дворце на Альбрехтс — штрассе, приобретенном Филиппом цу Рид; именно там, а не в Старом замке их высочества — Клаус — Генрих и Дитлинда, а иногда и Альбрехт — собирались для задушевной беседы.

Итак, однажды в начале осени, меньше чем через два года после смерти Иоганна-Альбрехта, «Курьер», как всегда хорошо осведомленный, уже в вечернем выпуске поместил сообщение, что сегодня днем его королевское высочество великий герцог и его великогерцогское высочество принц Клаус-Генрих изволили кушать чай у ее великогерцогского высочества княгини цу Рид-Гогенрид. Только краткое сообщение. А между тем в этот день сестра и братья затронули в разговоре ряд вопросов, которые оказались весьма чреватых последствиями.

Клаус-Генрих покинул Эрмитаж около пяти часов. Погода стояла солнечная, и потому он велел заложить коляску, и без четверти пять коричневый лакированный экипаж, хоть и не совсем новый и не очень модный, но зато до блеска вымытый, выехал с мощенного конного двора, помещавшегося у правого крыла служб, и по широкой усыпанной гравием аллее шагом подъехал к дворцу. Окрашенные в ярко-желтый цвет службы — одноэтажные строения, расположенные несколько поодаль от белого и простого господского дома, все же составляли с ним один архитектурный ансамбль, обращенный вытянутым фасадом, через ровные промежутки украшенным лавровыми деревьями, к подернутому ряской пруду и к доступному для гуляющих парку. Дело в том, что передняя часть владения,

переходящая в городской сад, была открыта для публики — как для пешеходов, так и для экипажей, обнесены решеткой были только расположенный несколько выше цветник, в котором находился дворец, и запущенный парк позади дворца, отделенный живой изгородью и забором от предместья с его замусоренными пустырями. Итак, коляска покатила по дороге между прудом и службами, завернула в ворота сада, украшенные двумя фонарями со стершейся позолотой, въехала по пандусу и остановилась перед небольшой строгой террасой с лавровыми деревьями по углам и дверью в боскетную.

Клаус-Генрих вышел за несколько минут до пяти. Он был, как обычно, в тесно облегающем мундире обер-лейтенанта лейб-гренадерского полка, петля от сабли была накинута на руку. Нейман в фиолетовой ливрее с чересчур короткими рукавами, из которых торчали его красные, как и полагается брадобрею, руки, поспешно сбежал со ступеней и положил в коляску серую шинель своего господина. Кучер, приложив руку к цилиндру с розеткой, нагнулся немного вбок с козел, а камердинер застегнул фартук, покрывавший колени Клауса-Генриха, молча поклонился и отступил на шаг назад. Лошади тронули.

За воротами остановилось несколько гуляющих. Они сняли шляпы и отвесили низкий поклон, улыбаясь и подняв брови, а Клаус-Генрих ответил на их приветствие, приложив затянутую в белую перчатку правую руку к козырьку фуражки и несколько раз быстро кивнув головой.

Коляска ехала вдоль пустырей по березовой аллее с уже желтеющей листвой, затем по предместью с его убогими домиками и немощеными улицами, где ребятишки переставали катать ободья с бочек и запускать волчки и задумчиво глядели вслед экипажу. Некоторые с криком «ура!» бежали несколько шагов за коляской, не отрывая глаз от Клауса-Генриха. Собственно, можно было проехать и курортным парком, но дорога через предместье была короче, а времени оставалось в обрез. Дитлинда же была до педантичности аккуратна и сердилась, когда кто-нибудь опаздывал и нарушал заведенный ею распорядок.

Клаус-Генрих проехал мимо Доротеинской детской больницы, где старшим врачом был доктор Плюш, друг Юбербейна. Затем его коляска, оставив позади рабочие кварталы, въехала в Гартенштрассе, красивую улицу, обсаженную деревьями и соединенную с курортным парком трамвайной линией; здесь в собственных особняках и виллах жили состоятельные горожане. Сейчас тут было довольнолюдно, и Клаусу-Генриху приходилось все время быть начеку и отвечать на поклоны. Штатские снимали шляпы и смотрели снизу вверх, офицеры, пешие и

конные, отдавали честь, полицейские становились во фронт, а сидевший в коляске Клаус-Генрих прикладывал руку к козырьку и раскланивался на обе стороны, кивая и улыбаясь затверженной с детства улыбкой, назначение которой было укреплять в людях сознание своей причастности к его августейшей особе... У него была совершенно своеобразная манера держаться в экипаже — он не откидывался лениво на подушки, не устраивался поудобнее, но, сидя в коляске, принимал участие в езде, как если бы катался верхом — скрестив руки на эфесе сабли, выставив вперед одну ногу, он «брал» неровности дороги, активно приспосабливаясь к плохим ресурсам коляски...

Коляска пересекла Альбрехтсплац, оставила по правую руку Старый замок с взявшими на караул двумя часовыми, покатила по Альбрехтштрассе в сторону казармы лейб-гренадеров и свернула налево во двор Гогенридовской резиденции. Дворец — не очень импозантное здание — был построен в стиле немецкого рококо: с вычурным фронтоном над главным порталом, с обрамленными лепными завитушками круглыми слуховыми окнами в верхнем этаже, с высокими балконными окнами в бельэтаже и изящным *coeur d'honneur*^[8] образованным двумя одноэтажными боковыми флигелями и отгороженным от улицы витой решеткой, на колонках которой резвились каменные купидоны. Но внутреннее убранство было выдержано в абсолютно современном уютно-буржуазном вкусе и нисколько не соответствовало старинному стилю здания.

Дитлинда встретила брата в большой гостиной первого этажа, в которой тут и там стояли выгнутые козетки, обитые бледно-зеленым шелком.; стройные колонны разделяли гостиную на две части — дальняя, равная четверти всей комнаты, была заставлена пальмами, цветущими деревцами в металлических кадках и сверкающими всеми красками жардиньерками.

— Здравствуй, Клаус-Генрих, — сказала Дитлинда. Она была хрупкой и стройной, пышными были только ее пепельные волосы, когда-то закрученные над ушами в локоны, словно золотые бараньи рога, а сейчас они были заплетены в толстые косы и уложены вокруг головы над нежным личиком с остреньким подбородком и широкими гримбургскими скулами. На ней было домашнее платье из мягкой серо-голубой ткани, с узким вырезом и белой кружевной косынкой, заколотой у талии старомодной овальной брошью. Сквозь тонкую кожу кое-где — на висках, на лбу, вокруг ее кротких и холодных голубых глаз — просвечивали голубоватые жилки. Уже становилось заметно, что она в ожидании.

— Желаю здравствовать, Дитлинда, тебе и твоим цветочкам, — сказал

Клаус-Генрих, щелкнув каблуками и склоняясь над ее маленькой, белой, чуть широкой рукой. — Какой у тебя здесь аромат! Я вижу — и там вся комната в цветах.

— Да, Клаус-Генрих, цветы я люблю, — сказала она. — Я всегда мечтала жить среди цветов, среди живых, благоухающих цветов, и нянчиться с ними — это было моим заветным желанием; я и замуж-то вышла для этого; ты же сам знаешь, в Старом замке цветов не было... Старый замок и цветы! Мне кажется, тут нам не помогли бы никакие «разведки». Крысоловки и другое старье, это да. Собственно говоря, сам Старый замок был вроде выброшенной за негодностью мышеловки, помилуй бог, какой он был страшный и пыльный...

— Ты забыла розовый куст, Дитлинда.

— Господи боже мой, — один-единственный розовый куст. Да и тот упомянут в путеводителе, потому что розы на нем пахнут тлением! А еще там написано, что в один прекрасный день они будут пахнуть так, как им полагается, — благоухать не хуже других роз. Но я этому не верю.

— Скоро тебе придется нянчиться уже не с цветами, маленькая моя Дитлинда, а с чем-то получше, — сказал он и с улыбкой посмотрел на нее.

— Да, — согласилась она и тут же слегка покраснела, — да, Клаус-Генрих, и знаешь, *этому я тоже* не верю. И все же, если господу будет угодно, это осуществится. Ну, иди же, давай, как прежде, посидим вдвоем...

Комната, на пороге которой они разговаривали, маленькая по сравнению с ее высотой, была устлана серо-голубым ковром и обставлена приятной по форме лакированной серебристо-серой мебелью с сидениями, обитыми бледным шелком. С лепного белого плафона в центре потолка спускалась молочно — белая фарфоровая люстра, а стены были увешаны написанными маслом картинами различной величины-приобретениями князя Филиппа, — полными света и воздуха этюдами в современном вкусе, на которых были изображены белые козы на солнце, куры и гуси на солнце, залитые солнцем луга и жмурившиеся от света крестьяне с солнечными бликами на лицах. На тонконогом дамском секретере у окна с белыми гардинами умещалось множество аккуратно расставленных безделушек, письменных принадлежностей и изящных записных книжек — княгиня привыкла тщательно и точно записывать, что она намерена и должна сделать, — перед чернильницей лежала открытая тетрадь для хозяйственных записей, которую Дитлинда, очевидно, только сию минуту отложила, а над письменным столом на стене висел украшенный шелковыми бантиками отрывной календарик, где под напечатанным

числом можно было прочесть запись карандашом: «5 часов: мои братья». Против двустворчатой двери в большую гостиную между диваном и расставленными полукругом стульями помещался овальный стол с голубой шелковой дорожкой поверх тонкой камчатной скатерти; на нем были симметрично расставлены чайный сервиз в цветочках, ваза с конфетами, сухарница с печеньем и продолговатое блюдо с сэндвичами, а на придвинутом сбоку стеклянном столике над спиртовкой с серебряным чайником подымался пар. И всюду были вазы с цветами — на письменном, на чайном столе, на подзеркальнике, на горке, заставленной фарфоровыми фигурками, на столике у белой кушетки, и в довершение картины и здесь перед окном стояла жардиньерка с растениями в горшках.

Эта комната, расположенная в стороне, под углом к анфиладе парадных зал, была кабинетом Дитлинды, ее будуаром, где она принимала днем близких друзей, сама заваривая и разливая чай. Клаус-Генрих смотрел, как она ополаскивает чайник кипятком и насыпает в него серебряной ложечкой чай.

— А где же Альбрехт... он придет? — спросил он, невольно понижая голос.

— Надеюсь, что да, — ответила она, сосредоточенно наклонившись над хрустальной чайницей, как будто боясь просыпать чай (и Клаус-Генрих также избегал смотреть на нее). — Я его, конечно, тоже звала, но ты же знаешь, он не может обещать. Он придет, если будет себя хорошо чувствовать... Я сейчас налью нам чай, ведь Альбрехт все равно пьет молоко... Кроме того, возможно, что и Иеттхен сегодня заглянет на минутку. Тебе будет приятно ее повидать. Она такая веселая и всегда расскажет какие-нибудь новости...

Иеттхен была некая фрейлейн фон Изеншниббе, княгинина приближенная дама и подруга. Они были с детства на «ты».

— А ты, как всегда, по-военному, Клаус-Генрих, всегда в мундире! — сказала Дитлинда, ставя налитый чайник на поднос и смотря на брата.

Он стоял, сдвинув каблуки, и, подняв левую, постоянно зябнущую руку на высоту груди, потирал ее правой.

— Да, Дитлинда, так мне удобнее, в форме я себя лучше чувствую. Мундир сидит, как влитой, и ты одет. А потом это дешевле, на приличный штатский гардероб, кажется, ужасно много денег надо, Шулеибург и без того постоянно плачется, что все с каждым днем дорожает. Так я могу обойтись двумя-тремя мундирами и, не стыдясь, появляться даже у моих богатых родственников...

— Богатые родственники! — улыбнулась Дитлинда. — Ах, до этого

еще далеко, Клаус-Генрих!

Они сели к столу, Дитлинда — на диван, Клаус — Генрих- на стул против окна.

— Богатые родственники! — повторила она, и было видно, как эта тема близка ее сердцу. — Нет, Клаус-Генрих, где уж богатые, раз наличный капитал очень невелик и все вложено в предприятия. А они еще все до единого молодые, только развиваются, они в периоде роста, как говорит мой добрый Филипп, и будут приносить настоящие плоды разве только нашим детям. Но мы подвигаемся вперед, это верно, а я во все сама вхожу...

— Да, Дитлинда, ты во все самаходишь!

— ...сама вхожу и все записываю, и слежу за людьми, и, несмотря на те расходы, к которым нас обязывает положение, все же каждый год удастся отложить порядочную сумму, подумать о детях* И мой добрый Филипп... он просил тебе кланяться, Клаус-Генрих, я забыла сказать, он искренне сожалеет, что сегодня должен был отлучиться... Мы только что вернулись из Гогенрида, и он уж опять уехал по делам, в имения, он такой хрупкий и слабенький от природы, а как дело коснется его торфа или лесопилок, сразу у него румянец во всю щеку. Он и сам говорит, что поздоровел с тех пор, как у него столько работы...

— Он сам это говорит? — спросил Клаус-Генрих. Он посмотрел поверх жардиньерки на светлое окно и во взгляде его мелькнуло что-то грустное. — Да, я вполне представляю себе, что такая кипучая деятельность может действовать в известной мере возбуждающе. У меня в парке опять скосили траву на лужайках, в этом году уже во второй раз, и я с удовольствием наблюдал, как навивают сено в ровные стога, с палкой посередине, и, кажется, будто на лужайке выросло стойбище индейских вигвамов, или что-то в этом же роде, а потом Шуленбург продаст сено. Но это, конечно, нельзя сравнивать...

— Ну, ты... ты, Клаус-Генрих, совсем другое дело, — сказала Дитлинда и прижала подбородок к груди. — Ты ведь престолонаследник! Понятно, что ты призван к другому. Господи помилуй! Радуйся, что народ тебя так любит...

Они минутку помолчали.

— А как ты, Дитлинда? Ведь, правда, тебе живется по-прежнему хорошо, и даже лучше, я не ошибаюсь?.. — спросил он затем. — Я не скажу, что у тебя румянец во всю щеку, как у Филиппа от возни с торфом; ты всегда была прозрачной и сейчас тоже бледненькая. Но у тебя свежий вид, правда? С тех пор, как ты замужем, я тебя ни о чем не спрашивал, но,

думаю, за тебя можно не волноваться.

Она сидела в спокойной позе, скрестив руки под грудью.

— Да, мне хорошо, Клаус-Генрих, — сказала она, — и с моей стороны было бы черной неблагодарностью отрицать, что я счастлива. Видишь ли, я отлично знаю, что многие у нас в герцогстве разочарованы моим замужеством и говорят, что я сделала ложный шаг и что это мезальянс, и мало ли что еще. За такими людьми недалеко ходить, взять хотя бы брата Альбрехта, ты это не хуже меня знаешь, в душе он презирает моего доброго Филиппа, а заодно и меня, он терпеть его не может и считает торгашом и мещанином. Но меня это не трогает, потому что я сама этого захотела и взяла, — я бы сказала схватила, если бы это не звучало так нелепо, — предложенную мне Филиппом руку, потому что рука эта была теплая и добрая и могла вывести меня из Старого замка. Как вспомню Старый замок и жизнь там, а ведь, не будь моего доброго Филиппа, я бы и по сей день вела такую жизнь, мне, Клаус-Генрих, становится страшно, и я чувствую, что не выдержала бы ее дольше и сошла бы с ума и стала чудаковатой, как бедная мамочка. Я ведь от природы слабенькая, ты это знаешь, я бы там просто-напросто зачахла, уж очень там пусто и мрачно, и когда пришел мой Филипп, я подумала: вот твое спасение! И если люди говорят, что я плохая принцесса, потому что, можно сказать, отреклась и убежала сюда, где теплей и уютней, если они говорят, что мне не хватает чувства достоинства и уважения к своему высокому сану, или как там они это называют, так, значит, они просто глупы и ничего не понимают, Клаус-Генрих, потому что у меня слишком много этого чувства, наоборот, слишком много, в этом все дело, иначе Старый замок не казался бы мне таким страшным, и Альбрехт должен был бы это понять, потому что у него тоже слишком много этого чувства, только по-иному — у нас, у Гримбургов, у всех его слишком много, и потому иногда кажется, будто его у нас слишком мало. И порой, когда Филипп в отъезде, вот как сейчас, а я сижу здесь среди моих цветов и Филипповых картин, в которых так много солнца, — спасибо еще, что это не настоящее солнце, а то, помилуй бог, пришлось бы от него загораживаться, — и вокруг так уютно и аккуратно, и я думаю о том «лучшем», как ты сказал, с чем мне скоро предстоит нянчиться, и тогда мне кажется, что я вроде той русалочки из сказки, которую нам читала наша мадам, помнишь — она стала женой человека и вместо рыбьего хвоста у нее выросли ноги... не знаю, понимаешь ли ты меня...

— Да, Дитлинда, да, я отлично тебя понимаю. И я от всего сердца рад, что все* сложилось для тебя так удачно и счастливо. Потому что, должен

тебе сказать, я по опыту знаю, как опасно, как трудно для нас быть счастливым, не роняя своего достоинства. Так легко вступить на неправильный путь, быть неправильно понятым, ведь если мы сами не будем оберегать свое достоинство, никто за нас этого делать не станет, вот это-то и страшно, а что тогда получится? — Стыд и срам... Но где правильный путь? Ты нашла его. Про меня тоже недавно писали в газетах, что я помолвлен с кузиной Гризельдой. Это был, как они называют, пробный шар, им кажется, что уже давно пора. Но Гризельда глупенькая девочка и страдает бледной немочью. Я не слыхал от нее ничего, кроме «да». Я совсем о Гризельде не думаю, и Кнобельсдорф, слава богу, тоже. Недаром это сообщение сейчас же опровергли как необоснованное... А, вот и Альбрехт, — сказал он и встал.

За дверьми послышалось покашливание. Слуга в темно-зеленой ливрее быстрым и уверенным движением бесшумно распахнул обеими руками двустворчатую дверь и не громко доложил:

— Его королевское высочество великий герцог.

Затем с поклоном отступил в сторону. Из большой гостиной вошел Альбрехт.

Ту сотню шагов, что отделяла Старый замок от резиденции Дитлинды, он проехал в карете, с егерем на козлах. По своему обыкновению, он был в штатском, — в наглухо застегнутом сюртуке с небольшими атласными лацканами и в лакированных штиблетах на узких ногах. Вступив на престол, он отрастил себе эспаньолку. У него был высокий лоб с залысинами, сдавленный на висках; свои светлые волосы он коротко стриг. Несмотря на несколько неловкую походку, несмотря на то, что он от смущения вздергивал одно плечо, во всей его осанке, в манере откидывать назад голову, выпячивать короткую пухлую нижнюю губу и втягивать верхнюю был какой-то поразительный аристократизм.

Дитлинда встретила его на пороге. Поцелуй руки смущал Альбрехта, поэтому он просто подал ей руку, худую, холодную, необыкновенно нервную, и тихо, чуть слышно поздоровался. Он протягивал руку на высоте груди, крепко прижимая локоть к телу. Потом он так же поздоровался со своим братом Клаусом-Генрихом, который ожидал его, встав со стула и сдвинув каблуки, — при этом Альбрехт ничего не сказал.

Тогда заговорила Дитлинда:

— Как это мило, что ты пришел, Альбрехт! Значит, ты не плохо себя чувствуешь? Вид у тебя прекрасный. Филипп просил передать, что очень сожалеет, но ему никак нельзя было остаться. Садись, пожалуйста, где тебе больше нравится, вот хотя бы сюда, напротив меня. Кресло как будто

удобное, прошлый раз ты тоже на нем сидел. Я пока приготовила нам чай. Сейчас тебе подадут молоко...

— Благодарю, — сказал он тихо. — Я должен извиниться... за опоздание. Знаешь, чем короче дорога... А потом я всегда лежу после обеда... Мы будем в семейном кругу?

— В самом тесном семейном кругу, Альбрехт. Может быть, только Иеттхен Изеншниббе на минутку зайдет, если ты ничего не имеешь против...

— А-а...

— Но ей могут сказать, что меня нет дома.

— Нет, зачем же...

Подали горячее молоко. Альбрехт взял высокий, толстый граненый стакан обеими руками.

— Ах, капелька тепла, — сказал он. — Как здесь у нас уже холодно. И все лето я мерз в Голлербрунне. Вы еще не начали топить? Я уже приказал. Но, с другой стороны, я страдаю от запаха дыма. Все печи дымят. Фон Бюль каждую осень обещает мне провести центральное отопление в Старом замке. Но, кажется, это неосуществимо.

— Бедный Альбрехт, когда папа был жив, ты в это время года всегда бывал уже на юге. Верно, тебя тянет туда, — сказала Дитлинда.

— Твое доброе сердце делает тебе честь, милая Дитлинда, — ответил Альбрехт, все также тихо и чуть пришепетывая. — Но приходится мириться с тем, что мое отсутствие недопустимо. Я, как известно, должен править страной. Для этого я существую. Сегодня я соизволил милостиво разрешить одному из моих подданных — к сожалению, я забыл его имя — принять и носить иноземный орден. Затем я повелел отправить телеграмму ежегодному собранию членом Общества садоводства, в которой изъявляю согласие быть почетным председателем этого общества и обещаю всячески поощрять их начинания, — хотя, по правде говоря, я не знаю, чем еще, кроме телеграммы, я могу их поощрить, потому что господа члены общества отлично обходятся без моих поощрений. Кроме того, я соблаговолил утвердить в должности некоего почтенного бюргера, выбранного в бургомистры моего славного города Зибенберге, хотя еще далеко не доказано, что при наличии моего утверждения сей подданный станет лучше отправлять свои обязанности бургомистра...

— Ну, Альбрехт, это все пустяки! — сказала Дитлинда. — Я уверена, что у тебя были дела поважней...

— Ну, конечно. Я принял министра финансов и земледелия. Это необходимо было сделать. Доктор Криппеирейтер был бы в большой

обиде, если бы я не пригласил его еще в течение некоторого времени. Он сделал общий обзор и представил мне на рассмотрение доклад, в котором затронул многие смежные вопросы, как-то: положения, легшие в основу нового составленного им бюджета, урожай, налоговая реформа, которой он сейчас занят. Урожай, он говорит, неважный. Крестьяне пострадали от недорода и плохой погоды, а это нанесло ущерб не только крестьянам, но и ему, Криппенрейтеру, потому что платежеспособность страны, он говорит, опять понизилась. Кроме того, в серебряных рудниках, к сожалению, произошла катастрофа. Производство стало, он говорит, рудники не приносят дохода, а восстановление их поглотит большие суммы. Я выслушал все это с подобающим данному случаю лицом и сделал что мог, выразив свое огорчение по поводу постигших нас несчастий. После чего я выслушал рассуждение о том, к каким расходам — ординарным или экстраординарным, — следует отнести расходы на строительство новых зданий, необходимых для казначейства, лесного ведомства и акцизного и податного управлений, я узнал кое-что о прогрессивной шкале и налогах на доходы с капитала и с мелких ремесел, о снижении налогов с сельского хозяйства, находящегося в бедственном состоянии, и о повышении налогов с городских жителей, в общем у меня создалось впечатление, что Криппенрейтер свое дело понимает. Я сам, конечно, ничего в этом не понимаю, впрочем, Криппенрейтер это знает и прощает мне мое незнание, ну вот я и поддакивал: «Да, да», и «Ну конечно», и «Благодарю вас», и предоставил всему идти своим порядком.

— Какие горькие слова ты говоришь, Альбрехт.

— Вот послушайте, я вам скажу, что пришло мне сегодня в голову во время криппенрейтеровского доклада. У нас в городе живет один человек, так, скромный рантье с бородавкой на носу. Его каждый ребенок знает, и стоит ему появиться на улице, ребятишки бегут за ним следом и кричат от восторга* Зовут его Готлиб-дурачок, у него не все дома. Фамилии его уже давно никто не помнит. Где что случится, он первый там, хотя из-за его дурашливости никто его всерьез не принимает; в петлице у него всегда роза, а шляпу он носит на тросточке. Несколько раз на день в те часы, когда отходит поезд, он идет на вокзал, постукивает по колесам, осматривает багаж, точно без него ничего не сделается. А когда потом человек в красной фуражке подает знак, Готлиб-дурачок машет рукой машинисту, и поезд уходит. А Готлиб-дурачок воображает, будто поезд ушел потому, что он махнул рукой. Вот так же и я. Я махнул рудой, и поезд уходит. Но он ушел бы и без меня, и то, что я махнул рукой, это просто глупая комедия и ничего больше. Мне это надоело.

Брат и сестра молчали. Дитлинда озабоченно смотрела себе на колени, а Клаус-Генрих глядел между нею и великим герцогом на светлое окно и пощипывал свои закрученные усики.

— Я отлично понимаю, что ты хочешь сказать, Альбрехт, хоть это и очень жестоко с твоей стороны сравнивать себя и нас с Готлибом-дурачком, — сказал он после недолгого молчания. — Видишь ли, я тоже ничего не смыслю в прогрессивной шкале, и в налоге с мелких ремесел, и в разработке торфа, и еще в целой куче вещей, — я ничего не смыслю во всем, что себе представляешь, когда говорят: жизненные невзгоды, ну, скажем, голод, нужда и борьба за существование, как это обычно называют, и война, и больницы с их ужасами, и все такое. Я ничего этого не видел, не пережил, за исключением смерти, как таковой, когда умер папа, и эта смерть тоже была не такой, какой может быть смерть, в его смерти было что-то величественное, и весь замок был иллюминирован. Иногда мне кажется, что я и не нюхал жизни. Но потом я убеждаю себя, что мне тоже не легко, совсем не легко, хотя я и вознесен на вершины человечества, как обычно выражаются, а может быть, именно поэтому мне и не легко, и что я по-своему знаю суровость жизни, ее строгий лик с плотно сжатыми губами, если ты не возражаешь против такого образного выражения, может быть, знаю лучше тех, кто разбирается в прогрессивной шкале и еще в каких-нибудь частных вопросах. В том-то и дело, Альбрехт, разумеется, если ты разрешишь мне не согласиться с тобой, в том-то и дело, что нам тоже не легко, и в этом наше оправдание. И если люди, когда видят меня, громко ликуют, так должны же они знать, почему ликуют, и должен же быть какой-то смысл в том, что я живу, хотя никто меня всерьез и не принимает, как ты только что превосходно выразился. А в том, что живешь ты, тем более. Ты, правда, только машешь рукой, все делается помимо тебя, но ведь люди-то хотят, чтобы ты махнул рукой, и если ты в действительности не управляешь их волей и желаниями, то, во всяком случае, ты эту волю выражаешь, ты ее олицетворяешь, а это, может быть, не так уж мало...

Альбрехт сидел за столом прямо, не откинувшись на спинку стула. Он сложил свои худые необычайно нервные руки на краю стола перед наполовину выпитым стаканом молока, полузакрыв глаза и посасывал верхнюю губу. Он тихо ответил:

— Меня не удивляет, что такой любимый народом принц, как ты, доволен своей судьбой. Что касается меня, я не желаю выражать и олицетворять никого, кроме самого себя. Не желаю, и все тут, и если тебе угодно, можешь считать, что для меня виноград хорош, да зелен. Дело в

том, что меня совсем не трогает ликование толпы. Не трогает мою душу. О плоти я не говорю. Человек слаб — при рукоплесканиях что-то в нем растет и ширится, а при холодном молчании — сжимается. Но разумом я не признаю ни любви, ни нелюбви народной. Я знаю, чем была бы моя популярность, если бы она утвердилась, — заблуждением относительно моей личности. Вот поэтому я и пожимаю плечами, когда думаю о рукоплесканиях чужих людей. Другого, — тебя, например, — чувство, что за тобой стоит народ, может возвысить в собственных глазах. А я, прости, слишком рассудочен для таких мистически блаженных чувств и, верно, также слишком чистоплотен, если ты не возражаешь против этого выражения. Счастье такого рода, как мне кажется, дурно пахнет. Во всяком случае, народу я чужой. Я ему ничего не даю, — что может он дать мне? Вот ты... ты совсем другое дело. Сотни тысяч людей, похожих на тебя, благодарны тебе за то, что в тебе они узнают себя самих. Можешь смеяться сколько душе угодно. Для тебя опасность разве лишь в том, что ты будешь так блаженствовать от сознания своей близости к народу, что совсем разнежишься, хоть сегодня ты это и отрицаешь.

— Нет, Альбрехт, думаю, что это не так. Я не думаю, что мне грозит такая опасность.

— Тем легче нам будет понять друг друга. Вообще я против сильных выражений, но популярность — это большое свинство.

— Удивительно, Альбрехт. Удивительно, что ты употребил это слово. Его всегда употребляли «фазаны», знаешь, дворянские сынки, что обучались со мной в Фазаннике. Я знаю, кто ты. Ты аристократ, в этом все дело.

— Ты думаешь? Ошибаешься. Я не аристократ, а как раз наоборот: для аристократа я слишком разумен, и, кроме того, у меня есть вкус. Тебе придется согласиться, что я презираю ликование толпы не из высокомерия, а из добрых чувств, из симпатии к человечеству. Человеческое величие жалкая штука, и, мне кажется, все люди должны бы это понять и относиться друг к другу по-человечески, доброжелательно и никого не принижать и не конфузить. Надо быть слишком толстокожим, чтобы не стыдиться разыгрывать всю эту высокопарную комедию. Я от природы несколько слабой конституции, я чувствую, что смехотворность моего положения мне не по силам. Меня приводит в смущение каждый лакей, который распахивает передо мной дверь и считает, что я должен пройти мимо, не обращая на него внимания, не замечая его, словно он дверной косяк. Вот как я понимаю хорошее отношение к народу...

— Да, Альбрехт, это правда. Иногда совсем не легко пройти с

ласковой улыбкой мимо такого субъекта. Ох уж эти лакеи! Еще если бы ты не знал, что они мерзавцы! А когда знаешь их гнусные проделки...

— Какие проделки?

— Ну, время от времени что-то до нас доходит...

— Помилуй бог, я не хочу знать ничего такого, — вмешалась Дитлинда. — Вы говорите об отвлеченных вещах, а я думала, мы сегодня обсудим несколько заранее намеченных мною вопросов. Будь так добр, Клаус-Генрих, дай мне, пожалуйста, синий кожаный блокнот с письменного стола... Большое спасибо. Сюда я все для памяти заношу и то, что касается хозяйства, и все остальное. Так хорошо, когда все тут черным по белому написано! Нет, у меня голова никуда не годится, — ничего не могу удержать в памяти, если бы я не была аккуратна, не записывала бы каждую мелочь, мне бы просто хоть не живи. Во-первых, Альбрехт, пока я не забыла, я хотела тебе напомнить, что на рауте первого ноября ты должен вести тетю Катарину — иначе никак нельзя. Я уступаю ей, на последнем бале ты вел меня... а то тетя Катарина будет очень недовольна... Могу я считать, что ты согласен? Отлично, тогда я этот пункт вычеркну... Во-вторых, я хотела тебя попросить, Клаус — Генрих, фигурировать пятнадцатого в ратуше на благотворительном базаре в пользу сирот, он устраивается под моим покровительством, видишь ли, я отношусь к этому делу очень серьезно. Покупать ничего не надо... ну, там какой-нибудь карманный гребешочек... Словом, появись минут на десять. Это ведь в пользу сирот... Придешь? Видишь, теперь я могу и еще один пункт вычеркнуть. В-третьих...

Но княгиня цу Рид не успела закончить: лакей доложил о приходе фрейлейн фон Изеншниббе, которая тут же впорхнула в будуар, мгновенно промелькнув через большую гостиную; ее боа из перьев развевалось на бегу, поля огромной шляпы с плерезами то опадали, то вздымались. Она принесла с собой запах свежего воздуха. Фрейлейн фон Изеншниббе была пепельная блондинка, небольшого роста, остроносенькая и такая близорукая, что не видела звезд. В ясные ночи она выходила помечтать на балкон и смотрела на звездное небо в бинокль, на носу у нее было два пенсне, одно на другом, и, делая реверанс, она вытягивала шею и щурилась.

— Господи, ваше великогерцогское высочество, — обратилась она к Дитлинде, — я не знала! Я ворвалась, помешала, почтительнейше прошу извинить меня!

Братья встали, а сконфуженная фрейлейн фон Изеншниббе низко присела перед ними. Альбрехт протянул ей руку, плотно прижав локоть к

телу, и поэтому, в тот момент, когда она присела особенно низко, рука ее приняла почти отвесное положение.

— Милая Иеттхен, ну что ты, право! Мы тебя ждали и рады твоему приходу, — сказала Дитлинда. — Мои братья знают, что мы с тобой на «ты». Пожалуйста, не надо никаких высочеств. Мы не в Старом замке. Садись и чувствуй себя как дома. Хочешь чаю? Он еще не остыл. Вот засахаренные фрукты. Я знаю, что ты их любишь.

— Да, спасибо, Дитлинда, засахаренные фрукты — моя слабость! — И фрейлейн фон Изеншниббе села с узкой стороны стола, спиной к окну, лицом к Клаусу-Генриху, сняла одну перчатку и, наклонясь к самой вазе и присматриваясь, стала брать серебряными щипчиками и класть себе на тарелочку сладости. Она задыхалась от радостного возбуждения, ее маленькая грудь быстро вздымалась.

— У меня есть новости, — начала она, не в силах дольше сдерживаться. — Столько новостей... что они не умежаются в моем ридикюле! То есть... в сущности, всего только одна новость, только одна, — но какая! С ней не осрамишься. И не сплетня, а из достоверного источника! Ты знаешь, Дитлинда, что на меня можно положиться, вот увидишь, еще сегодня она будет напечатана в вечернем выпуске «Курьера», а завтра об этом заговорит весь город.

— Да, Иеттхен, должна признать, ты никогда не приходишь с пустыми руками, — сказала княгиня. — Но мы сгораем от нетерпения, рассказывай, что у тебя за новость.

— Хорошо, сейчас. Дай только передохнуть... Знаешь, Дитлинда, знаете, ваше королевское высочество, знаете, ваше великогерцогское высочество, кто к нам приезжает, кто приезжает на курорт, кто на полтора-два месяца поселится в «Целебных водах», чтобы пройти курс лечения, чтобы пить воду?

— Нет, не знаем, — ответила Дитлинда. — А ты, милая Иеттхен, знаешь?

— *Шпельман*, — сказала фрейлейн фон Изеншниббе. — *Шпельман*, — повторила она, откинувшись на спинку стула и сделала вид, что собирается побарабанить пальцами по краю стола, но, почти коснувшись голубой шелковой дорожки, отвела руку.

Братья и сестра переглянулись с недоверчивым видом.

— Шпельман? — переспросила Дитлинда. — Не может быть, Иеттхен, настоящий Шпельман?

— Самый настоящий! — Голос фрейлейн фон Изеншниббе

прерывался от радости. — Самый настоящий, Дитлинда! Ведь существует только один Шпельман, во всяком случае только один известный, и как раз его-то и ждут в «Целебные воды» — великий Шпельман, Шпельман-иополин, умопомрачительный американский Самуэль Н. Шпельман!

— Но, дорогая моя, как он сюда приедет?

— Прости меня, милая Дитлинда, но ты залаешь такой смешной вопрос... Само собой разумеется, он переедет через океан на своей яхте, а может быть, на большом пароходе, этого я еще не знаю — как ему заблагорассудится. Он решил устроить себе каникулы, предпринять путешествие в Европу, и с совершенно определенной целью — попить воду в курортном парке.

— Разве он болен?

— Ну конечно же, Дитлинда. Все такие люди больны. Для них это, верно, обязательно.

— Странно, — заметил Клаус-Генрих.

— Да, ваше великогерцогское высочество, это поразительно. Вероятно, в этом виноват его образ жизни. Уж конечно, у него очень напряженная жизнь и совсем не легкая, от такой жизни организм, несомненно, истощается скорее, чем от обычной. Большинство из них страдает желудком. Но у Шпельмана, как известно, камни.

— Значит, камни...

— Ну да, Дитлинда, ты об этом, конечно, уже слышала и просто забыла. У него камни в почках, прости меня за такие непоэтичные подробности, — тяжелое мучительное заболевание, и можно с уверенностью сказать, что он не получает ни малейшего удовольствия от своего сумасшедшего богатства.

— Но как, скажи ради бога, пришло ему в голову поехать на наши воды?

— Что ты, Дитлинда. Очень просто. Вода у нас очень хорошая, можно сказать отличная, Дитлиндинский источник, в котором столько лития или как его там еще, особенно незаменим при подагре и камнях, совершенно непонятно, почему он не пользуется мировой известностью, вполне им заслуженной. Но такому человеку, как Шпельман, надо думать, что такому человеку не импонируют мировая известность и реклама, он живет своим умом. Ну вот он и открыл нашу воду, а может быть, ему его лейб-медик прописал, и он покупал ее в бутылках, и вода ему помогла, вот он, может быть, и подумал, что, если пить ее на месте, пользы будет еще больше.

Все молчали.

— Господи боже мой, Альбрехт, — сказала наконец Дитлинда, —

какого бы мы ни придерживались мнения о Шпельмане и ему подобных, — я очень осторожна в своем мнении о нем, в этом ты можешь быть уверен, — а все-таки приезд такого человека должен принести известную пользу нашему курорту, как ты думаешь?

Великий герцог повернулся к Дитлинде, на лице его была обычная тонкая и застывшая улыбка.

— Спроси фрейлейн фон Изеншниббе. Вы несомненно успели выяснить и эту сторону вопроса?

— Если вы, ваше королевское высочество, желаете знать... Огромную пользу! Невероятную, совершенно не поддающуюся учету пользу — это же ясно, как божий день! Дирекция на верху блаженства, себя не помнит от радости, бювет украшен гирляндами, «Целебные воды» иллюминированы! Какая реклама! Какая приманка для иностранцев! Соблаговолите только подумать, ваше королевское высочество... Ведь на этого человека всем любопытно посмотреть! Вы, ваше великогерцогское высочество, изволили сейчас говорить о «ему подобных», но ему подобных ист, — может быть, найдется человека два-три, никак не больше. Это Левиафан, это птица Рох! Да к нам отовсюду съедутся, чтобы посмотреть на человека, который, если захочет, сможет ежедневно тратить так что-нибудь вроде полмиллиона!

— Господи помилуй! — воскликнула потрясенная Дитлинда. — А мой добрый Филипп мучается со своими торфяными разработками...

— Расскажу все по порядку: вот уже несколько дней как по галерее курортного парка прогуливаются два американца. Кто они? Выяснилось, что это журналисты, репортеры двух крупных нью-йоркских газет. Они поспешили сюда и сейчас, пока Левиафан еще не прибыл, сообщают по телеграфу своим газетам сведения о здешних местах. Когда он приедет, они будут телеграфно сообщать о каждом его шаге, — совершенно так же, как «Курьер» или «Правительственный вестник» сообщают обо всем, что касается вас, ваше королевское высочество...

Альбрехт поклонился в знак благодарности, не подымая глаз и выпятив нижнюю губу.

— Он оставил за собой княжеские покои в «Целебных водах» для своего временного пребывания, — сказала Иеттхен.

— Для себя одного? — спросила Дитлинда.

-. Что ты, Дитлинда, не приедет же он один. Я не знаю пока подробностей о его домашних и прислуге, но достоверно известно, что его сопровождают дочь и лейб-медик.

— Ты все время говоришь «лейб-медик», Иеттхен, меня это раздражает. А потом эти журналисты... И, кроме того, еще и княжеские

покои. Ведь он же не король.

— Насколько мне известно, он железнодорожный король, — заметил вполголоса и не поднимая глаз Альбрехт.

— Не только железнодорожный король, ваше королевское высочество, и, судя по всему, что я слышала, даже не это самое главное. Там в Америке существуют огромные торговые компании, которые, как вам, ваше королевское высочество, известно, называются трестами, например стальной трест, сахарный трест, нефтяной трест, а потом еще угольный, мясной, табачный и всякие другие. И почти во всех этих трестах участвует Самуэль Н. Шпельман — он главный держатель акций и главный контролер, — это у них так называется, я читала... Значит, его дело должно быть чем-то вроде того, что у нас называется универсальной оптовой торговлей.

— Нечего сказать, чистое дельце, — заметила Дитлинда. — Очень, должно быть, чистое дельце! Тебе, милая Йеттхен, ни за что меня не убедить, что честным трудом можно так разбогатеть, стать Левиафаном и птицей Рох. Я уверена, что от его богатств пахнет кровью вдов и сирот; А ты, Альбрехт, как думаешь?

— Для вашего с супругом успокоения от всей души желаю, чтобы это было так.

— Если это и так, то Шпельман — наш Самуэль Н. Шпельман — тут, можно сказать, ни при чем, — продолжала свой рассказ фрейлейн фон Изеншниббе. — Он только унаследовал богатство отца и, говорят, к делам никогда особой любви не питал. Все нажил его отец — в общих чертах я обо всем могу рассказать, я сама читала. Его отец-он был немцем — ничего из себя не представлял, так, авантюрист; он отправился за океан и сделался старателем. Ему повезло, он нашел золото и приобрел небольшое состояние-можно даже сказать, довольно большое — и пустил его в оборот, занялся нефтью, сталью, железнодорожным строительством, а потом всем, чем годно, и все богател и богател. А когда он умер, дело уже было на полном ходу, и его сыну Самуэлю, унаследовавшему фирму птицы Рох, оставалось только класть в карман огромные дивиденды и все богатеть и богатеть, и теперь у него столько денег, что и выговорить страшно. Вот как все было.

— И ты говоришь, Йеттхен, что у него есть дочь? Что она собой представляет?

— Да, Дитлинда, жена умерла, но у него осталась дочь, мисс Шпельман, и ее он тоже берет с собой. Судя по всему, что я читала, странная девушка. Он сам *sujet mixte*^[9] потому что его отец женился на

южанке — на полукровке. Отец у нее был немец, а мать туземка. И Самуэль тоже женился на американской немке, наполовину англичанке, вот ее-то дочь и есть мисс Шпельман.

— Господи помилуй, Иеттхен, да что же это за помесь!

— Совершенно верно, Дитлинда. Как я слышала, она очень образованная, занимается не хуже мужчины, изучает алгебру и такие трудные предметы...

— Ну, мне она от этого симпатичней не станет.

— А сейчас будет самое сногшибательное, Дитлинда: у мисс Шпельман есть компаньонка, и эта компаньонка — графиня, самая настоящая графиня состоит при ней в компаньонках.

— Господи помилуй! — воскликнула Дитлинда. — И ей не стыдно? Как хочешь, Иеттхен, но я твердо решила: мне до Шпельмана дела нет. Пусть пьет себе на здоровье здесь воду, а затем отправляется восвояси вместе с графиней и своей алгебраической дочерью, меня это нисколько не трогает. На меня его нажитое нечестным трудом богатство никакого впечатления не производит. А ты, Клаус-Генрих, как думаешь?

Клаус-Генрих смотрел поверх головы фрейлейн Изеншниббе на светлое окно.

— Насчет впечатления? — переспросил он. — Я думаю, богатство на меня впечатления не производит, я имею в виду то, что принято называть богатством. Но мне сдается, все зависит от... все зависит, как мне кажется, от масштаба. У нас здесь тоже есть несколько своих богачей... У мыловара Уншлита, говорят, миллион... Я его иногда вижу, когда он катается по парку в собственном экипаже... Он очень толстый и вульгарный... Но если человек из-за своего огромного богатства болен и одинок... Не знаю...

— Во всяком случае, жуткий человек, — сказала Дитлинда. И постепенно разговор о Шпельмане заглох. Заговорили о семейных делах, об имении Гогенрид, о предстоящем сезоне. Около семи часов великий герцог послал за своим экипажем. Все встали, попрощались, потому что и Клаус-Генрих собрался домой. Но в вестибюле, когда лакеи подавали братьям пальто, Альбрехт сказал:

— Я был бы тебе очень признателен, Клаус-Генрих, если бы ты отослал домой кучера и еще четверть часа не лишал меня своего приятного общества. Мне надо обсудить с тобой один довольно серьезный вопрос. Я охотно проводил бы тебя в Эрмитаж, но вечерняя сырость мне вредна.

Клаус-Генрих ответил, щелкнув каблуками:

— Конечно, Альбрехт, и речи быть не может! Я поеду с тобой в замок, если тебе это приятно. Разумеется, я всегда к твоим услугам.

Таково было введение к достопримечательному разговору между августейшими братьями, результат которого несколько дней спустя был опубликован в «Правительственном вестнике» и встречен всеобщим одобрением.

Принц въехал с великим герцогом в замок через Лльбрехтовские ворота, последовал за ним по каменным лестницам с широкими перилами, по коридорам, освещенным открытыми газовыми рожками, через безмолвные аванзалы, мимо лакеев в «кабинет» Альбрехта, где старик Праль зажег обе бронзовые керосиновые лампы на каминной доске. После смерти отца Альбрехт унаследовал его рабочий кабинет — эта комната служила рабочим кабинетом всем правящим герцогам, она была расположена в первом этаже между адъютантской и столовой, где обычно кушал великий герцог, и выходила на Альбрехтсплац, так что, сидя за письменным столом, монарх всегда держал эту площадь в поле своего зрения. Комната была исключительно некомфортабельна и безвкусна — небольшой зал с облупившейся живописью на плафоне, с красными штофными, обрамленными позолоченным багетом обоями и с тремя большими окнами до самого пола, от которых сильно дуло; в данную минуту темно-красные с бахромой драпри были задернуты. В кабинете имелся декоративный камин в стиле ампира с расставленными перед ним полукругом модными стегаными плюшевыми стульчиками без подлокотников и белая кафельная жарко натопленная печка с удивительно безвкусным орнаментом. У боковых стен стояли один против другого два больших стеганых дивана, к одному из них был придвинут четырехугольный покрытый красной плюшевой скатертью стол для журналов. В простенках между окнами подымались до потолка два высоких узких зеркала в золоченых рамах, с белыми мраморными подзеркальниками — на правом стояла довольно фривольная мраморная группа, а на левом — графин с водой и пузырьки с лекарствами. На красном ковре одиноко красовалось старинное палиссандровое, отделанное медью бюро с выдвижной крышкой. Из угла с консоли глядел в комнату незрячими глазами античный бюст.

— То, что я хочу тебе предложить, — сказал Альбрехт, — он стоял у письменного стола и машинально вертел в руке нож для разрезания бумаги, нелепую, похожую на детскую игрушку вещицу, изображающую кавалерийскую саблю. — То, что я хочу тебе предложить, стоит в известной связи с нашим сегодняшним разговором... Заранее должен сказать, что этим летом в Голлербрунне я уже обсудил данный вопрос с Кнобельсдорфом. Он согласен, и если ты тоже согласишься, а в этом я не

сомневаюсь, то можно будет немедленно осуществить мое предложение.

— Пожалуйста, Альбрехт, я слушаю, — сказал Клаус-Генрих, который стоял у стола перед диваном, по военному вытянувшись и всей позой выражая почтительное внимание.

— За последнее время мое здоровье оставляет желать лучшего, — продолжал великий герцог.

— Меня это очень огорчает, Альбрехт! Значит, пребывание в Голлербрунне не пошло тебе на пользу?

— Благодарю за внимание. Нет, нисколько. Я себя плохо чувствую, и здоровье мое все меньше и меньше позволяет мне выполнять те требования, которые мне предъявляют. Говоря «требования», я прежде всего имею в виду обязанность представлять — присутствие на всяких торжествах, что неизбежно при моем положении, вот тут-то и начинается связь с тем разговором, который мы вели у Дитлинды. Выполнение этих обязанностей, возможно, радует тогда, когда есть контакт, близость с народом, когда сердца бьются в унисон. Для меня это мука, и фальшь моей роли утомляет меня до такой степени, что уже приходится думать о необходимости принять какие-то меры. Тут я солидарен — поскольку речь идет о физическом здоровье — с врачами, которые полностью поддерживают мое намерение... Итак, выслушай меня. Я не женат и вообще не питаю намерения вступать в брак, в этом можешь быть уверен, детей у меня не будет. Ты престолонаследник по праву рождения, как ближайший к трону по мужской линии, но еще важнее то, что ты престолонаследник в сознании народа, ибо народ тебя любит.

— Ах, Альбрехт, ты всегда говоришь о том, что меня любят... Я не верю в это... Возможно, и любят, но издали... С нами это всегда так, нас любят только издали.

— Ты слишком скромен. Слушай дальше. Ты уже был так любезен и время от времени частично освобождал меня от обязанности представлять. Я хотел бы, чтобы ты освободил меня от них совсем, навсегда.

— Ты думаешь отречься от престола, Альбрехт?! — с испугом спросил Клаус-Генрих.

— Я не имею права об этом думать. Верь мне, я бы очень охотно это сделал. Но мне не позволят. То, о чем я думаю, даже не регентство, а только заместительство, — может быть, ты помнишь из лекций по государственному праву разницу между этими двумя понятиями, — длительное и официально утвержденное заместительство при исполнении всех связанных с представительством обязанностей, обоснованное

необходимостью щадить мое здоровье. Что ты на это скажешь?

— Як твоим услугам, Альбрехт. Но мне не совсем ясно, на что должно распространяться это замещение?

— О, на все, на что только можно. Я хотел бы, чтобы на все те случаи, когда от меня требуется публичное выступление. Кнобельсдорф настаивает, чтобы я только иногда, только когда мне предписан постельный режим, предлагал тебе присутствовать вместо меня при открытии и закрытии ландтага. Хорошо, пусть будет, как он того требует. Но ты должен замещать меня во всех других торжественных случаях, как-то: путешествия, поездки в различные города, открытия публичных праздников, открытие городского бала...

— И открытие бала?

— А почему бы нет. Кроме того, еще еженедельные общедоступные аудиенции, разумеется, обычай это хороший, но меня он сведет в могилу. И аудиенции тоже проводил бы вместо меня ты. Перечислять все не буду. Принимаешь мое предложение?

— Як твоим услугам, Альбрехт.

«- В таком случае выслушай до конца. На все те случаи, когда ты будешь заменять меня, к тебе будут приставлены мои адъютанты. Затем необходимо будет ускорить твоё повышение в чине. Ты обер-лейтенант? Будешь произведен в капитаны или же непосредственно в майоры и причислен к твоему полку... Об этом я позабочусь. Кроме того, я хочу придать нашему соглашению должный авторитет, хочу подобающим образом обозначить твоё место рядом со мной, пожаловав тебе титул «королевское высочество». Надо было уладить кое-какие формальности... Кнобельсдорф с ними уже покончил. Я изложу своё решение в двух рескриптах: к тебе и к моему первому министру. Оба рескрипта Кнобельсдорф уже набросал. Согласен?

— Что мне сказать, Альбрехт? Ты старший папин сын, я всегда смотрел на тебя снизу вверх, потому что всегда чувствовал и знал, что ты выше меня, ты аристократ, а я по сравнению с тобой — плебей. Я совсем не чувствую себя представительным и всегда ощущал мою левую руку, как помеху, потому что должен её прятать, но если ты считаешь меня достойным стоять рядом с тобой, носить принадлежащий тебе титул и представлять тебя перед народом, — мне не остается ничего иного, как поблагодарить тебя и сказать, что я к твоим услугам.

— Тогда разреши мне остаться одному. Я нуждаюсь в отдыхе.

Они отошли — один от письменного стола, другой от стола для журналов — и, дойдя до середины комнаты, остановились на ковре друг

против друга. Великий герцог подал брату руку — худую, холодную, которую он всегда протягивал на высоте груди, прижимая локоть к телу. Клаус-Генрих щелкнул каблуками и, взяв протянутую ему руку, поклонился, а Альбрехт на прощание кивнул своей узкой головой и, выпятив нижнюю короткую и пухлую губу, слегка втянул верхнюю. Клаус-Генрих возвратился к себе в Эрмитаж.

Неделю спустя «Правительственный вестник» и «Курьер» опубликовали оба рескрипта, в которых было изложено высочайшее решение: тот, что начинался словами «Любезнейший наш первый министр, доктор прав и барон фон Кнобельсдорф», и тот, что начинался словами «Ваше великогерцогское высочество и нежно любимый брат!» и был подписан: «Вашего королевского высочества искренне расположенный брат *Альбрехт*».

ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Здесь рассказывается, какую своеобразную жизнь вел Клаус-Генрих и как он выполнял свои высокие обязанности.

Он выходил где-нибудь из экипажа, перекинув через руку шинель, делал несколько шагов по застланному красным ковром тротуару между двумя стенами громко приветствующего его народа, проходил под балдахином, сооруженным над дверью с лавровыми деревьями по обеим сторонам, подымался по лестнице, вдоль которой стояли лакеи с подсвечниками... Он следовал по окончании торжественного обеда в сопровождении свиты, красуясь пышными майорскими эполетами и увешанной орденами грудью по готическому коридору ратуши. Два лакея бежали вперед и поспешно открывали старое расшатавшееся окно с свинцовыми переплетами, ибо внизу на небольшой базарной площади плечом к плечу стояли жители, — в дымном пламени факелов Клаус — Генрих видел наклонную плоскость обращенных кверху лиц. Люди кричали и пели, а он стоял у открытого окна и кланялся, на несколько минут являя свою особу восторженным взорам подданных, кланялся и благодарил...

Он не знал ни настоящих будней, ни настоящей действительности; жизнь его сплошь состояла из приподнятых, напряженных мгновений. Где бы он ни появился, всюду его ждали праздники и торжества, народ преображался, серенькая повседневность светлела и озарялась поэзией. Нищий превращался в скромного труженика, лачуга в мирную хижину, чумазные уличные ребятишки в читающих стихи благонаправных мальчиков и девочек, разряженных, с приглаженными водой волосами, а затхлый мещанин надевал сюртук и цилиндр и проникался чувством собственного достоинства. Но не только он, Клаус — Генрих, видел мир в таком свете, — в его присутствии сам окружающий мир видел себя таким. Всюду, где он выполнял свои высокие обязанности, царили странная бутафория и пустая видимость. На определенное время, как по волшебству, создавалась переряженная, показная, радующая сердце действительность из картона и позолоченного дерева, гирлянд, лампионов, драпировок и флагов, действительность всегда в одинаковом, условном убранстве, и он стоял в центре этой мишурной пышности, на ковре, прикрывающем голую землю, среди двухцветных, раскрашенных, увитых гирляндами мачт; стоял, сдвинув каблуки, вдыхая запах краски и еловых веток, и улыбался,

уперев левую руку в бок.

Он заложил фундамент нового здания ратуши. Магистрату удалось, прибегнув к некоторым финансовым операциям, собрать нужную сумму, проект здания был поручен столичному архитектору. Но камень в фундамент заложил Клаус-Генрих. Он подъехал под ликующие крики жителей к воздвигнутому на главной площади великолепному павильону, легко, сохраняя привычную выправку, вышел из коляски и ступил на укатанную и посыпанную тонким желтым песком землю, один, без сопровождения, прошел несколько шагов, которые отделяли его от ожидавших у входа членов магистрата во фраках и белых повязках. Ему был представлен архитектор, и Клаус-Генрих на виду у публики и обступивших его отцов города, на лице у которых застыла улыбка, в течение пяти минут беседовал с ним на весьма высокую и отвлеченную тему о преимуществах различных архитектурных стилей; затем он отпустил архитектора, произнес несколько обдуманных во время беседы слов, и поднялся по дощатым ступенькам, застланным ковром, на среднюю трибуну к своему креслу, выдвинутому вперед. Он сидел там, при звезде и орденской цепи, выставив одну ногу, скрестив руки в белых перчатках на эфесе сабли, поставив на пол рядом с собой свою каску, со всех сторон видный собравшимся, и, не меняя официальной позы, слушал речь бургомистра. Затем, выполняя просьбу магистрата, встал, сошел, не проявляя заметной осторожности, не смотря себе под ноги, вниз по ступеням, ведущим к котловану, три раза не спеша ударил молотком по фундаменту из песчаника, сопроводив это действие небольшой, составленной господином фон Кнобельсдорфом речью, которую Клаус — Генрих произнес своим резковатым голосом. Потом школьники пели хором. И Клаус-Генрих отбыл.

Он прошел вдоль рядов ветеранов в день национального военного праздника. Старый инвалид крикнул голосом, казалось, охрипшим от порохового дыма: «Смирно! Шляпы долой! Равнение направо!» И они стояли, выпятив грудь с медалями и крестами, держа в опущенной руке твердый цилиндр, и глядели на него налитыми кровью собачьими глазами, а он с благосклонной улыбкой проходил вдоль рядов, задерживался то около одного, то около другого, расспрашивал, в каком полку он служил, в каком бою участвовал... Он посетил гимнастический праздник, осчастливил своим присутствием гимнастические состязания областных обществ и пожелал, чтобы ему были представлены победители для «беседы» с ними. Смелые, статные юноши, только что выполнявшие труднейшие упражнения, робели перед ним, а Клаус — Генрих, спрятав

левую руку, быстро вставлял в разговор профессиональные выражения, которые помнил еще со времен господина Цотте и теперь произносил без запинки.

Он ездил в Фюнфгаузен на съезд рыболовов, он присутствовал на скачках в Гримбурге, где сидел на почетной трибуне, декорированной красными полотнищами, и вручал призы. Он был также почетным председателем на празднике стрелкового общества, покровителем которого состоял; он посетил призовую стрельбу великогерцогского привилегированного стрелкового общества. Он «осушил до дна» — как было сказано в отчете «Курьера» — «заздравную чашу», а именно — пригубил серебряный бокал, а затем, щелкнув каблуками, поднял его в честь стрелков. Потом он сделал несколько выстрелов в почетную мишень, причем о попаданиях в газетах ничего сказано не было. Затем согласно сообщению «Курьера» «имел весьма теплую беседу» с тремя господами подряд на одну и ту же тему — о преимуществах стрелкового дела и наконец уехал, крикнув на прощание «здорово!», что вызвало неописуемый восторг. Это приветствие в последнюю минуту подсказал ему на ухо предварительно сам осведомившийся генерал-адъютант фон Хюнеман; ведь если бы Клаус-Генрих пожелал стрелкам «в добрый час!», а шахтерам «здорово!», это, несомненно, произвело бы нежелательное впечатление и разрушило бы приятную иллюзию, что его королевское высочество знает предмет и обоснованно предпочитает данное занятие другому.

Для выполнения своих высоких обязанностей Клаусу-Генриху вообще требовалось кое-какое знание предмета, которое он время от времени и приобретал, а затем при случае удачно применял, Главным образом знание различных профессиональных оборотов, а также исторических дат, и Клаус-Генрих готовился у себя в Эрмитаже к каждому официальному выступлению, просматривая соответствующие материалы и слушая специальные доклады. Открывая в Кнյппельсдорфе от имени великого герцога, «моего всемилостивейшего государя и брата», памятник Иоганну-Альбрехту, он произнес сейчас же вслед за выступлением «Певческого кружка благонамеренных» на площади, где происходило торжество, речь, в которую было втиснуто все, что он записал себе о Кнյппельсдорфе, и речь эта произвела прекрасное впечатление, ибо можно было подумать, что он с детских лет только и делал, что изучал исторические судьбы этого центра вселенной. Прежде всего Клаус — Генрих трижды назвал Кнյппельсдорф городом, чем очень польстил жителям, затем он сказал, что город Кнյппельсдорф уже много столетий связан узами взаимной верности с родом Гримбургов. Ведь уже в четырнадцатом столетии ландграф Генрих

XV, Рутенштейнер, выступил как особый покровитель Кшюппельсдорфа. Он, Рутенштейнер, построил на ближайшей скале, на Рутенштейне, замок, чьи «грозные башни и крепкие стены были видны далеко окрест». Потом Клаус-Генрих напомнил, как путем Краков Кшюппельсдорф стал наследственным владением той ветви рода, к которой принадлежат его браг и он сам. На протяжении веков над Кшюппельсдорфом разразилась не одна гроза, он пережил войны, пожары и моровую язву, но город преодолел все испытания, и в години бедствий сохраняя верность своим исконным властителям. И сегодня Кшюппельсдорф отличается тем же настроением умов, ибо воздвигает памятник его, Клауса-Генриха, в бозе почившему родителю, и он, Клаус-Генрих, с особым удовольствием доведет до сведения своего всемилостивейшего государя и брата о торжественном и сердечном приеме, оказанном в его лице великому герцогу Альбрехту II. Холст упал, «Певческий кружок благонамеренных» еще раз проявил свое усердие. А Клаус-Генрих, чувствуя себя совершенно опустошенным, стоял под воздвигнутым в его честь театральным шатром и улыбался, радуясь, что теперь никто уже не осмелится предложить ему вопрос. Ибо теперь он, хоть убей, не мог бы прибавить ни одного словечка к сказанному им о Кшюппельсдорфе.

Какая у него была утомительная, какая напряженная жизнь! Иногда ему казалось, что он должен со страшной затратой сил поддерживать что-то, что, собственно, уже нельзя поддержать, а если можно, то лишь при особо благоприятных обстоятельствах. Иногда его жизненное назначение казалось ему печальным и жалким, хотя он любил и охотно выполнял свои связанные с представительством обязанности.

Он отбыл из столицы на сельскохозяйственную выставку, прибыл из Эрмитажа в своей коляске с плохими рессорами на вокзал, где для прощания с ним выстроились у салон-вагона губернатор, полицмейстер и железнодорожное начальство. Он пребывал в вагоне полтора часа, во время которых не без труда поддерживал разговор с приставленными к нему великогерцогскими адъютантами и с сопровождавшим его референтом по сельскохозяйственным вопросам, советником министерства Гекепфенгом, серьезным и почтительным господином. Затем он прибыл на вокзал того городка, где устраивалась сельскохозяйственная выставка. Бургомистр, с цепью на груди, ожидал его во главе шести или семи должностных лиц. Станция была декорирована елочками и гирляндами из листьев. В глубине, окруженные зеленью, стояли гипсовые бюсты Альбрехта и Клауса — Генриха. Публика за барьером три раза прокричала «ура!». Звонили во все колокола.

Бургомистр произнес приветственную речь. Он почтительнейше благодарит, — сказал бургомистр и потряс при этом цилиндром, который держал в руке, — от лица города за все милости, оказанные братом Клауса-Генриха и им самим, и выражает искренние пожелания дальнейшего благополучного царствования. Он повторил также просьбу к принцу завершить начинание, давшее такие хорошие результаты, под его высоким покровительством, и открыть выставку.

Бургомистр был в чине коммерции советника, о чем Клаус-Генрих был осведомлен заранее, и в ответной речи он трижды именовал его согласно этому чину. Его радует, сказал Клаус-Генрих, что под его покровительством это начинание дало такие хорошие результаты (по правде говоря, он забыл, что выставка пользовалась его высоким покровительством). Он приехал, чтобы завершить это полезное начинание и открыть выставку. Затем он поинтересовался четырьмя вопросами: хозяйственным положением города, приростом населения за последние годы, рынком труда (хотя сам хорошенько не знал, что такое рынок труда) и ценами на продукты. Если цены на продукты были высоки, он выслушивал это сообщение с «серьезным» видом, и, само собой разумеется, тем все и ограничивалось. Большого от него никто не ждал, все утешались уже тем, что он очень серьезно выслушал сообщение о высоких ценах.

Затем бургомистр представил ему местную интеллигенцию: судью, ближнего помещика из дворян, пастора, двух врачей, экспедитора; и Клаус-Генрих предложил каждому какой-нибудь вопрос, причем, пока один отвечал, Клаус-Генрих обдумывал, о чем спросить другого. Кроме них, были еще ветеринар и инспектор по животноводству. Наконец все сели и экипажи и под приветственные клики жителей проехали между выстроенными шпалерами школьниками, пожарными и членами различных обществ через раз- vKpānieHnbift город на выставочное поле. Но у заставы их остановили девушки в венках и белых платьях, одна из которых, дочь бургомистра, преподнесла принцу цветы в белом атласном портбукете, а сама получила на память об этой незабываемой минуте хорошенькую недорогую вещицу из тех, что Клаус — Генрих брал с собой во время поездок, — булавку, лежащую в не по чину богатом бархатном футляре, а потом эта булавка фигурировала в «Курьере» как золотая, усыпанная драгоценными камнями брошь.

На лугу были сооружены палатки, киоски и павильоны. На стоящих длинными рядами мачтах, соединенных гирляндами, развевались пестрые флажки. Клаус-Генрих взошел на деревянную трибуну, декорированную

знаменами, и, стоя среди полотнищ, фестонов и двухцветных мачт с флагами, сказал короткую речь. Вслед за тем начался обход.

Тут рядами стоял привязанный к низким коновязям племенной породистый рогатый скот — пестрый, гладкий, откормленный, с нумерованными табличками на широких лбах. Тут били копытом землю и фыркали лошади, тяжеловозы с выгнутыми шеями и лохматыми бабками, а также породистые, нервные верховые кони. Тут были голые коротконогие свиньи, и местные, и породистые, на все вкусы; переваливаясь толстым брюхом и хрюкая, они рыли розовыми пяточками землю, а курчавые овцы громко блеяли, наполняя воздух нестройным хором низких и тоненьких детских голосов. Тут шумела птичья выставка, на которой были представлены всевозможные породы кур — от больших брамапутр до золотых карликовых курочек, — утки и голуби; различные корма и яйца в натуральном виде и в изделиях. Тут в отделе сельскохозяйственных продуктов были представлены все злаки, свекла и клевер, картофель, горох и лен. Тут были отборные овощи и фрукты, свежие и консервированные, ягоды, варенье и соки. И, наконец, тут была выставка сельскохозяйственных орудий и машин, экспонированных различными техническими фирмами, здесь было показано все, что нужно для обработки земли: от ручного плуга до огромных черных машин с трубами, павильон которых был похож на стойло слонов; от самых простых и вполне понятных предметов до таких, которые представляли собой путаницу колес, цепей, поршней, цилиндров, рычагов, зубцов — целый мир, целый мир таких умных и целесообразных предметов, что, глядя на них, становилось стыдно своего невежества.

Клаус-Генрих осмотрел все; продев руку в петлю сабли, ходил он вдоль рядов скота, клеток, мешков, чанов, банок и сельскохозяйственных орудий. Господин, шедший справа от него, указывал ему рукой в белой лайковой перчатке на отдельные экспонаты и позволял себе давать кое-какие объяснения, а Клаус-Генрих делал то, что предписывалось его положением. Он выражал свое удовольствие по поводу всего, что видел, он останавливался то тут, то там и беседовал с экспонентами, благосклонно осведомлялся, как они живут и задавал вопросы, на которые земледельцы отвечали, почесывая затылок. И на ходу раскланивался на обе стороны в ответ на приветствия жителей, выстроившихся вдоль его пути.

У выхода с выставочного поля, где ожидали экипажи, собралась толпа, чтобы посмотреть на его отъезд. Ему был оставлен проход, ведущий прямо к подножке его ландо, и он бодро следовал по нему, приложив руку к каске, и непрестанно кланялся, — следовал в полном одиночестве,

обособленный, отделенный от всех этих людей, которые приветствовали в нем свой идеал, свой подлинный образ, от людей, парадной эмблемой жизни, работы и усердия которых он являлся, хотя сам не принимал во всем этом никакого участия.

Легко и свободно ступил он на подножку ландо; с изяществом опустился на сидение и сразу принял приятную позу, столь безупречную, что в ней при всем желании ничего нельзя было бы исправить, и, раскланиваясь на обе стороны, поехал в клуб, где был сервирован завтрак. Начальник округа поднял — после второй смены — бокал за здоровье великого герцога и принца, вслед за тем Клаус-Генрих незамедлительно встал и выпил за благополучие округа и города. Однако по окончании банкета он удалился в покои, которые бургомистр отвел ему у себя в казенной квартире, и на часок прилег отдохнуть, ибо исполнение высоких обязанностей чрезвычайно его утомило, а ему предстояло еще в этот же день осмотреть в городе церковь, школу, различные заводы, главным образом сыроварню братьев Бенке, и высказать свое одобрение, а кроме того, продолжить поездку и побывать в пострадавшей от пожара деревне, чтобы выразить общине соболезнование от имени брата и от себя лично и поддержать дух погорельцев своим присутствием.

А по возвращении домой в Эрмитаж, в строгие ампирные апартаменты, он читал газетные отчеты о своих путешествиях. В Эрмитаж являлся тайный советник Шустерман из бюро печати при министерстве внутренних дел и приносил газетные вырезки, аккуратно наклеенные на листы белой бумаги, снабженные датой и названием газеты. И Клаус-Генрих читал о благотворном воздействии своей личности, о величии и приятности своего облика, читал, что он хорошо выполнил свое дело и завоевал сердца старых и малых, что он возвысил помыслы людей над повседневностью и увлек их к любви и радости.

А затем он давал общедоступные аудиенции в Старом замке, как это было договорено с братом.

Обычай общедоступных аудиенций был введен одним из предшественников Альбрехта II, радевшим о благе подданных, и укоренился в стране. Раз в неделю Альбрехт, а теперь замещавший его Клаус-Генрих был доступен любому подданному. Кто бы ни был проситель — знатный или простолюдин, какое бы ни было у него дело — общего или чисто личного порядка, ходатайство или жалоба, — достаточно было обратиться к господину фон Бюлю, а то и просто к дежурному адъютанту, и проситель получал возможность изложить свое дело в высшей инстанции. Прекрасный, человеколюбивый обычай. Проситель

избегал бумажной волокиты, мог не бояться, что его дело будет положено под сукно, у него была приятная уверенность, что он будет выслушан непосредственно в высшей инстанции. Само собой разумеется, высшая инстанция — в данный момент Клаус-Генрих — не имела возможности рассмотреть вопрос по существу, детально во всем разобраться и вынести решение, она все равно передавала дело в канцелярии, где его неизбежно клали под сукно. Но все же польза от аудиенций была большая, хотя, конечно, не грубо практическая. Проситель любого звания обращался к господину фон Бюлю с ходатайством об аудиенции, и ему назначались день и час. Он ожидал их в радостном волнении, подготавливал в уме слова, в которых изложит свою просьбу, отдавал в утюжку фрак и цилиндр, выбирал лучшую сорочку — словом, готовился во всех смыслах. Эти торжественные предварительные действия отвлекали мысли просителя от того, чего он добивался, от чисто практических результатов, и теперь уже ему представлялось, что главное — сам прием, что это подлинная цель, что именно его он ждет с таким вожделением. Желанный час наступал, и обыватель, вопреки своему обыкновению, нанимал пролетку, чтобы не запылить свои до глянца начищенные сапоги. Он проезжал через Альбрехтовские ворота, мимо львов, и часовые, так же как и рослый привратник, беспрепятственно пропускали его. Он сходил с пролетки во дворе замка у колоннады, перед обветшалым порталом, и лакей в коричневой ливрее и гамашах песочного цвета сейчас же впускал его в расположенную слева в нижнем этаже приемную, где в углу стояли знамена и где в благоговейном трепете, чуть дыша, уже ожидало приема несколько человек. Адъютант со списком допущенных к аудиенции входил и выходил, приглашая того, чья очередь подошла, к сторонке и там шепотом наставлял его, как полагается себя держать, а в смежной комнате, называемой «комнатой общедоступных аудиенций», у круглого столика на трех ножках стоял Клаус-Генрих при звездах, в мундире с шитым серебром воротником и принимал просителей. Майор фон Платов сообщал ему краткие сведения о каждом из них, приглашал очередного и возвращался в перерывы, чтобы в нескольких словах рассказать принцу, кто следующий. И проситель входил; красный и потный стоял он перед Клаусом-Генрихом. Ему настойчиво внушали, чтобы он не подходил слишком близко к его королевскому высочеству, а остановился в некотором отдалении, чтобы не начинал говорить сам, пока не будет спрошен, а будучи спрошен, отвечал коротко и не выкладывал все зараз, дабы принцу осталось о чем его спрашивать; чтобы по окончании аудиенции он удалился, пятясь и не погорачиваясь к принцу спиной. И внимание просителя было сосредоточено

только на одном: не погрешить против правил, а наоборот, всеми силами способствовать, чтобы разговор прошел хорошо, гладко, ладно. Клаус-Генрих задавал вопросы, как привык задавать их ветеранам, членам стрелковых и гимнастических обществ, крестьянам и погорельцам; он стоял, уперев левую руку в бок, так, чтобы ее не было видно, и улыбался; и проситель невольно тоже улыбался, и на душе у него было так, словно эта улыбка возносит его над его обычными житейскими огорчениями. Этот простой человек с самыми обыденными помыслами, пренебрегавший всем, кроме практической пользы, в повседневной жизни пренебрегающий даже элементарной вежливостью и сюда-то пришедший ради практического дела, — вдруг чувствовал, что есть что-то более высокое, чем его дело и чем дела вообще, он чувствовал, что очистился, вознесся духом и уходил с затуманенным взором, сохраняя улыбку на раскрасневшемся лице.

Так Клаус-Генрих давал общедоступные аудиенции и так осуществлял свое высокое назначение. Он жил в Эрмитаже, в своих ампирных апартаментах, обставленных строго и скудно, с холодным пренебрежением к комфорту и уюту. Выцветший шелк покрывал белые, обшитые деревянной панелью стены; на простых, ничем не украшенных потолках висели хрустальные люстры, вдоль стен стояли диваны строгих линий, большей частью без столов перед ними, и тонконогие этажерки с часами, по обе стороны двустворчатых белых дверей были поставлены попарно белые лакированные стулья с овальными спинками и тонкой шелковой обивкой, а по углам белые лакированные консоли с подсвечниками в форме ваз. В такой обстановке жил Клаус-Генрих, и такая обстановка удовлетворяла его.

Он жил внутренне спокойно, не проявляя ни воодушевления, ни нетерпимости в вопросах, вызывающих общественные дебаты. Он открывал от лица своего брата ландтаг, но был равнодушен к тому, что там делалось, и в межпартийных спорах избегал говорить «да» или «нет» — он был равнодушен, не согрет убеждениями, стоял выше всех партий. Каждый понимал, что положение требует от него сдержанности, но многих такая безучастность сковывала и отдаляла от него. Многие из тех, кто соприкасался с ним, считали его «холодным»; доктор Юбербейн, правда, не жалея красноречия, отрицал эту «холодность», но кто его знает, так ли уж безошибочно мог судить об этом такой пристрастный и малопрятный человек, как Юбербейн. Случалось, конечно, что Клаус-Генрих встречал взгляды людей, вообще не признававших его, дерзкие, насмешливые, удивленно — ненавидящие взгляды, в которых было написано презрение и пренебрежение к его самоотверженному труду, но порой он замечал, что и

доброжелательные, верноподданнически настроенные люди, всей душой готовые уважать и чтить его образ жизни, после недолгого общения с ним проявляют какую-то усталость, мало того — раздражение, словно они задыхаются, не могут долго оставаться в окружающей его атмосфере; Клаус-Генрих огорчился, но как предотвратить это, не знал.

Ему нечего было делать в повседневной жизни; удался ли ему поклон, милостивое слово, обаятельный и в то же время полный достоинства жест — вот что было важно, вот что имело решающее значение. Однажды он возвращался в шинели и фуражке с прогулки верхом, он медленно ехал на своем гнедом коне Флориане по березовой аллее, которая вела вдоль пустырей в парк и дворец Эрмитаж, а перед ним шагал бедно одетый молодой человек, на нем была мохнатая шапка, из-под которой нелепо торчали вихры, рукава и штаны были ему слишком коротки, косолапые ноги казались очень большими. Вероятно, это был ученик реального училища или кто-нибудь в этом роде, потому что под мышкой он нес чертежную доску с приколотым к ней чертежом, нанесенным красной и черной тушью, но Клаус-Генрих видел только путаницу рассчитанных линий. Он долго ехал сзади и рассматривал красный с черным чертеж на доске. Потом он иногда думал, как хорошо, если у тебя самая обыкновенная фамилия, скажем, если тебя зовут доктор Фишер и если ты занимаешься каким-нибудь серьезным делом.

Он представлял на придворных празднествах, на большом и малом бале, на парадном обеде, на концертах и большом приеме. Кроме того, осенью, следуя обычаю, он ездил на охоту вместе со своими рыжеголовыми кузенами и свитскими, хотя из-за левой руки ему было трудно стрелять. По вечерам его часто видели в придворном театре, в обитой красным плюшем великогерцогской ложе бенуара, где он сидел между двумя кариатидами со скрещенными руками и строгими, невыразительными лицами. Клаусу-Генриху нравился театр, его занимало смотреть на актеров, наблюдать, как они играют, выходят на сцену, уходят, как проводят свою роль. Обычно он находил, что играют они плохо, чтобы понравиться, прибегают к грубым, недостаточно умелым приемам, что они неестественны и ходульны. В общем, он отдавал предпочтение низкому жанру, простонародным сценам, а не высоким и торжественным. В столичном театре оперетты подвизалась на ролях субретки некая Мидци Мейер, которую газеты и публика называли не иначе, как «наша» Мейер, потому что ее боготворили все — и стар и млад. Она не была красива, ее даже нельзя было назвать хорошенькой, пела она визгливым голосом и, строго говоря, никакими особыми талантами не отличалась. Однако стоило

ей выйти на сцену, и ее встречали несмолкаемой бурей аплодисментов и оваций; дело в том, что эта коренастая, голубоглазая блондинка с широкими чуть выдающимися скулами, здоровая, веселая, а иногда и немножко сентиментальная, была плотью от плоти, костью от кости народа. Когда она стояла перед публикой на подмостках, в костюме, в гриме, освещенная со всех сторон, она действительно являла собой идеализированный образ народа, — да, аплодируя ей, народ рукоплескал себе самому, только на этом и зиждилась власть Мицци Мейер над сердцами.

Клаус-Генрих в сопровождении господина фон Браунбарт-Шеллендорфа охотно посещал оперетту, когда пела Мицци Мейер, и тоже от всей души ей аплодировал.

Как-то у него была встреча, с одной стороны, давшая ему повод для размышления, а с другой — несколько его разочаровавшая. Встреча с господином Мартини, Акселем Мартини, тем самым, что выпустил два тома стихов: «Эвоэ!» и «Святая жизнь», весьма тепло принятых специалистами. Встреча произошла при следующих обстоятельствах.

В столице жил некий богатый старик, старший советник губернского правления по чину, который, оставив государственную службу и уйдя на покой, посвятил свою жизнь искусству, главным образом поэзии. Он был инициатором мероприятия, известного под названием «Майского турнира» — ежегодного весеннего поэтического конкурса, к участию в котором советник приглашал отечественных поэтов и поэтесс в циркулярных посланиях и публичных объявлениях. За самую сладостную любовную лирику, самое прочувствованное религиозное стихотворение, самую пламенную патриотическую песнь, за лучшие стихотворные произведения, воспевающие музыку, лес, весну, радость жизни, выдавались премии, в которые, кроме денежных сумм, входил еще и какой-нибудь символический дорогой подарок: золотое перо, золотой значок в форме лиры или цветка и другие вещицы в том же роде. Городской магистрат тоже учредил премию, а великий герцог пожертвовал серебряный кубок в награду за неоспоримо лучшее из всех представленных на конкурс стихотворений. В состав жюри наряду с самим учредителем «Майского турнира», первым просматривавшим огромное количество поступающего материала, входили два профессора университета и заведующие литературным отделом в «Курьере» и в «Народной газете». Произведения, удостоенные премии или похвального листа, регулярно печатались и издавались в виде ежегодника изданием старшего советника.

В этом году в «Майском турнире» принял участие Аксель Мартини и

вышел из состязания победителем. Представленное им стихотворение — вдохновенная песнь, восхваляющая радость жизни, вернее сама радость жизни, бурно рвущаяся наружу, пламенный гимн красоте и беспощадности жизни, — было выдержано в стиле его обеих книг и вызвало споры в жюри. Старший советник и профессор филологии хотели отделаться похвальным отзывом. Они находили стихотворение необузданным по экспрессии, страстность его грубой, а местами откровенно неприличной. Но профессор истории литературы вкупе с редакторами обеих газет переубедил их, оба противника признали произведение Мартини не только безусловно лучшим из стихотворений, воспевающих радость жизни, но и вообще лучшим из всех представленных на конкурс*. В конце концов они сами не смогли устоять против воздействия этого кипучего, ошеломляющего потока слов.

Итак, Аксель Мартини получил триста марок, золотой значок в форме лиры, да сверх того еще серебряный кубок великого герцога, а его стихотворение было напечатано в «Ежегоднике» на первой странице и снабжено виньеткой, принадлежащей искусному карандашу профессора фон Линдемана. Кроме того, согласно установившемуся обычаю великий герцог назначал аудиенцию победителю или победительнице на «Майском турнире», а так как Альбрехт как раз чувствовал себя нехорошо, то и этот прием пришлось провести его брату.

Клаус-Генрих слегка робел перед господином Мартини.

— Господи боже мой, доктор Юбербейн, что я буду с ним делать, — сказал он, встретившись со своим учителем. — Уж конечно, это необузданный, дерзкий человек.

Но доктор Юбербейн возразил:

— Да что вы, Клаус-Генрих, не беспокойтесь, это вполне благонравный человечек, я его знаю, я изредка бываю в тех же кругах. Вы отлично с ним справитесь.

Итак, Клаус-Генрих принял певца радости жизни, он принял его в Эрмитаже для того, чтобы аудиенция носила менее официальный характер. «В желтой гостиной, дорогой Браунбарт. Для таких случаев она самая презентабельная», — сказал он. В этой комнате стояло три прекрасных кресла, вероятно, единственно ценные вещи из всей дворцовой мебели, — массивные ампирные кресла красного дерева с резными завитками на подлокотниках и тканой обивкой, желтой с голубовато-зелеными лирами. На этот раз Клаус-Генрих не стоял в традиционной позе, готовый к приему, он ждал, немного волнуясь, в соседней комнате, чтобы Аксель Мартини в свою очередь прождал его в желтой гостиной семь-восемь минут. Затем он

быстро вошел, почти вбежал и направился к поэту, который отвесил ему низкий поклон.

— Я очень рад познакомиться с вами, — сказал он, — дорогой господин... господин доктор, не так ли?

— Нет, ваше королевское высочество, я не доктор. У меня нет диплома, — ответил Аксель Мартини хриплым голосом.

— Прощу прощения... я предполагал... Пожалуйста, садитесь, дорогой господин Мартини. Я, как уже говорил, очень рад возможности поздравить вас с большим успехом...

Углы рта господина Мартини судорожно опустились. Он сел на краешек кресла красного дерева у непокрытого скатертью стола, доска которого была обрамлена золотым ободком, и скрестил ноги в потрескавшихся лакированных ботинках. Он был во фраке и пожелтевших лайковых перчатках. Воротничок сорочки обтрепался на уголках. У него были слегка выпученные глаза, впалые щеки и темно-русые усы, торчащие как щетина. Волосы на висках уже сильно поседели, хотя, судя по «Ежегоднику Майского турнира», он насчитывал не больше тридцати лет, а красные пятна на скулах свидетельствовали о неважном состоянии здоровья. На поздравление Клауса-Генриха он ответил:

— Вы, ваше королевское высочество, слишком добры. Победа эта не трудная. Пожалуй, с моей стороны было бестактным участвовать в конкурсе.

Клаус-Генрих не понял, но сказал:

— Я с большим удовольствием несколько раз перечел ваше стихотворение. Мне кажется, оно очень удачно, и в отношении размера, и в отношении рифмы. А кроме того, в нем прекрасно выражена радость жизни.

Господин Мартини, не вставая, поклонился.

— Вероятно, ваше искусство доставляет вам большое наслаждение, оно для вас лучший отдых... — продолжал Клаус-Генрих. — Чем вы вообще занимаетесь?

Господин Мартини изобразил из себя вопросительный знак, всем своим видом показывая, что не понял вопроса.

— Я подразумевал ваше основное занятие. Вы на государственной службе?

— Нет, ваше королевское высочество. У меня нет основного занятия. Я занимаюсь исключительно поэзией...

— Нет основного занятия... Да, да, понимаю. Такому незаурядному дарованию надо отдавать все силы.

— В этом я не уверен. Должен откровенно признаться, что у меня другого выбора не было. Я смолodu чувствовал себя абсолютно непригодным ко всякой иной деятельности. Мне кажется, именно такая несомненная и безусловная непригодность ко всему другому и есть признак и верный показатель поэтического призвания. Больше того: мне кажется, что занятие поэзией следует рассматривать не как призвание, а как доказательство вышеупомянутой непригодности, как единственно возможное прибежище.

Господин Мартини отличался одной особенностью — когда он говорил, на глаза ему набегали слезы, словно он попал с холода в теплую комнату* оттаял и с него закапало.

— Оригинальный взгляд, — сказал Клаус-Генрих.

— Да нет же, ваше королевское высочество. Прошу прощения. Нет, совсем не оригинальный. Этот взгляд разделяют многие. Я не сказал ничего нового.

— Ас каких пор вы живете исключительно для поэзии, господин Мартини? Вероятно, вы получили образование?

— Незаконченное, ваше королевское высочество. Непригодность, о которой я уже говорил, проявилась у меня очень рано. Я не доучился. Я ушел из школы до выпускных экзаменов. В университет я поступил, обещав сдать экзамены задним числом. Но обещание так и осталось обещанием. А потом, когда мой первый сборник стихов снискал одобрение публики, осмелюсь сказать, что мне как будто уже и не пристало держать экзамен.

— Конечно, конечно... Но ваши родители одобрили выбранную вами карьеру?

— Что вы, ваше королевское высочество. К чести моих родителей должен сказать, что они совсем ее не одобрили. Я из хорошей семьи; отец был прокурором. Он до самой смерти не мог примириться с выбранной мною карьерой и отказал мне во всякой поддержке. Мы были в ссоре, хотя я и очень уважаю его за такую строгость.

— Да, значит вам жилось очень трудно, господин Мартини, вам пришлось самому пробиваться. Думаю, что вы прошли огонь и воду и медные трубы..

— Нет, ваше королевское высочество. Нет, если бы мне пришлось так круто, я бы не вынес. Я сла «бого здоровья — сказать «к сожалению» я не решаюсь, я ведь убежден, что у меня талант тесно связан с физической слабостью. Голод и холод окончательно сломили бы и мой организм, и мой талант. Но по слабости характера мать давала мне за спиной отца средства

к существованию, правда, скромные, но мне хватало. Только благодаря ей мой талант мог развернуться в сравнительно неплохих условиях.

— Результаты показали, дорогой господин Мартини, что условия были как раз подходящие... Хотя и трудно сказать, какие условия можно считать действительно благоприятными. Допустим, что ваша матушка была бы столь же строга, как и ваш отец, и вы остались бы на свете совсем один, без всякой поддержки, только со своим талантом... Вы не думаете, что в некотором отношении это пошло бы вам на пользу? Что вы могли бы, так сказать, приобрести житейский опыт, а вы упустили эту возможность?

— Ах, ваше королевское высочество, такие, как я, и без того приобретают житейский опыт, даже если и не голодают по-настоящему. Ведь это почти общий взгляд, что талант обусловлен... хе... хе... хе... не столько настоящим голодом, сколько голодом по настоящей жизни.

Господин Мартини усмехнулся своей игре слов. Затем он быстро поднес руку в желтоватой перчатке ко рту с щетинистыми усами и исправил свой смех, подменив его покашливанием. Клаус-Генрих смотрел на поэта приветливо и выжидающе.

— Разрешите сказать, ваше королевское высочество... широко распространен взгляд, что для нашего брата уход от жизни — питательная среда, на которой произрастает талант, источник вдохновения, мало того: это наша муза. Жить полной жизнью нам строго-настрога заказано, мы на этот счет не заблуждаемся, и под этим разумеют не только счастье, но и заботы и страдания, — словом, всякое серьезное соприкосновение с жизнью. Изображение жизни требует всех наших сил, особенно если этих сил отпущено не слишком много. — И господин Мартини закашлялся, сутулясь и втягивая грудь. — Наш союз с музой зиждется на отречении, в этом наша сила, наше достоинство, а жизнь для нас — запретный сад, великий соблазн, которому мы иногда поддаемся, но всегда не во благо себе.

Пока господин Мартини говорил, глаза его опять наполнились слезами. Он постарался сморгнуть их.

— Каждому из нас свойственны заблуждения, отклонения от прямого пути, соблазнительные экскурсии в пиршественные чертоги жизни. Но мы возвращаемся оттуда в свое уединение пристыженные, с тяжестью на сердце.

Господин Мартини замолчал. Подняв брови, он на мгновение тупо уставился в пространство, углы рта скорбно опустились, и теперь его впалые щеки, на которых пылал нездоровый румянец, казались еще худее. Это продолжалось всего один миг; он переменил позу и перевел взгляд.

— Но как же ваше стихотворение, воспевающее радость жизни, господин Мартини!.. — не без настойчивости допытывался Клаус-Генрих. — Я искренне вам благодарен за ваше произведение. Но скажите... ваше стихотворение — я внимательно прочитал его. Насколько я помню, в нем говорится о страданиях и ужасах, о вероломстве и жестокости жизни, и в то же время о наслаждении, которое дают красивые женщины и вино, не правда ли?

Господин Мартини улыбнулся и сейчас же потер большим и средним пальцами уголки рта, чтоб прогнать улыбку.

— Все это напечатано в виде монолога, от первого лица, не правда ли? — сказал Клаус-Генрих. — И тем не менее это написано не на основе собственного опыта? Вы ничего такого сами в действительности не пережили?

— Если и пережил, то очень немного, ваше королевское высочество. Разве только слабые намеки* Как раз наоборот, если бы я мог все это пережить, я бы не только не писал таких стихов, я бы до глубины души презирал себя за мое теперешнее существование. У меня есть друг, фамилия его Вебер, состоятельный молодой человек, пользующийся жизнью. Его любимое развлечение гонять на своем автомобиле с безумной скоростью по деревням и выбирать на улицах и полях девок, с которыми он дорогой... Но это к делу не относится. Словом, этого молодого человека, как только он завидит меня, разбирает смех, такими комичными кажемся ему я и моя поэзия. А вот я отлично понимаю его веселость и завидую ему. Я должен сказать, что в то же время немного презираю его, но не так искренне, как завидую ему и восхищаюсь...

— Вы восхищаетесь им?

— Разумеется, ваше королевское высочество. Я просто не могу не восхищаться. Он дает, расточает, он все время самым беззаботным и великодушным образом расходует себя, прожигает жизнь. А мой удел — экономить, робко и скупко копить, и главным образом из соображений здоровья. Ведь мне, да и вообще нашему брату, прежде всего не хватает здоровья — отсюда вся наша нравственность. А жизнь — это самая что ни на есть нездоровая штука...

— Так, значит, вы никогда не осушите до дна кубок великого герцога?

— Чтобы я пил из него вино? Нет, ваше королевское высочество. Хотя это и было бы очень красивым жестом. Но я не пью вина. Да, кроме того, я уже в десять часов ложусь спать и веду во всех смыслах очень умеренный образ жизни. Иначе я ни в коем случае не получил бы кубка.

— Вероятно, это так, господин Мартини. Издали, вероятно,

неправильно представляешь себе жизнь поэта.

— Вполне понятно, ваше королевское высочество. Но, в общем, могу вас уверить, жизнь эта не очень-то роскошная. Тем более что не каждую минуту бываешь поэтом. Поверить трудно, сколько надо безделья и скуки и изводящей праздности, чтобы время от времени вышло такое вот стихотворение. Иногда за весь день только и напишешь, что открытку табачному торговцу. Много спишь, много шатаешься без всякого дела, в голове туман. Да, часто это совсем собачья жизнь...

Кто-то тихонько постучал в белую лакированную дверь. Это Нейман сигнализировал, что Клаусу-Генриху лора переодеваться и отдохнуть, вечером в Старом замке был раут-концерт.

Клаус-Генрих встал.

— Однако я заболтался, — сказал он.

В подобных случаях он всегда прибегал к этой фразе. Затем он отпустил господина Мартини, пожелал ему успеха на поэтическом поприще и проводил почтительно пятящегося поэта улыбкой и тем несколько театральным, милостивым жестом руки сверху вниз, который не всегда выходил одинаково удачно, но в котором он все же достиг высокого совершенства.

Вот какой разговор произошел у Клауса-Генриха с Акселем Мартини, автором «Эвоз!» и «Святой жизни». Этот разговор навел его на размышления, которые не прекратились и по окончании аудиенции, Клаус-Генрих раздумывал над этим разговором и пока Нейман причесывал и облачал его в блестящий парадный мундир со звездами, и пока длился придворный раут-концерт, и даже несколько дней спустя, и старался связать слова поэта с прочим опытом, подаренным ему жизнью.

Этот самый господин Мартини, который, невзирая на нездоровый румянец на впалых щеках, непрерывно восклицал: «Как прекрасна жизнь, как могуча она!» — и все же благоразумно ложился спать в десять часов, из соображений здоровья отгораживался от жизни, избегая всякого серьезного соприкосновения с ней, этот самый поэт с обтрепанным воротничком и слезящимися глазами, завидующий ветрогону Веберу, который раскатывал на своей машине в обществе деревенских девок, — этот поэт возбуждал в нем двойственное ощущение, трудно было составить себе о нем твердое мнение. При встрече с сестрой Клаус-Генрих выразил свое чувство в следующих словах: «Живется ему неуютно и нелегко, это сразу видно, и это должно располагать в его пользу. Но я все же не знаю, доволен ли я, что познакомился с ним; в нем есть что-то отпугивающее; знаешь, Дитлинда, несмотря ни на что, он мне определенно внушает

отвращение».

Сведения фрейлейн фон Изеншниббе вполне подтвердились. Вечером того самого дня, когда она принесла княгине цу Рид свою сногшибательную новость, в «Курьере» появилось сообщение о предстоящем в ближайшем будущем прибытии Самуэля Шпельмана, знаменитого на весь мир Шпельмана, а недели через полторы, в начале октября (это был октябрь того года, когда великому герцогу Альбрехту пошел тридцать второй, а принцу Клаусу-Генриху двадцать шестой год) — то есть в самый разгар всеобщего любопытства, — знаменательное событие стало реальным фактом; свершилось оно в пасмурный, осенний день, в самый прозаический, ничем не примечательный день, которому, однако, предстояло в дальнейшем стать достопамятной датой.

Шпельманы прибыли экстренным поездом — пока что помпа их появления ограничилась только этим, ибо всем было известно, что «княжеские покои» гостиницы «Целебные воды» совсем не поражают ослепительной роскошью. У выхода на перрон собралась толпа зевак, порядок поддерживался небольшим нарядом жандармов; представители прессы были налицо. Но тем, кто ждал чего-либо необычного, пришлось разочароваться. Шпельмана даже не сразу признали, ничего потрясающего в нем не было. Сперва за Шпельмана приняли его домашнего врача, доктора Ватерклуза, — такая, говорили, у него фамилия, — долговязого американца в сдвинутой на затылок шляпе, с седыми бачками, который непрестанно растягивал рот в кроткой улыбке, закрывая при этом глаза. Только в последнюю минуту стало известно, что подлинный Шпельман — не он, а другой, тот низенький, бритый, в выгоревшем пальто, который, наоборот, надвинул шляпу по самые брови, и все присутствующие сошлись на одном: в нем нет ничего особенного. О Шпельмане ходили самые невероятные рассказы. Какой-то шутник пустил слух, и кое-кто ему поверил, будто у Шпельмана передние зубы все сплошь золотые и в каждый из этих золотых зубов

179 вставлен бриллиант. И хотя, правильно или неправильно это утверждение, выяснить не удалось, ибо Шпельман своих зубов не демонстрировал, — он не смеялся, а, наоборот, казался сердитым, раздраженным и больным, — все же никто уже не сомневался, что это ложь. Что же касается его дочери, мисс Шпельман, то она засунула руки в карманы и подняла воротник своего мехового жакета, так что ее лица

вообще почти не было видно, если не считать необыкновенно больших темно-карих глаз, которые серьезно глядели на толпу и говорили красноречивым, но не общепонятным языком. Рядом с ней шла особа, в которой сразу признали ее компаньонку, графиню Левенюль, — это была тридцатипятилетняя скромно одетая женщина, значительно более высокого роста, чем отец и дочь Шпельманы, она задумчиво склонила набок свою маленькую голову с гладко причесанными жидкими волосами и с какой-то тупой кротостью смотрела себе под ноги. Наибольшую сенсацию, несомненно, произвела шотландская овчарка, которую держал на поводке слуга с рабски покорным выражением лица, — необыкновенно красивая, но, по — видимому, ужасно нервная собака, она дрожала всем телом, приплясывала и оглашала вокзал возбужденным лаем.

В толпе говорили, что прислуга Шпельманов, мужская и женская, приехала в «Целебные воды» уже раньше. Во всяком случае, забота о багаже была всецело возложена на слугу с собакой; и пока он хлопотал, господа сели в две самые обыкновенные извозчицьи пролетки — господин Шпельман с доктором Ватерклузом, мисс Шпельман со своей графиней — и поехали в курортный парк. Там они вышли и там прожили полтора месяца, как можно было бы прожить и не располагая их средствами.

Им повезло: погода была хорошая, осень выдалась ясная, солнечные дни, стоявшие в октябре, стояли и в ноябре, и мисс Шпельман со своей статс — дамой ежедневно каталась верхом — это была единственная роскошь ее здешнего пребывания — на лошадях, кстати сказать, взятых понеделньо напрокат в манеже. Господин Шпельман верхом не катался, хотя «Курьер» поместил, явно имея в виду господина Шпельмана, заметку своего сотрудника, освещающего вопросы медицины; согласно этой заметке верховая езда оказывает хорошее действие на больных почками, ибо тряска способствует выходу камней. Но через служащих гостиницы стало известно, что знаменитый гость занимается у себя в четырех стенах искусственной верховой ездой на механической лошади — укрепленном велосипеде, седло которого при нажатии педалей трясется.

Господин Шпельман усердно пил лечебную минеральную воду из Дитлиндинского источника, на которую он, по-видимому, возлагал большие надежды... Ежедневно он приходил рано утром в бювет в сопровождении дочери, которая, впрочем, была совершенно здорова и пила воду только за компанию, а затем, надвинув шляпу на лоб, медленно прогуливался в своем выгоревшем пальтишке по парку и галерее, потягивая воду через стеклянную трубочку из голубоватой стеклянной кружки, — а стоя в некотором отдалении, за ним наблюдали два

американских репортера, которых их газеты обязали ежедневно телеграфировать тысячу слов о пребывании Шпельмана на отдыхе, посему-то они и охотились за материалом.

Вообще же Шпельман мало бывал на людях, вероятно из-за болезни, — как говорили, чрезвычайно мучительных приступов почечных колик, — он почти не выходил из номера, а то и не вставал с постели, и в то время как мисс Шпельман с графиней Левенюль два-три раза посетила придворный театр (где мисс Шпельман была в черном бархатном платье и в чудесной золотисто-желтой индийской шелковой шали, накинутой на детские плечики, что при ее жемчужно-матовом нежном личике и больших черных красноречиво говорящих глазах произвело пленительное впечатление), отца ее ни разу не видели с ней в ложе. Правда, он несколько раз прошелся в ее обществе по улицам столицы, купил разные мелочи, осмотрел город, посетил местные достопримечательности; он гулял с ней также и по городскому саду и два раза осматривал дворец Дельфиненорт — во второй раз один, причем он настолько им заинтересовался, что вытащил из кармана своего выгоревшего пальто самый обыкновенный желтый метр и стал измерять стены... Он не появлялся даже за табльдотом, то ли потому, что был посажен на строгую диету, почти без мяса, то ли по каким другим причинам, но он и его домашние кушали у себя в номере, и любопытство публики удовлетворялось весьма скудно.

Поэтому-то и вышло так, что приезд Шпельманов вначале не принес курорту той выгоды, какую ожидала фрейлейн фон Изеншниббе, а с ней и многие другие. Спрос на бутылки с минеральной водой, правда, повысился, это несомненно; он очень быстро вырос почти в полтора раза против прежнего и долго держался на этом уровне. А вот число приезжих нельзя сказать, чтобы заметно увеличилось; те, что приехали, дабы насладиться созерцанием этой из ряда вон выходящей личности, вскоре уехали обратно, удовлетворенные или разочарованные, да к тому же его присутствие привлекло далеко не самые желательные элементы. На улицах замелькали странные личности — лохматые головы, блуждающие взгляды — изобретатели, прожектеры, маньяки, мечтающие осчастливить человечество, люди, надеявшиеся заинтересовать своими бреднями Шпельмана. Но миллиардер ни в коей мере не поощрял их, и, когда в городском саду один из этих чудаков попытался с ним заговорить, Шпельман побагровел от гнева и так на него рывкнул, что тот не знал, как унести ноги; уверяли также, что поток писем с просьбами о помощи, ежедневно стекавшихся к нему, — писем, на которых часто были наклеены такие марки, каких почтовые чиновники великого герцогства и

в глаза не видывали, — попадал прямым трактом в чрезвычайно объемистую корзину для бумаг.

Надо полагать, что Шпельман запретил докучать себе какими бы то ни было делами, решил основательно использовать отдых и посвятить поездку по Европе исключительно своему здоровью — или своей болезни. «Курьеру репортеры которого поспешили свести знакомство со своими американскими коллегами, сообщил, что за морем господина Шпельмана замещает так называемый chief manager, главный управляющий. Далее сообщалось, что яхта Шпельманов, роскошно оборудованное судно, ожидает могущественного мужа в Венеции и что, окончив курс лечения, он намерен отправиться со своими домочадцами на юг. Идя навстречу-настоящему желанию читателей, «Курьер» сообщал также о поистине чудесном происхождении шпельмановского богатства, начало которому было положено в штате Виктория, куда отец Шпельмана, до того корпевший в какой-то немецкой конторе, приехал еще совсем молодым и бедным, не имея ничего за душой, кроме кирки, лопаты и оловянной тарелки. Там он начал работать поденщиком, подручным у золотоискателя, трудясь в поте лица своего. Потом привалило счастье. Некому человеку, владельцу крошечного прииска, так не повезло, что он не мог даже купить кусок хлеба и помидоров себе на обед, и, теснимый нуждой, он решил продать свой прииск. Шпельман-старший приобрел его. Он рискнул всем скопленным капиталом, составлявшим пять фунтов стерлингов, и приобрел «Райское поле», участок с наносной почвой, клочок земли, величиной в сорок квадратных футов. А на следующий день он извлек на поверхность из-под слоя в полторы ладони толщиной слиток чистого золота, десятый по своим размерам слиток в мире, «Paradise Nugget»,^[10] в девятьсот восемьдесят унций весом и в пять тысяч фунтов стоимостью.

Вот с чего, сообщал «Курьер», началось. Реализовав свою находку, отец Шпельмана перебрался в Южную Америку, в страну Боливию и в качестве золотоискателя, владельца амальгамовой мельницы и горнозаводчика продолжал там извлекать желтый металл непосредственно из рек и недр земли. Именно тогда и именно там Шпельман-старший и женился — и «Курьер» не преминул упомянуть, что сделал он это наперекор всему и не считаясь с местными предрассудками. Но таким образом он удвоил нажитой капитал и пустил его в оборот. Он переселился на Север в город Филадельфию штата Пенсильвания. Случилось это в пятидесятые годы, в пору небывалого оживления железнодорожного строительства, и Шпельман вложил капитал в акции Балтиморской и Огайской железных дорог. Кроме того, ему принадлежали на западе штата

каменноугольные копи, приносившие значительный доход. А самое главное, он оказался в числе тех благословенных богом счастливицков, которые за несколько тысяч фунтов приобрели знаменитую Blockheadfarm — небольшое имение, цена которого благодаря открывшимся там нефтяным источникам вскоре возросла во много сотен раз... Теперь Шпельман-старший был богачом, но он и не помышлял уйти на покой, наоборот — он продолжал совершенствоваться в искусстве с помощью денег добывать все больше и больше денег, пока наконец не стал добывать непомерно много. Он строил сталелитейные заводы, учреждал акционерные общества, которые занимались массовым превращением железа в сталь и строительством железнодорожных мостов. Он был держателем большей части акций четырех или пяти солидных железнодорожных компаний и в пожилом возрасте сделался президентом, вице-президентом, уполномоченным или директором этих обществ. Когда был основан стальной трест, сообщал далее «Курьер», он вступил в члены этого объединения с таким пакетом акций, который сам по себе уже обеспечивал ему ежегодный доход в двенадцать миллионов долларов. Но Шпельман был также главным пайщиком и членом наблюдательного совета нефтяного концерна и благодаря своей доле акций заправлял делами трех или четырех других объединений. Он оставил после себя капитал, который при переводе на нашу валюту составляет миллиард.

Самуэль, его единственный сын, рожденный от того своевременно и наперекор местным предрассудкам заключенного брака, был его единственным наследником, — и «Курьер» со свойственной ему чуткостью, пустился в рассуждения о том, как грустно становится при мысли, что человек не по своей воле и не по своей вине оказывается в таком положении. Самуэль унаследовал от отца дворец в Нью-Йорке на Пятом авеню, загородные виллы и все акции, ценные бумаги и дивиденды; он унаследовал также обособленное положение и мировую известность своего отца, а заодно и ненависть обездоленных против власти денег, всю ту ненависть, для умиротворения которой Шпельман ежегодно жертвовал крупные суммы учебным заведениям, консерваториям, библиотекам, благотворительным учреждениям и тому университету, который был основан его отцом и назван в его честь.

Самуэль Шпельман безвинно терпел ненависть обездоленных, за это «Курьер» ручался. Он рано был приобщен к делам, уже в последние годы жизни отца один распоряжался головокружительно огромным капиталом фирмы. Но хорошо известно, что торговые сделки никогда не захватывали его целиком. Его подлинной страстью всегда была музыка, главным

образом орган, — и это сообщение «Курьера» нетрудно проверить, ибо и тут в номере мистера Шпельмана есть фисгармония, мехи которой приводит в движение дворник гостиницы, и каждый день в курортном парке слышно, как мистер Шпельман музицирует в течение часа.

Он женился, сообщал «Курьер», по любви, не по расчету, на бедной и красивой девушке наполовину немецкого, наполовину англосаксонского происхождения. Она умерла, но после нее осталась дочка, и сейчас эта девятнадцатилетняя девушка, чудесный плод смешанного брака, также гостит на нашем курорте. Зовут ее Имма — это, как сообщил «Курьер», исконно германское имя, просто более старая форма дл"я «Эммы», и обиходным языком в доме Шпельманов по-прежнему остается немецкий, хотя время от времени Шпельманы и вставляют в свою речь английские словечки. А как привязаны друг к другу отец и дочь! Если прийти рано утром в парк, то можно быть свидетелем того, что фрейлейн Шпельман, обыкновенно несколько позже отца появляющаяся в бювете, здороваясь с ним, нежно сжимает ладонями его голову и целует его в губы и в обе щеки, а он тем временем ласково похлопывает ее по спине. А затем они под руку прохаживаются по галерее и потягивают воду через стеклянные трубочки.

Вот что рассказывала хорошо осведомленная газета, давая пищу общественному любопытству. Она также весьма обстоятельно описывала любезные посещения мисс Иммой, сопровождаемой компаньонкой, различных городских благотворительных учреждений. Вчера она внимательно осмотрела общественную столовую. Сегодня не спеша обошла женскую богадельню «Во имя святого духа». Кроме того, она два раза присутствовала в университете на лекциях по теоретической математике тайного советника Клингхаммера, сидела вместе с прочими студентами на деревянной скамье и прилежно писала своим вечным пером, ибо известно, что она девушка образованная и занимается алгеброй. Да, такие сведения читались с захватывающим интересом и давали богатую пищу для разговоров. А вот о ком говорили без всякого поощрения со стороны «Курьера», так это, во-первых, о собаке, о породистом черном с белыми подпалпными колли, привезенном Шпельманом, и, во-вторых, правда, на иной лад, о компаньонке — графине Левенюль.

Собака, которую звали Персеваль, — так на английский манер произносилась эта кличка, — или попросту Перси, была такая возбудимая, такая нервная, что и сказать нельзя. В гостинице Перси лежал в благородной позе на коврике перед шпельмановскими покоями и вел себя безупречно. Но на прогулках на него нападали приступы неистовства, возбуждавшие страх, а иной раз и нарушавшие уличное движение. С

взмыленной мордой, яростно лая, носился он, как шальной, по улицам, скакал словно угорелый перед самым трамваем, налетал на извозчицких лошадей, два раза опрокинул лоток с пирогами стоявшей у ратуши вдовы Класен, да так, что сладкие пирожки докатились до середины рыночной площади, — а на почтительном расстоянии за ним следовала, злобно таякая, свора местных собак, простых дворняжек, взбудораженных его поведением, но Перси не обращал на них ни малейшего внимания. Каждый раз, как случалась какая-либо катастрофа, господин Шиельман или его дочь тут же платили за ущерб, и значительно больше, чем полагалось; кроме того, скоро выяснилось, что неистовство Персеваля, в сущности, не опасно, что он не кусается, не бросается на людей, а, наоборот, презирует их и просто дурит, поэтому он очень скоро завоевал симпатии населения, особенно радовались его выходкам дети.

Графиня Левенюль своим поведением, правда, не столь шумным, но не менее странным, тоже давала повод для толков. Вначале, пока и она сама и занимаемое ею положение не были еще известны в городе, мальчишки преследовали ее насмешками, когда она, идя одна по улице, с кротким и глубокомысленным видом разговаривала сама с собой, сопровождая свои монологи оживленными жестами и мимикой, впрочем не лишенными приятности и изящества. Но она с такой лаской и добротой поглядела на озорников, которые бежали за ней и дергали ее за платье, с такой любовью и достоинством поговорила с ними, что преследователи в смущении отстали, а позднее, когда стало известно, кто она, к ней не приставали из уважения к знаменитым приезжим, с которыми она была связана. Но потихоньку о ней рассказывали непонятные истории. Один человек утверждал, что графиня собственноручно дала ему золотой, велев отхлестать по щекам какую-то старуху, которая будто бы сделала ей гнусные предложения* Он взял золотой, но данного ему поручения не выполнил. Другие божились, что Левенюльша заговорила с солдатом, стоявшим на часах перед казармой гвардейских стрелков, и приказала сию же минуту, арестовать за безнравственное поведение жену фельдфебеля такой-то роты. А командиру того же полка отправила письмо, в котором сообщала, что в казарме творится всякое непотребство. Бог знает в чем тут было дело. Некоторые пришли к тому выводу, что у графини не все дома. Но докопаться до сути не успели, так как полтора месяца незаметно промелькнули, и миллионер Самуэль Н. Шпельман отбыл из великого герцогства.

Он отбыл, предварительно заказав свой портрет профессору фон Линдеману, и, подарив этот дорогостоящий шедевр на память хозяину

гостиницы «Целебные воды», отбыл вместе с дочерью, графиней Левенюль и доктором Ватерклузом, с Персевалем, комнатным велосипедом и прислугой, отбыл экстренным поездом на юг, чтобы провести зиму на Ривьере, куда заранее поспешили оба нью-йоркских корреспондента, а затем вернуться домой за океан. Все кончилось. «Курьер» послал вдогонку господину Шпельману сердечное прости и выразил пожелание, чтобы лечение пошло ему на пользу. Итак, можно было считать, что это чрезвычайное событие закончено и исчерпано. Новый день вступил в свои права. Господина Шпельмана начали забывать.

Зима подходила к концу. В эту зиму ее великогерцогское высочество, княгиня цу Рид-Гогенрид, разрешилась от бремени дочкой. Наступила весна, и его королевское высочество великий герцог Альбрехт отбыл, по своему обыкновению, в Голлербрунн. И вдруг и в печати и среди публики промелькнул слух, который людьми благоразумными был встречен сперва с недоверчивой усмешкой, но затем слух этот оформился, окреп, оброс всевозможными подробностями и занял доминирующее место в повседневных разговорах.

— В чем дело? — Один из великогерцогских замков будет продан. — Что за ерунда! Какой же замок? — Дельфиненорт. Замок Дельфиненорт в северной части городского сада. — Глупая болтовня. Будет продан? Кому? — Шпельману. — Смешно. Зачем он Шпельману? Не собирается же он отремонтировать замок и поселиться там? — Очень просто. Но, возможно, наш ландтаг будет возражать. — А какое до этого дело ландтагу? Разве государство обязалось содержать в порядке Дельфиненорт? Будь это так, надо думать, прекрасное здание не было бы так запущено. Значит, ландтаг возражать не может. Переговоры, вероятно, уже сильно продвинулись? — Конечно. Они уже закончены. — Да ну? В таком случае, наверно, можно уже назвать точную цифру? — Еще бы! Два миллиона и ни пфеннига меньше. — Не может быть! Имение принадлежит правящей династии! — Ну что ж что династии? Ведь это не Гримбург! И не Старый замок! Это загородный дворец, спокон веков никому не нужный, загородный дворец, из-за недостатка средств пришедший в полный упадок. — Шпельман, значит, собирается каждый год приезжать к нам и проводить месяц-другой в Дельфиненорте? — Нет. Он собирается совсем переселиться сюда. Он устал от Америки, хочет с ней распрощаться, и его первый приезд к нам был не что иное, как рекогносцировка. Он болен, хочет уйти от дел. В душе он всегда оставался немцем. Отец эмигрировал, а сын хочет вернуться на родину. Он хочет жить размеренной жизнью, пользоваться духовными благами нашей

столицы и провести остаток своих дней в непосредственной близости от Дитлиндинского источника!

Удивление, шум, бесконечные споры. Однако после кратковременного колебания общественное мнение, если не считать голосов нескольких вечно недовольных ворчунов, приветствовало проект продажи замка, и если бы не общее одобрение, проект этот, разумеется, не осуществился бы. Министр двора фон Кнобельсдорф первый пустил в газеты осторожную заметку о шпельмановском предложении. Он выжидал, тянул, пока определится воля народа. И после первого замешательства выяснилось, что есть много веских доводов в пользу этого проекта. Деловой мир восхищала мысль на длительный срок завладеть таким крупным покупателем. Людей с эстетическим вкусом окрыляла надежда, что восстановят и будут поддерживать Дельфиненорт, что этому великолепному зданию таким непредвиденным, таким, можно сказать, чудесным образом будут возвращены почет и молодость. А люди с государственным умом приводили цифры, которые при нынешнем хозяйственном положении страны не могли не произвести потрясающего впечатления. Поселившись у нас, Самуэль Н. Шпельман станет нашим налогоплательщиком, будет обязан платить налоги со своих доходов нам. Не стоит ли немножко внимательнее разобраться в значении этого факта? Конечно, господину Шпельману будет предоставлено право самому определить свои доходы; но, судя по тому, что известно- #9632; известно только приблизительно, — господин Шпельман в качестве местного жителя будет представлять источник налогов, равный двум с половиной миллионам ежегодно, и это принимая во внимание только государственные налоги и не считая общинных. Стоит над этим подумать или нет? И вопрос этот задавался непосредственно господину министру финансов, доктору Криппенрейтеру. Ежели этот чиновник не сделает все от него зависящее, чтобы добиться согласия высочайшей особы на продажу дворца, он не выполнит своего долга. Ибо любовь к родине повелевает согласиться на предложение Шпельмана, чтобы тот мог устроиться у нас как можно удобнее. Перед таким серьезным доводом отступают все сомнения.

Его превосходительство господин фон Кнобельсдорф явился к великому герцогу. Он доложил своему повелителю, каково общественное мнение; прибавил, что два миллиона — цена, значительно превышающая реальную стоимость замка при том состоянии, в котором он сейчас находится; заметил, что эти деньги были бы настоящим даром небес для дворцового финансового управления, и сумел ввернуть словцо о центральном отоплении для Старого замка, которое, буде продажа

осуществится, станет вполне возможным. Короче, беспристрастный старик министр употребил все свое влияние, чтобы склонить великого герцога к продаже дворца, и рекомендовал поставить этот вопрос на обсуждение семейного совета. Альбрехт втянул верхнюю губу и созвал семейный совет. Совет состоялся в Рыцарском зале, где был сервирован чай с печеньем. Только две участницы совета — принцессы Катарина и Дитлинда — высказались против продажи, высказались из соображений достоинства.

— Тебя осудят, Альбрехт! — сказала Дитлинда. — Упрекнут в том, что ты пренебрег родовой честью, а это неверно, у тебя чувство чести, наоборот, слишком развито, ты так горд, Альбрехт, что тебе все безразлично. Я высказываюсь против. Я не хочу, чтобы в одном из твоих дворцов поселилась эта птица Рох, это неприлично, достаточно и того, что при нем состоит лейб-медик и что он занимал «княжеские покои» в «Целебных водах». «Курьер» все время говорит о нем, как об объекте для налогов, а для меня он никакой не объект, а просто некий субъект. А твое мнение, Клаус-Генрих?

Но Клаус-Генрих высказался за продажу. Во-первых, у Альбрехта будет центральное отопление, а затем Шпельман не бог знает кто, он не какой-нибудь мыловар Уншлихт, он исключительный случай, и нет ничего зазорного в том, чтобы уступить ему Дельфиненорт. В конце концов Альбрехт, ни на кого не глядя, заявил, что, в сущности, семейный совет просто комедия. Народ уже давно высказался, министры настаивают на продаже, и ему опять остается только одно: пойти на вокзал и...

Заседание семейного совета состоялось весной. И теперь переговоры о продаже, которые с одной стороны вел Шпельман, а с другой — обергофмаршал господин фон Бюль цу Бюль, быстро подвинулись вперед, и уже в начале лета дворец Дельфиненорт с парком и службами перешел в законную собственность господина Шпельмана.

И тут внутри замка и вокруг него закипела работа, ежедневно привлекавшая в северную часть городского сада много любопытных. Дельфиненорт отделали заново, внутри частично перестроили и, надо сказать, для ремонта потребовалось очень много рабочей силы, чтобы не было никакой задержки, — такова была воля Шпельмана, он дал только пять месяцев сроку, по истечении которых все должно было быть готово к его приезду. И вокруг великолепного обветшавшего здания, как по мановению волшебной палочки, выросли леса, на них засуетились иностранные рабочие, из-за океана прибыл для общего руководства архитектор, снабженный всеми полномочиями. Но особенно усердно и

плодотворно потрудились этим летом и осенью наши столичные мастеровые: каменщики, кровельщики, столяры, позолотчики, обойщики, стекольщики, паркетчики, садовники, печники и монтеры. Когда в Эрмитаже бывали открыты окна, шум и суетня долетали до ампирных апартаментов его королевского высочества Клауса-Генриха, и не раз, выезжая на прогулку в своей коляске, он приказывал прокатиться мимо дворца Дельфиненорт, чтобы лично видеть, как идут работы. Домик садовника отделали заново, конюшни и каретные сараи, в которых надлежало разместить шпельмановские экипажи и автомобили, были расширены; а в октябре у ворот дворца Дельфиненорт выгрузили видимо-невидимо мебели и ковров, сундуков и ящиков с драпировками и домашней утварью, а среди публики, глазевшей на это зрелище, распространился слух, что в самом доме искусные мастера прилаживают электрический механизм к шпельмановскому органу, переправленному через океан. Всех разбирало любопытство — будет ли отделена от городского сада стеной или забором та часть парка, которая принадлежит к дворцу и теперь расчищена и приведена в образцовый порядок. Но этого не случилось. Шпельмановское владение было по — прежнему доступно для публики, населению столицы не возбранялось гулять по парку — таково было желание Шпельмана. По воскресеньям гуляющие могли невозбранно доходить вплоть до самого дворца, до подстриженной живой изгороди вокруг большого бассейна, — и это не преминуло произвести самое лучшее впечатление на столичных жителей, мало того: «Курьер» даже напечатал специальную статью, в которой воздавал должное господину Шпельману за такой либерализм.

И что же: когда снова начали опадать листья, ровно через год после своего первого приезда Самуэль Шпельман вторично прибыл на наш вокзал. На сей раз публика проявила к этому событию куда больше интереса, чем в прошлом году, и достоверно известно, что в момент появления на подножке салон — вагона господина Шпельмана в знакомом уже нам выцветшем пальтишке и в надвинутой на лоб шляпе толпа приветствовала его громким «ура!» — такая встреча, по-видимому, вызвала скорее недовольство господина Шпельмана, ибо благодарил за нее не он, а доктор Ватерклуз, растягивая рот в широкой ласковой улыбке и закрывая глаза. Когда из вагона вышла мисс Шпельман, воздух снова огласился приветственными кликами, а несколько шутников прокричали «ура!» и Перси, шотландскому колли, когда он, дрожа всем телом и приплясывая, появился на платформе и принялся неистовствовать. Кроме врача и графини Левенюль, к свите господ Шпельманов прибавились две

неизвестных публике личности, два гладко выбритых господина с решительным взглядом и в неимоверно широких пальто. Выяснилось, что это секретари господина Шпельмана — господа Флебс и Слипперс, как оповестил в своем отчете «Курьер».

Дельфиненорт был еще далеко не готов, и пока что Шпельманы заняли первый этаж Столичной гостиницы, где для них было приготовлено помещение заранее прибывшим шпельмановским дворецким, иначе говоря butler'oM, дородным, пузатым и спесивым мужчиной в черном, он же собственноручно водворил на место и комнатный велосипед. Ежедневно, пока Имма с графиней и Перси каталась верхом или осматривала благотворительные учреждения, господин Шпельман проводил время в своем доме, где следил за работой и делал указания; и еот, когда год подходил к концу, вскоре же после того, как выпал первый снег, — событие совершилось: Шпельманы переехали во дворец Дельфиненорт. Два автомобиля (всего несколько дней как они прибыли — роскошные машины колоссальной мощности, нежно шуршавшие на ходу, вели их шоферы в кожаных пальто, а рядом, скрестив на груди руки, сидели лакеи в белоснежных меховых шубах), два автомобиля за несколько минут доставили всех шестерых-во второй машине ехали Флебс и Слипперс — из Столичной гостиницы через Городской сад к замку, а высокие фонари, стоявшие по четырем углам большого бассейна, были облеплены мальчишками, они махали шапками и громкими криками встречали машины, мчавшиеся по величественной каштановой аллее к въезду в Дельфиненорт.

Так Самуэль Шпельман и его домочадцы приобщились к местному населению, и жители быстро привыкли к их присутствию. Шпельмановские белые с золотом ливреи стали столь же популярны в городе, как великогерцогские коричневые с золотом; негр — привратник в красном плюшевом фраке, охранявший въезд в Дельфиненорт, вскоре стал восприниматься как национальная фигура; а когда из замка доносились приглушенные звуки шпельмановского органа, прохожие останавливались, подымали палец и говорили: «Слышите, играет. Значит, колики его отпустили». Ежедневно мисс Имма с графиней Левенюль в сопровождении грума и яростно лающего Перси выезжала на прогулку верхом или в роскошном, запряженном четверкой легком экипаже, которым правила собственноручно, причем слуга, сидевший на задней скамейке, время от времени приподымался, доставал из кожаного футляра длинную серебряную трубу и громко дудел, возвещая о приближении выезда, а кто рано вставал, мог каждое утро видеть, как отец с дочерью в темно-красной

лакированной карете, а когда стояла хорошая погода, то и пешком отправлялись через парк, примыкавший сзади к Эрмитажу, в курортный парк к источнику. Что касается Иммы, то она, как уже упоминалось, снова стала посещать городские благотворительные заведения, не запуская, однако, из-за этого научных занятий, ибо с начала второго учебного полугодия регулярно присутствовала в университете на лекциях тайного советника Клингхаммера — ежедневно сидела в аудитории вместе со студенческой молодежью, одетая в простое черное платье с белыми манжетами и отложным воротником и, согнув крючком указательный палец, — это была ее манера держать ручку, — записывала лекцию вечным пером.

Шпельманы вели замкнутый образ жизни, не были знакомы домами ни с кем из городских жителей; это объяснялось болезнью господина Шпельмана, а также исключительностью его общественного положения. Ну, к какой общественной группе мог он примкнуть? Никому и в голову не пришло бы, что он станет водить компанию с мыловаром Уншлитом или директором банка Вольфсмильхом. Зато вскоре к нему прибегли как к благотворителю и отказа не встретили. Дело в том, что господин Шпельман, который, как было известно, раньше чем покинуть Америку, передал министерству просвещения в Соединенных Штатах внушительную сумму и подтвердил свое обещание и впредь не прекращать ежегодных пожертвований университету имени Шпельмана и прочим учебным заведениям, — и в данном случае, вскоре после того как он водворился в Дельфиненорте, тоже пожертвовал десять тысяч марок на Доротеинскую детскую больницу, на которую как раз собирали деньги, — поступок, великодушие коего по достоинству оценил «Курьер», а также и прочая пресса. Да, хотя Шпельманы жили очень замкнуто, можно сказать, что их пребыванию у нас с первого же часа сопутствовала известная гласность, во всяком случае местные газеты следили за каждым их шагом не менее внимательно, чем за жизнью членов велико герцогской фамилии. До сведения читателей доводилось, что мисс Имма с графиней и господами Флебсом и Слипперсом сыграла партию в теннис в Дельфиненортском парке, читатели были в курсе того, что она посетила придворный оперный театр, что ее отец тоже прослушал полтора действия, и хотя господин Шпельман избегал любопытных взглядов, во время антрактов не выходил из своей ложи и почти никогда не показывался пешком на улице, все же он, несомненно, сознавал, что его исключительное положение налагает на него обязанность представлять, а посему удовлетворял присущую людям потребность в зрелищах. Как известно, Дельфиненортский парк не

был отгорожен от городского сада, дворец не отделялся от прочего мира стеной. С задней стороны можно было через лужайки подойти чуть не к самой террасе, которую пристроил Шпельман, а если набраться храбрости, то и заглянуть через большую стеклянную дверь вовнутрь — в белую с позолотой боскетную, где господин Шпельман с домашними кушал в пять часов чай. Мало того, когда наступило лето, чаепитие перенесли на воздух на террасу, и господин Шпельман, фрейлейн Шпельман, госпожа Левенюль и доктор Ватерклуз, расположившись в плетеных креслах новомодной формы, чувствовали себя вроде как на сцене и, так сказать, пили чай при публике, на почтительном расстоянии наслаждавшейся этим зрелищем. Публики бывало больше, чем достаточно, во всяком случае по воскресеньям. Люди глазели на большой серебряный самовар, который — что здесь было новостью — нагревался электричеством, на подававших чашки и варенье двух лакеев в невиданных ливреях: белые, доверху застегнутые фраки, обшитые золотым галуном и шнурами и отороченные по вороту, обшлагам и краю фрака лебяжьим пухом. Прислушивались к английско-немецкому говору и, разинув рот, следили за каждым движением знаменитой семьи, восседавшей на террасе. Затем шли на другую сторону к въезду во дворец и на местном наречии отпускали шуточки по адресу темно-красного плюшевого негра, а он отвечал на них, скаля свои белые зубы.

Клаус-Генрих впервые увидел Имму Шпельман в погожий зимний день, около двенадцати часов. Правда, ему и раньше случалось встречать ее в театре, на улице, в городском саду. Но то не в счет. Впервые он *увидел* ее в этот полдень, и вдобавок при несколько скандальных обстоятельствах.

До половины двенадцатого у него была общедоступная аудиенция в старом замке, и по окончании он не сразу возвратился к себе в Эрмитаж, а приказал, чтобы кучер дожидался с каретой в одном из дворов, сам же пошел в кордегардию выкурить сигарету с дежурными офицерами лейб-гренадерского полка. Ввиду того, что он носил мундир этого полка и его личным адъютантом тоже был лейб-гренадер, он старался создать видимость товарищеских отношений с офицерами, нередко обедал у них в собрании, время от времени проводил с ними полчасика в кордегардии, хотя и подозревал втихомолку, что мешает им, не дает перекинуться в карты и рассказать непристойный анекдот. Заложив за спину левую руку, с выпуклой серебряной звездой Гримбургского грифа первой степени на груди, стоял он теперь с господином фон Браунбарт-Шеллендорфом, успевшим предупредить о его приходе, в офицерской караульне, которая помещалась в нижнем этаже замка у самых Альбрехтовских ворот, и

беседовал на безразличные темы с двумя-тремя офицерами посреди комнаты, остальные же болтали между собой и глубокой оконной нише. Солнце пригревало, а потому окно было открыто, и со стороны казармы по Альбрехтсштрассе под звуки марша и барабанную дробь приближалась смена караула. На колокольне дворцовой церкви пробило двенадцать. Послышался хриплый окрик унтер-офицера: «Стройсь!» — и топот гренадеров в караулке, бросившихся разбирать оружие. На площади стояли зрители. Лейтенант, командир караула, торопливо надел саблю, щелкнул каблуками перед Клаусом-Генрихом и вышел во двор. Но вдруг лейтенант фон Штурмхан, смотревший в окно, крик — пул тоном чуть наигранной развязности, который был принят между Клаусом-Генрихом и офицерами:

— Эх, черт! Хотите получить удовольствие, ваше королевское высочество? Взгляните, вон идет дочка Шпельмана с алгеброй под мышкой...

Клаус-Генрих подошел к окну. Мисс Имма приближалась справа, пешком, одна. Спрятав обе руки в большую, похожую на папку муфту с висячим верхом, усаженным меховыми хвостиками, она зажала под мышкой курс лекций. На ней был длинный жакет из блестящей чернобурой лисы, а на темной, своеобразной головке — шапочка из того же пушистого меха. Очевидно, она шла из Дельфиненорта и спешила в университет. Перед кордегардией она очутилась в тот момент, когда новый караул разворачивался на мостовой напротив сменяющегося, который выстроился двумя шеренгами с ружьями к ноге во всю ширину панели. Ей ничего не оставалось как повернуть обратно и обойти оркестр и толпу зрителей, а чтобы избежать площади с трамвайным движением, она могла сделать крюк по огибающему всю площадь тротуару или же обождать, пока закончится смена караула. Но ее явно не устраивало ни то, ни другое. Она вознамерилась пройти мимо замка через двойную шеренгу солдат. Хриплый унтер-офицер выскочил навстречу.

— Прохода нет! — рявкнул он, загородив ей путь ружейным прикладом. — Нет прохода! Назад! Обождите!

Но тут вспылила мисс Шпельман.

— Это что такое! — крикнула она. — Я спешу! — Слова были ничто по сравнению с тем искренним, страстным и сокрушительным негодованием, которое прозвучало в ее выкрике. А сама какая маленькая и необыкновенная! Белокурые солдаты перед ней были на две головы выше ее. В эту минуту личико ее стало белым, как воск, а черные брови тяжелой и внушительной складкой гнева сошлись над переносицей, ноздри неопределенной формы носика раздулись во всю ширь, а глаза, ставшие

огромными и совсем черными от волнения, смотрели так красноречиво, так неотразимо убедительно, что никто не посмел бы перечить ей.

— Это что такое! Я спешу! — крикнула она.левой рукой она отстранила приклад вместе с огорошенным унтер-офицером и, пройдя через самую середину шеренги, пошла своей дорогой, свернула влево на Университетскую улицу и скрылась из виду.

— Вот это да! — воскликнул лейтенант фон Штурмхан. — Здорово нас отделили!

Офицеры у окна смеялись. И на площади зрители пересмеивались с явным одобрением. Клаус-Генрих присоединился ко всеобщему веселью. Смена караула завершилась под слова команды и отрывочные звуки марша. Клаус-Генрих возвратился в Эрмитаж.

Он позавтракал совсем один, днем проехался верхом на своем коне Флориане, а вечер провел в большом обществе у министра финансов доктора Криппенрейтера. Многим из присутствующих он с веселым возбуждением рассказал о сценке перед замковой караульной, и каждый проявлял живейший интерес, хотя эта история успела уже всех облететь. На следующий день ему пришлось уехать, так как брат просил заменить его на торжестве освящения новой ратуши в близлежащем городе. По непонятным причинам он неохотно, через силу расстался со столицей.: Казалось, будто что-то очень важное, радостное и волнующее требует здесь его присутствия. Однако важнее всего должны быть его высокие обязанности. Но когда он в блестящем мундире восседал на почетном месте в ратуше, а бургомистр держал торжественную речь, Клаус-Генрих думал не только о том, что на него обращены все взоры, в глубине души он был поглощен тем новым, что смутило его покой. Вскользь вспомнил он о мимолетном знакомстве много лет назад с фрейлейн Уншлихт, дочерью мыловара, и S)то воспоминание тоже было связано с тем, что не давало ему покоя.

Имма Шпельман гневно отстранила хриплого унтер-офицера и прошла совсем одна, с алгеброй под мышкой, сквозь двойную шеренгу рослых русских гренадеров. Какой контраст между жемчужно-матовым личиком и черными кудрями под меховой шапочкой, п как выразительны были ее глаза! Такой, как она, больше нет. Ее отец был болен от избытка богатства и запросто купил один из великогерцогских дворцов. Как это «Курьер» писал об унаследованной им мировой известности и «обособленном положении»? «Он безвинно терпел ненависть обездоленных», — кажется, так говорилось в статье? А ноздри у нее раздулись во всю ширь от негодования. Такой, как она, больше нет,

сколько ни ищи. Она — исключительный случай. Что, если бы она оказалась тогда на балу в гостинице? У него была бы спутница, и он не совершил бы оплошности, и вечер не кончился бы стыдом и срамом. «Долой, долой, долой его!» Брр! Еще бы раз увидеть, как она, бледная, черноволосая и такая своеобразная, прошла между двумя рядами белокурых солдат.

Все ближайшие дни Клаус-Генрих был поглощен только этими мыслями, этими немногими впечатлениями. И удивительно — он вполне довольствовался ими и не ощущал потребности в других. И все сводилось к тому, что ему очень хочется и даже необходимо поскорее, если можно, так сегодня же, увидеть опять жемчужно-матовое личико.

Вечером он поехал в Придворный театр, где давали оперу «Волшебная флейта». И когда он из своей ложи увидел фрейлейн Шпельман и графиню Левенюль, сидевших в бенуаре возле самой сцены, у него от испуга оборвалось сердце. Во время действия он из темноты видел ее в бинокль, потому что на нее падал свет рамп. Она подперла головку узкой рукой без колец, обнаженный локоть непринужденно поставила на бархатный барьер, и вид у нее был уже совсем не негодующий. На ней было платье из блестящего шелка цвета морской волны, покрытое прозрачной тканью в пестрых букетах, вокруг шеи и на груди — длинная цепочка из сверкающих бриллиантов. «И вовсе она не такая маленькая, как представляется на первый взгляд», — подумал Клаус — Генрих, когда она встала после окончания действия. Она только кажется девочкой, потому что у нее детская головка, а смуглые плечи такие узенькие. Руки вполне развитые, — видно, что она занимается спортом и правит лошадьми. Но кисти рук совсем ребяческие.

Когда на сцене раздались слова диалога: «Он — государь, он более, нежели государь», — Клауса-Генриха потянуло поговорить с доктором Юбербейном. Случайно, на другой же день доктор Юбербейн явился в Эрмитаж — в черном сюртуке и белом галстуке, как всегда, когда посещал Клауса-Генриха. Клаус — Генрих спросил, слышал ли он уже о происшествии во время смены караула? Да, ответил доктор Юбербейн, слышал и не раз. Но если Клаус-Генрих хочет рассказать...

— Нет, зачем же, если вы знаете, — разочарованно протянул Клаус-Генрих.

Тут доктор Юбербейн перешел совсем на другую тему: он заговорил о биноклях и подчеркнул, что бинокль — замечательное изобретение. Ведь правда же, он приближает то, что, к несчастью, далеко от нас? Он перекидывает мосты к заманчивым целям. Что думает на этот счет Клаус-

Генрих? Клаус-Генрих был склонен с этим в известной мере согласиться. По слухам, он не далее как вчера широко воспользовался этим прекрасным изобретением, заметил доктор Юбербейн. Клаус-Генрих выразил недоумение.

— Ну вот что, Клаус-Генрих. Это никуда не годится. С вас не спускают глаз, и с крошки Иммы не спускают глаз. Казалось бы, довольно. Но если и вы станете, не спуская глаз, смотреть на крошку Имму — это, согласитесь, уже слишком.

— Ах, доктор Юбербейн, об этом я не подумал.

— Обычно вы очень даже думаете о таких вещах.

— Последние дни я что-то сам не свой, — признался Клаус-Генрих.

Доктор Юбербейн откинулся на спинку кресла, ухватил свою рыжую бороду под самым подбородком и несколько раз качнул головой и всем корпусом.

— Вот как? Сам не свой? — переспросил он. И продолжал раскачиваться.

— Вы не поверите, как мне не хотелось ехать на освящение ратуши, — сказал Клаус-Генрих. — А завтра я должен принимать присягу рекрутов в лейб-гренадерском полку. А потом собирается капитул нашего фамильного ордена. Все это мне опостылело. У меня пропал всякий вкус к представительству. И к моему пресловутому высокому призванию.

— Мне все это очень не нравится! — отрезал доктор Юбербейн.

— Я так и думал, что вы рассердитесь, скажете, что это мягкотелость, заговорите, по своему обыкновению, про «удел и выдержку». Но вчера в опере, в одном определенном месте, я подумал о вас и решил, что не во всем вы безоговорочно правы.

— Послушайте, Клаус-Генрих, если память мне не изменяет, я однажды уже был вынужден встряхнуть и привести в чувство ваше королевское высочество...

— Тогда было совсем не то! Поймите же, доктор Юбербейн, совсем, совсем не то! То, что случилось в Парковой гостинице, отошло в далекое прошлое, и к тому меня больше не тянет, нет. А она ведь и сама... Вспомните, вы не раз объясняли мне, что вы понимаете под высоким. Оно трогает душу, к нему надо относиться нежно и бережно. Это ваши собственные слова. Так неужели же вы не находите, что та, о ком мы говорим, должна трогать душу и вызывать бережную нежность?

— Возможно, — промолвил доктор Юбербейн. — Возможно.

— Вы часто говорили, что исключительные случаи существуют, и отрицать их — значит проявить мягкотелость и подлое разгильдяйство.

Неужели же вы не находите, что та, о ком мы говорим, тоже исключительный случай?

Доктор Юбербейн молчал.

— Так что ж, прикажете мне, — взревел он вдруг, — способствовать тому, чтобы из двух исключительных случаев получился, против всякого вероятия, один обыденнейший? — С этими словами доктор Юбербейн встал. Он сослался на то, что его ждет работа, особо упирая на слово «работа», и попросил разрешения удалиться. Откланялся он в высшей степени церемонно и неласково.

После этого Клаус-Генрих не видел его дней десять — двенадцать. Однажды он пригласил его к завтраку, но доктор Юбербейн просил всемилостивейше извинить его, так как в данное время он всецело занят работой.

В конце концов он явился без приглашения. Вид у него был веселый, а лицо зеленее, чем всегда. Поболтав о том, о сем, он перешел на Шпельманов, глядя в потолок и схватив себя за бороду.

Что ни говори, начал он, но Самуэль Шпельман пользуется необычайной симпатией и популярностью в городе. Прежде всего, разумеется, как налогоплательщик, но и не только. Всем слоям населения нравится и его игра на органе и выгоревшее пальтишко и почечные колики. Каждый сапожный подмастерье гордится им, и не будь он таким неприступным и хмурым, ему не преминули бы выразить все эти теплые чувства. Пожертвование десяти тысяч марок на Доротеинскую больницу, понятно, произвело благоприятнейшее впечатление. Его приятель, Плюш, рассказывал ему, Юбербейну, что на эти деньги в больнице осуществлены важные усовершенствования. Да, кстати, он вспомнил! Плюш говорил, что крошка Имма собирается завтра в первую половину дня приехать взглянуть на эти усовершенствования. Она прислала одного из отороченных лебяжьим пухом лаг кеев спросить, не помешает ли своим посещением. Непонятно, какого черта ей нужны детские недуги, вставил Юбербейн, разве только она хочет чему-нибудь поучиться. Если память ему не изменяет, это будет завтра в одиннадцать утра. Затем он переменял разговор. А перед уходом заметил:

— Великому герцогу не мешало бы хоть чуточку позаботиться о Доротеинской больнице. Как же — такое богоугодное заведение. Словом, кому-нибудь следует заехать. Проявить высочайшее внимание. Впрочем, я не хочу вмешиваться... Всего наилучшего.

Однако он вернулся с порога, и на щеках у него проступили красные пятна, неправдоподобные при его зеленовато-бледном лице.

— Если мне еще раз доведется увидеть у вас на голове крышку от крошонницы, так и знайте, я даже не подумаю выручать вас, Клаус-Генрих.

И, поджав губы, он поспешно удалился.

На следующее утро, около одиннадцати часов, Клаус-Генрих вместе со своим адъютантом господином фон Браунбарт-Шеллендорфом выехал из Эрмитажа по заснеженной березовой аллее, проследовал по ухабистым улочкам предместья между убогими домишками и остановился у простого белого здания, над дверьми которого крупными черными буквами было написано «Доротеинская детская больница». Об его приезде было сообщено заранее. Главный врач больницы, во фраке, при Альбрехтовском кресте третьей степени, встретил его в вестибюле с двумя младшими врачами и со всем штатом сестер милосердия. Принц и его спутник были в касках и шинелях на меху.

— Дорогой господин доктор, — сказал Клаус-Генрих, — я вторично возобновляю старое знакомство. Вы присутствовали при моем появлении на свет. А затем находились у смертного одра моего отца. Кроме того, вы друг моего учителя Юбербейна. Искренне рад!

Доктор Плюш, поседевший в деятельной доброте, поклонился, как всегда, вбок, одной рукой теребя цепочку часов и крепко прижав локоть к телу. Он представил принцу двух других врачей и старшую сестру, а затем сказал:

— Считаю своим долгом уведомить ваше королевское высочество, что всемиловитейшее посещение вашего королевского высочества совпадает с другим визитом. Да. Мы ожидаем фрейлейн Шпельман. Ее отец проявил такую великодушную заботу о нашем учреждении... Мы никак не могли отменить ее визит. Дочери мистера Шпельмана покажет больницу старшая сестра.

Клаус-Генрих благосклонно выслушал известие об этом совпадении. Затем обратил внимание на одежду сестер милосердия, назвав ее изящной, после чего сказал, что горит желанием посмотреть богоугодное заведение. Обход начался. Старшая сестра с тремя помощницами осталась в вестибюле.

Все стены в больнице покрыты белой масляной краской, так что их можно мыть. Да. Водопроводные краны очень большие, чтобы их, из соображений гигиены, можно было отвернуть локтем. Кроме того* имеются приспособления для выpolаскивания бутылок из-под молока сильно бьющей струей. Сперва прошли через приемную, там стояли только запасные кровати и велосипеды медицинского персонала. Рядом, во

врачебном кабинете, кроме письменного стола и вешалки с белыми докторскими халатами, посетители увидели еще особый пеленальный стол с клеенчатыми подушками, операционный стол, шкаф с питательными средствами и детские весы в форме корытца. Клаус-Генрих остановился перед шкафом с питательными средствами и любопытствовал, из чего состоит каждый препарат. Если и дальше осмотр будет столь же обстоятельным, пропадет: рья много времени, посетовал про себя доктор Плюш.

Вдруг на улице послышался шум. Перед домом дал гудок и затормозил автомобиль. Раздались крики «ура!», явственно долетевшие до врачебного кабинета, хотя кричали только детские голоса. Клаус — Генрих, по-видимому, не интересовался этой суетой. Он разглядывал банку с молочным сахаром; впрочем, примечательного в ней было мало.

— Кажется, приехали посетители, — сказал он. — Да, в самом деле! Вы говорили, что кто-то должен приехать. Пойдем дальше?

Дальше отправились в кухню, в молочную кухню, большое, выложенное кафелем помещение, где препарировали молоко и где хранилось цельное молоко, отвары и сыворотка. Дневные порции стояли в маленьких бутылочках на опрятных белых столах. Здесь пахло чем-то сладковато-кислым.

Клаус-Генрих уделил много внимания и этому помещению. Он дошел до того, что попробовал сыворотку, и очень одобрил ее вкус. Мудрено, чтобы дети не поправлялись при такой сыворотке, подчеркнул он. Во время этого обследования дверь распахнулась, и появились мисс Шпельман посередине, старшая сестра и графиня Левенюль по бокам, три сестры милосердия позади.

Сегодня жакет, шапочка и муфта у нее были из великолепнейшего соболя, муфта висела на золотой цепочке с разноцветными камнями. Ее черные волосы норовили выбиться на лоб прямыми прядками. Она одним взглядом окинула всю комнату; глаза в самом деле были до неприличия велики для такого личика; они заполонили его, как глаза котенка, но только эти были черные и блестящие, словно уголь, и говорили таким красноречивым языком... Графиня Левенюль в шляпке из перьев на маленькой голове, вообще же одетая скромно, строго и не без элегантности, рассеянно улыбалась, как всегда.

— Это молочная кухня, здесь готовят молоко для детей, — пояснила старшая сестра.

— Так и следовало предположить, — ответила фрейлейн Шпельман. Она бросила эту реплику отрывисто и вскользь, впрочем без малейшего

английского акцента, выпятив губы и надменно покрутив головкой. У нее был какой-то двойственный голос, очень низкий и очень высокий, ломавшийся в среднем регистре.

Старшая сестра растерялась.

— Конечно, это сразу видно, — сказала она, и лицо ее страдальчески передернулось.

Положение было довольно щекотливое. Доктор Плюш старался прочесть по лицу Клауса-Генриха, как поступить дальше; но Клаус-Генрих привык исполнять свои обязанности в пределах строго установленных норм, а не разбираться в непривычных и сложных ситуациях, и потому возникла заминка.

Господин фон Браунбарт вознамерился вмешаться, а фрейлейн Шпельман со своей стороны собралась уйти из молочной кухни, но тут принц сделал правой рукой легкий связующий жест между собой и девушкой. Доктор Плюш понял это как знак подойти к Имме Шпельман.

— Доктор Плюш. Да. — Он почтет за честь, если ему будет дозволено представить фрейлейн Шпельман его королевскому высочеству. — Фрейлейн Шпельман, ваше королевское высочество, дочь мистера Шпельмана, который так много сделал для нашей больницы.

Клаус-Генрих щелкнул каблуками и протянул ей руку в белой офицерской перчатке, она же тряхнула ее своей узкой, затянутой в коричневую замшу ручкой, превратив рукопожатие в английский shakehands, и одновременно с небрежной грацией пажа изобразила нечто вроде придворного реверанса, но при этом не отвела своего лучистого взгляда от лица Клауса — Генриха.

Стараясь проявить находчивость, он спросил:

— Значит, вы тоже решили осмотреть больницу, мадемуазель?

Так же, как в первый раз, она выпятила губы, надменно покрутила головкой и отрывисто ответила своим ломающимся голосом:

— Отрицать нельзя, все свидетельствует об этом.

Господин фон Браунбарт инстинктивно, как бы предостерегая, поднял руку.

Доктор Плюш молча уставился на свою цепочку, а один из молодых врачей фыркнул самым неподобающим образом. Теперь страдальчески передернулось лицо Клауса-Генриха.

— Понятно... — заговорил он, — раз вы приехали... я могу продолжать осмотр больницы вместе с вами, мадемуазель... Капитан фон Браунбарт, мой адъютант, — торопливо добавил он, понимая, что и это замечание заслуживает такого же ответа.

— Графиня Левенюль, — представила она в свою очередь.

Графиня церемонно присела с загадочной улыбкой и устремленным куда-то вкось странно-манящим взглядом. Когда она выпрямилась и обратила свой непонятный ускользящий взгляд на Клауса-Генриха, который стоял перед ней, весь подобравшись и вытянувшись в струнку, улыбка сразу сошла с ее лица, оно выразило разочарование и скорбь, и в тот же миг что — то похожее на ненависть вспыхнуло в ее серых глазах, из-за чуть припухших век... Но это было лишь мимолетное впечатление. Клаус-Генрих не успел задержаться на нем и тут же об этом забыл. Когда оба молодых врача тоже удостоились чести быть представленными Имме Шпельман, Клаус-Генрих высказался за то, чтобы продолжать обход.

Шествие направилось по лестнице во второй этаж: впереди Клаус-Генрих с Иммой Шпельман, за ними доктор Плюш, дальше графиня Левенюль с господином фон Браунбартом и наконец оба молодых врача. Здесь помещались дети постарше, — да, до четырнадцати лет. Прихожая с бельевыми шкафами по стенам разделяла палаты для девочек и для мальчиков. На белых решетчатых кроватках с дощечкой, где было проставлено имя больного, в головах и застекленной рамкой в ногах, в которую вкладывались таблицы с кривыми веса и температуры, окруженные заботой сестер в белых чепцах, в атмосфере порядка и чистоты лежали больные дети, и кашель наполнял палату, в то время как Клаус Генрих и Имма Шпельман проходили между рядами кроваток.

Соблюдая правила вежливости, он шел по левую ее руку и улыбался так же, как в тех случаях, когда его водили по выставкам или когда он делал смотр ветеранам, членам гимнастических обществ или проходил по фронту почетного караула. Но всякий раз, поворачиваясь вправо, он видел, что Имма Шпельман его рассматривает, и встречал испытующий взгляд ее больших черных глаз, блестевших вопросительно, вдумчиво и строго. Это было так поразительно, что Клаусу — Генриху казалось — ничто в жизни не поражало его сильнее, чем ее манера, не обращая внимания ни на него, ни на окружающих, не беспокоясь о том, замечает ли это кто-нибудь, открыто и смело рассматривать его своими огромными глазами. Когда доктор Плюш задерживался у какой-нибудь кровати и давал пояснения, как, например, в случае с маленькой девочкой, чья сломанная и забинтованная ножка была подвешена перпендикулярно, видно было, что фрейлейн Шпельман внимательно слушает; однако и тут она не смотрела на говорившего, а переводила взгляд с Клауса-Генриха на худенькую и тихонькую девочку, которая поглядывала на них, лежа неподвижно со скрещенными на груди ручками, — переводила взгляд с принца на

больного ребенка, чье состояние объясняли им обоим, переводила с одного на другого, трудно сказать, с какой целью, то ли стараясь подсмотреть у Клауса-Генриха жалость, то ли уловить, какое впечатление производят на него слова доктора Плюша. Особенно заметно это было у постели мальчика с простреленным плечом и другого, которого вытащили из воды, — двух прискорбных случаев, как выразился доктор Плюш.

— Сестра, хирургические ножницы, — потребовал он и показал им двойную рану в предплечье мальчика, вход и выход револьверной пули.

— Ранение нанес ему родной отец, да, — вполголоса объяснил доктор Плюш высоким посетителям, повернувшись спиной к кровати. — Этот хоть сравни півіііо легко отделался. А жену, остальных трех детей и себя самого он застрелил насмерть. Только тут промахнулся...

Клаус-Генрих посмотрел на двойную рану и боязливо спросил:

— Почему он это сделал?

— С отчаяния, ваше королевское высочество; чтобы уйти от нищеты и позора. Да.

Больше он ничего не добавил, ограничившись этой краткой констатацией; так же поступил он и в случае с десятилетним мальчуганом, которого вытащили из йоды.

— Еще хрипит, не вся вода вышла из легких, — заметил доктор Плюш. — Его сегодня утром выудили из реки, да. Кстати, мало вероятно, чтобы он случайно упал в воду. Очень многое говорит против этого. Он убежал из дому, да.

Доктор умолк. А Клаус-Генрих снова заметил, что фрейлейн Шпельман смотрит на него большими черными строго блестящими глазами и ловит его взгляд, настойчиво приглашая продумать вместе с ней эти «прискорбные случаи», мысленно восполнить намеки доктора Плюша и добраться до страшной правды, сгусток который являют эти страждущие детские тела... Какая-то маленькая девочка горько заплакала, когда к ее кровати поднесли дымящий и шипящий ингалятор и с ним картонную книжку-картинку. Фрейлейн Шпельман нагнулась к девочке.

— Это совсем не больно, — сказала она, подражая детскомуговору. — Ну, ни чуточки. Плакать нельзя. — А когда выпрямилась, отрывисто бросила, надув губки: — Следует полагать, она плакала не только лишь от ингалятора, но и от картинок.

Все рассмеялись. Один из ассистентов поднял книжку и, перелистав картинки, захохотал еще громче. Шествие направилось в лабораторию. По дороге Клаус-Генрих думал о том, как своеобразно острит фрейлейн Шпельман. Она употребляет такие выражения, как «следует полагать», «не

только лишь». Кажется, будто она высмеивает не одни картинки, но и те язвительно изысканные обороты речи, которые подбирает так быстро и ловко. А это, пожалуй, самая безжалостная насмешка, какую можно вообразить...

Под лабораторию было занято самое большое помещение в больнице. На полках были расставлены склянки, колбы, воронки и химикалии, тут же стояли и препараты в спирту, о которых доктор Плюш рассказал посетителям в четких и бесстрастных выражениях.

Какой-то ребенок задохся по непонятным причинам, здесь в спирту его гортань с грибовидными разрастаниями вместо голосовых связок. Да. Вот ненормально увеличенная детская почка. А вот изуродованные вырождением кости. Клаус-Генрих и фрейлейн Шпельман рассматривали все, вместе заглядывали в склянки, которые доктор Плюш подносил к окну, и у обоих в глазах был почтительный интерес, а губы чуть заметно протестующе кривились.

Друг за другом смотрели они в микроскоп; приложив глаз к линзе, разглядывали злокачественное выделение, окрашенный в голубой цвет мазок на стеклышке, где рядом с большими пятнами виднелись маленькие точки — бациллы. Клаус-Генрих хотел, чтобы фрейлейн Шпельман раньше него посмотрела в микроскоп, но она уклонилась, вздернув брови и сделав такую гримаску, будто хотела нарочито подчеркнуть: «Ни в коем случае!» Тогда он подошел первым, решив, что, право же, безразлично, кто скорее увидит такую нешуточную и страшную вещь, как бациллы. После этого гостей повели на третий этаж, к грудным младенцам.

Оба засмеялись, когда их уже на лестнице встретил многоголосый крик. А потом они со своей свитой ходили по палате между кроватками, вместе нагибались над лысенькими малышами, которые спали, стиснув кулачки, или орали во всю мочь, показывая беззубые десны, оба зажимали уши и опять смеялись. В некоем подобии печи, где поддерживалось равномерное тепло, лежал недоношенный ребенок. Доктор Плюш показал высоким гостям жуткое, похожее на трупик существо, — дитя бедняков с большими уродливыми руками, признаком низкого происхождения и трудной жизни ряда поколений. Он вынул из постели какого-то кричащего ребенка, и тот мигом умолк, умелым движением положил себе на ладонь мотающуюся головку и показал красное, сморщенное личико и судорожно дергающееся тельце им обоим — Клаусу — Генриху и Имме Шпельман, которые вместе остановились посмотреть на младенца. Клаус-Генрих, сдвинув каблуки, наблюдал, как доктор Плюш снова кладет ребенка в постельку, а обернувшись, как и ожидал, встретился взглядом с

испытующе блестящими глазами Иммы Шпельман.

Под конец они подошли к одному из трех окон палаты и увидели бедные домишки предместья, а внизу на мостовой, — стоящие друг за другом и окруженные кольцом ребятишек, коричневую придворную карету и великолепный, крытый темно-красным лаком автомобиль Иммы. Шпельмановский шофер сидел, развалясь в своей бесформенной мохнатой дохе, и, положив руку на руль мощной машины, наблюдал, как его сотоварищ, белоснежный лакей, вертится возле кареты и пытается вступить в разговор с кучером Клауса-Генриха.

— Наши соседи — они же и родители наших питомцев, — пояснил доктор Плюш, отведя белую тюлевую гардину. — В субботу вечером пьяные отцы проходят мимо больницы и горланят под окнами. Да.

Они стояли и слушали; но доктор Плюш ничего больше не сказал об отцах, и они собрались уезжать, так как все уже было осмотрено.

Клаус-Генрих с Иммой Шпельман впереди, остальные следом двинулись вниз по лестницам, а в вестибюле снова собрался весь штат сестер милосердия. Здесь началось прощание — щелкали каблуками, отдавали честь, кланялись, приседали. Стоя в официальной позе перед доктором Плюшем, который слушал, склонив голову набок и теребя цепочку часов, Клаус — Генрих в штампованных выражениях весьма одобрительно отозвался обо всем виденном и при этом чувствовал, что Имма Шпельман не спускает с него своих больших глаз. После прощания с врачами и сестрами он и господин фон Браунбарт проводили дам до автомобиля. Проходя по тротуару между рядами детей и женщин с детьми на руках, и даже у широкой подножки автомобиля, Клаус-Генрих и фрейлейн Шпельман не переставали беседовать.

— Мне было очень приятно встретиться с вами, мадемуазель, — сказал он.

Она ничего не ответила на это, только выпятила губы и чуть-чуть покрутила головкой.

— Крайне интересный осмотр, — начал он снова. — Столько узнаешь нового.

Она взглянула на него большими черными глазами. Потом отрывисто и вскользь бросила своим ломающимся голосом.

— Да, конечно, до известной степени...

Он надумал спросить:

— Надеюсь, мадемуазель, вам нравится дворец Дельфиненорт?

— Ничего себе. Вполне сносное жилье.

— Вам больше нравится здесь, чем в Нью — Йорке? — спросил он.

И она ответила:

— Не больше и не меньше. Почти одно и то же. Собственно, всюду одно и то же.

Вот и все. Клаус-Генрих и на шаг позади него господин фон Браунбарт стояли, приложив руку к каске, пока шофер запустил мотор и автомобиль, сотрясаясь, тронулся с места.

Само собой разумеется, такая встреча не могла остаться событием внутренней жизни Доротеинской больницы — нет, в тот же день весь город только о ней и толковал.

«Курьер» напечатал под лирическим заголовком подробный отчет об этом свидании, хотя и не во всем совпадающий с истиной, однако настолько взволновавший умы и возбудивший такую живую любознательность читателей, что предприимчивая газета почла своей обязанностью бдительно следить за дальнейшим сближением между домами Гримбург и Шпельман. Правда, материал для сообщений у «Курьера» был довольно скудный. Раза два он отметил, что его королевское высочество принц Клаус-Генрих по окончании представления в Придворном театре, проходя по коридору бенуара, изволил остановиться у шпельмановской ложи и поздороваться с дамами. А в сообщении о костюмированном благотворительном базаре, который состоялся в середине января в большом зале ратуши, — мисс Шпельман, по настоянию комитета, согласилась участвовать в этом великосветском начинании, — немалое внимание было уделено тому моменту, когда принц Клаус-Генрих, совершая вместе с двором обход зала, остановился у киоска, где продавала фрейлейн Шпельман, купил у нее одну вещь — стеклянную вазу художественной работы, ибо фрейлейн Шпельман продавала художественные изделия из фарфора и стекла, и минут восемь, а то и все десять провел в беседе у прилавка. Содержание беседы не сообщалось, однако же она имела существенные последствия.

Весь двор, за исключением Альбрехта, появился в большом зале ратуши около полудня. А когда Клаус — Генрих возвращался в карете к себе в Эрмитаж, держа на коленях завернутую в папиросную бумагу стеклянную вазу, он успел сговориться о посещении Дельфиненорта, успел выразить желание взглянуть, как обновлен дворец, и заодно осмотреть коллекцию художественных изделий из стекла, собранную господином Шпельманом. Дело в том, что среди вещей, которые продавала мисс Шпельман, было три или четыре старинных бокала, пожертвованных ее отцом из его собственной коллекции, и как раз одну из этих вещей приобрел на благотворительном базаре Клаус — Генрих.

Он снова представлял себе, как стоит один на один с Иммой Шпельман, их разделяет прилавок, уставленный бокалами, графинами и статуэтками из бисквита и фарфора, а люди обступили их полукругом и смотрят на них. Он снова видел ее в фантастическом красном наряде из цельного куска ткани, который окутывал ее гармонично развитую и все же детскую фигурку, оставляя обнаженными смуглые плечи и руки, округлые и упругие, но по-детски тоненькие у запястья. Он видел золотое украшение, не то венок, не то диадему, в ее черных волосах, норовивших выбиться ей на лоб прямыми прядями, ее огромные черные, вопросительно блестящие глаза на жемчужно — матовом личике и полные, мягкие губы, которые она точно балованное дитя презрительно выпячивала, когда говорила, — а кругом в большом сводчатом зале стоял запах хвои, несвязный гул: звуки музыки, удары гонга, смех и возгласы великосветских продавцов.

Он залюбовался предложенным ею благородным бокалом из старинного стекла с орнаментом в виде серебряных листьев, и она сказала, что этот бокал из коллекции ее отца.

— Значит, у вашего отца много таких великолепных вещей? — Разумеется. И, по всей вероятности, отец пожертвовал для базара не самые первоклассные экземпляры. Она позволяет себе утверждать, что у него есть бокалы значительно красивее этих. — Как бы он, Клаус-Генрих, хотел посмотреть их! — Ну что ж, это не трудно осуществить при подходящем случае, — ответила фрейлейн Шпельман своим ломающимся голосом, выпятив губы и покрутив головкой. Отец, несомненно, не будет возражать против того, чтобы настоящий знаток по достоинству оценил плоды его коллекционерских трудов. Они всегда пьют чай ровно в пять.

Она восприняла высочайшее намерение попросту, самым непринужденным образом обратив его в приглашение. А на вопрос Клауса-Генриха, какой день можно иметь в виду, ответила:

— Какой вам угодно, принц. Мы в любое время будем несказанно счастливы...

«Будем несказанно счастливы» — в этих ее словах было такое язвительно-насмешливое преувеличение, что от них становилось даже больно и трудно сохранить невозмутимый вид. Ведь как она тогда, в больнице, озадачила и обидела бедняжку старшую сестру! Но при этом в ее говоре было что-то детское, некоторые буквы звучали совсем как у детей, — и не только в тот раз, когда она утешала маленькую девочку, испугавшуюся ингалятора. И какие у нее были изумительные глаза, когда речь шла об отцах и всяких прискорбных случаях...

На следующий день Клаус-Генрих пил чай во дворце Дельфиненорт — на другой же день, назавтра. При подходящем случае, сказала Инна Шпельман. Л как раз следующий день был для него самым подходящим, да и дело представлялось ему настолько важным, что он решил не откладывать его в долгий ящик.

Около пяти часов — уже смеркалось — проехал он в своей карете по оттаявшим дорогам городского сада, оголенного и безлюдного, и вот уже карета катит через Шпельмановские владения, дуговые фонари освещают парк, большой, четырехугольный бассейн с фонтаном тускло мерцает между деревьями, а позади виднеется белеющая громада дворца, колонны портала, широкий пандус, оба крыла которого плавно поднимаются между флигелями вплоть до бельэтажа, высокие окна с частыми переплетами оконных рам, римские бюсты в нишах, — и когда Клаус-Генрих подъехал по главной аллее из гигантских каштанов, он увидел у самой нижней ступени темно-красного плюшевого негра, который стоял на страже, опираясь на булаву.

Клаус-Генрих вступил в облицованный камнем, ярко освещенный, тепло натопленный вестибюль с отливающим золотом мозаичным полом и белыми статуями богов вдоль стен и направился прямо к мраморной парадной лестнице с широкими перилами, устланной красным ковром, по которой навстречу гостю, откинув плечи и держа руки по швам, спускался пузатый и спесивый шпельмановский дворецкий во всей красе своего бритого двойного подбородка.

Он провел гостя в верхнюю аванзалу, увешанную гобеленами и украшенную мраморным камином, там два бело-золотых, отороченных лебяжьим пухом лакея взяли у принца фуражку и шинель, а дворецкий тем временем отправился самолично докладывать о нем господам... Между обоими лакеями, которые придерживали портьеры, Клаус-Генрих прошел в дверь и спустился на две-три ступени.

Навстречу ему повеял аромат растений и послышался мелодичный плеск воды; но в тот миг, когда за ним упали портьеры, внезапно раздался такой неистовый лай, что Клаус-Генрих, почти оглушенный, задержался на мгновение у нижней ступеньки. Персеваль, пес из породы колли, ринулся наперерез гостю. Казалось, ярость его не имеет пределов, он брызгал слюной, он задыхался, не знал, как дать выход разрывавшему его на части возбуждению, весь извивался, бил себя хвостом по бокам, упершись передними ногами в пол, в слепом бешенстве вертелся вокруг самого себя и словно стремился весь изойти в неистовстве и диком лае. Чей-то голос — не похожий на голос Иммы — отозвал его, и Клаус-Генрих, оглядевшись,

увидел, что находится в зимнем саду, помещении, где стеклянный сводчатый потолок опирался на стройные мраморные колонны, а пол был выложен квадратными плитами из полированного мрамора. Сад был заполнен пальмами разных видов, у многих стволы и веерообразные листья подходили под самый стеклянный купол. Цветник, расположенный в форме клумбы и составленный наподобие мозаики из бесчисленных цветочных горшков, расстилался под лунным светом дуговых ламп и насыщал воздух благоуханием. Фонтан струил серебряные ключи в мраморный водоем, и особой породы утки с редкостным оперением плавали по пронизанной светом водной глади. Задний план был занят каменной галереей с колонками и нишами.

Встретила гостя графиня Левенюль и с улыбкой склонилась перед ним.

— Благоволите простить нас, ваше королевское высочество, — сказала она. — Наш Перси такой раздражительный. А тут еще он отвык от общества. Но он никогда не причиняет зла. Осмелюсь просить ваше королевское высочество... Фрейлейн Шпельман сейчас возвратится. Она только что была здесь. Ее позвали. Отец прислал за ней. Мистер Шпельман будет очень счастлив...

И она направилась с Клаусом-Генрихом к гарнитуру плетеной мебели с вышитыми полотняными подушками, расставленному перед группой пальм. Графиня говорила громко и оживленно, склонив набок небольшую голову с жиденькими пепельными волосами, расчесанными на пробор, и показывая в улыбке белые зубы. У графини был положительно элегантный вид в этом облегающем фигуру коричневом платье, а когда она, весело потирая руки, подвела Клауса-Генриха к плетеным креслам, у нее явно проявились энергичные и изящные повадки полковой дамы. Только» глазах, из-за прищуренных век, мерцало что-то загадочное, не то коварство, не то недоверие.

Они уселись друг против друга перед круглым садовым столиком, на котором лежали книги. Истомленный только что перенесенным приступом ярости, Персеваль свернулся как улитка на узком, переливчатом ковре блеклых тонов, на котором была расставлена мебель. Шерсть у Перси была черная, шелковистая, только лапы, грудь и морда — белые. И вокруг шеи белое жабо, глаза золотистые и пробор вдоль всей спины. Клаус-Генрих начал разговаривать разговора ради, поддерживать светскую, бессодержательную беседу, ибо иначе он не умел.

— Надеюсь, графиня, я не помешал. Во всяком случае, я счастлив, что имею оправдание для своего г. торжества. Не знаю, говорила ли вам

фрейлейн Шпельман... Ее любезное приглашение придало мне смелости. Между нами зашла речь о прекрасных бокалах, которые господин Шпельман с присущей ему щедростью пожертвовал для вчерашнего базара. Фрейлейн Шпельман высказалась в том смысле, что ее отец согласится показать мне свою коллекцию. Вот я и пришел...

Графиня оставила открытым вопрос о том, говорила ли ей что-нибудь Имма, и сказала:

— В это время мы всегда пьем чай. И вы, ваше королевское высочество, никак не могли помешать нам. Даже в том случае, если бы, паче чаяния, самочувствие не позволило мистеру Шпельману спуститься...

— Ах, вот как! Он нездоров? — В сущности, Клаус — Генрих даже предпочел бы, чтобы мистер Шпельман не мог спуститься. Он ждал этой встречи с неопределенным беспокойством.

— Сегодня он, к сожалению, с самого утра нездоров, ваше королевское высочество. Его знобило, у него был жар и даже легкий приступ дурноты.

Доктор Ватерклуз долго пробыл у него и сделал ему впрыскивание морфия. Говорят, что, пожалуй, придется прибегнуть к операции.

— Я очень сочувствую ему, — искренне сказал Клаус-Генрих. — Как это страшно — операция.

А графиня, рассеянно глядя куда-то вдаль, ответила:

— О да. Но в жизни есть и кое-что пострашнее — многое в жизни страшнее этого.

— Бесспорно, — сказал Клаус-Генрих. — Не сомневаюсь. — Слова графини породили в его уме какие-то обобщенные, неоформленные представления.

Графиня посмотрела на него, склонив голову набок, и лицо ее выразило презрение. А затем устремила свои серые глаза с чуть припухшими веками куда-то в сторону, неизвестно куда, и на губах ее появилась уже знакомая Клаусу-Генриху загадочная улыбка, в которой было что-то странно манящее.

Он почувствовал, что необходимо возобновить разговор.

— Давно вы уже живете в семействе Шпельман, графиня? — спросил он.

— Порядочно, — ответила она, и видно было, что она пытается подсчитать. — Порядочно. Я столько пережила, столько выстрадала, что не могу, разумеется, сказать совершенно точно. Но это было вскоре после благодати, после того как меня осенила благодать.

— Благодать? — переспросил Клаус-Генрих.

— Ну, да, — уверенно и даже с раздражением подтвердила она. — Благодать снизошла на меня, когда мера испытания достигла предела и, говоря иносказательно, тетива вот-вот могла порваться. Вы так еще молоды, — продолжала она, по рассеянности забыв даже титуловать его, — так неискушены в горестях и пороках нашего мира, что даже и вообразить себе не можете, сколько я перестрадала. В Америке у меня был судебный процесс, на который вызвали многих генералов. Тут обнаружились такие дела, что моей философии на это не хватило. Мне пришлось наводить порядок во всех казармах и все-таки не удалось до конца очистить их от распутных баб. Те и по шкафам попрятались, некоторые даже под пол забрались, и потому-то они каждую ночь нещадно терзают меня. Я бы без промедления удалилась в мои бургундские замки, если бы там не протекали крыши. Шпельманы об этом знали и были так любезны, что временно приютили меня, причем единственная моя обязанность — предупреждать против козней света совершенно неискушенную Имму. Разумеется, здоровье мое терпит большой ущерб оттого, что эти распутницы садятся по ночам мне на грудь и я вынуждена наблюдать их непристойные гримасы. Вот причина, по которой я и прошу называть меня просто фрау Мейер, — шепотом добавила она, нагнувшись к Клаусу-Генриху и дотронувшись рукой до его рукава. — У стен есть уши, и я поневоле вынуждена была принять инкогнито и хранить его, чтобы избавиться от преследования этих развратных тварей. Скажите, вы ведь исполните мою просьбу? Ну, смотрите на это как на шутку... на безобидную игру... Право же...

Она замолчала.

Клаус-Генрих сидел прямо, в чопорной позе, на плетеном стуле и не спускал глаз с графини. Прежде чем покинуть свои строгие ампирные апартаменты, он при помощи камердинера Неймана совершил туалет с той тщательностью, какой требовало его протекавшее у всех на виду существование. Пробор начинался над левым глазом и шел наискось до самой макушки, так что там наверху не только что прядка, даже волосок не топорщился, а справа волосы были зачесаны над лбом компактной волной. В плотно прилегающем форменном сюртуке с высоким стоячим воротником, что способствовало строгой выправке, с майорскими эполетами из серебряной канители на узких плечах, сидел он, слегка прислонясь к спинке стула, но не позволяя себе ни малейшей поблажки, весь собранный, подтянутый, одна нога чуть выдвинута вперед, а левая рука прикрыта правой на эфесе сабли. На его юном лице бессодержательная, одинокая, строгая и трудная жизнь оставила следы

усталости; однако он смотрел в лицо графине с приветливым, ясным и неуклонно сдержанным выражением.

Она замолчала. Разочарование и скорбь отразились на ее лице, в утомленных бессонницей серых глазах промелькнуло что-то похожее на ненависть, и в окраске лица произошла удивительная перемена, одна половина его вспыхнула, другая побледнела. Опустив ресницы, графиня ответила:

— Я живу в семействе Шпельман три года, ваше королевское высочество.

Персеваль вдруг так и взвился. Приплясывая, виляя, пружинящей рысью устремился он навстречу своей хозяйке, величаво встал на задние лапы, когда Имма Шпельман вошла в зимний сад, и в знак приветствия положил передние лапы ей на грудь. Пасть его была открыта, между крепкими белыми зубами высывался кроваво-красный язык. В такой позе он напоминал геральдического зверя.

Она была чудесно одета: в домашнем платье из кирпичного шелка-сырца, рукава свободно свисающие, разрезные, и во всю грудь вставка из тяжелой золотой вышивки. Большой яйцевидный драгоценный камень на жемчужной цепочке украшал ее обнаженную шею, по цвету схожую с обкуреной морской пенкой. Иссиня-черные волосы, зачесанные на косой пробор и закрученные простым узлом, норовили упасть прямыми прядями на лоб и на виски. Обхватив седовласую голову Персеваля своими красивыми по-детски тоненькими пальчиками без колец, она сказала, наклонившись к самой его морде:

— Ну... ну... здравствуй, дружок. Что за встреча! Мы истосковались оба, изныли в разлуке. Здравствуй, здравствуй! А теперь ступай на свое место. — Она сняла его лапы с золотой вышивки на своей груди и отступила в сторону, чтобы он стал на все четыре ноги.

— Ах, принц! Добро пожаловать в Дельфиненорт, — сказала она. — Я вижу, вам претит нарушать слово. Посидим тут. Нас позовут к чайному столу... Должно быть, я поступила против всяких правил, заставив себя ждать. Но меня позвал отец, а вас пока что занимали беседой. — Ее блестящие глаза с некоторым сомнением поглядывали попеременно на Клауса — Генриха и на графиню.

— Да, мы побеседовали, — ответил он, затем задал вопрос о самочувствии мистера Шпельмана и получил удовлетворительный ответ. Мистер Шпельман будет иметь удовольствие познакомиться с Клаусом — Генрихом за чаем, а пока просит извинить его... Что это за прелестная пара лошадей запряжена в карету Клауса-Генриха?

И они заговорили о своих любимых лошадях, о добродушном гнедом Флориане Клауса-Генриха, выращенном на Голлербруниском конном заводе удельного ведомства, об Имминой арабской кобыле Фатьме, белой, как кипень, которую мистер Шпельман получил в подарок от одного восточного властителя, о резвых венгерских рыжих, которых для фрейлейн Шпельман запрягали четверкой...

— Ас окрестностями вы познакомились? — спросил Клаус-Генрих. — Побывали уже в великогерцогском охотничьем заповеднике? В саду Фазанника? Тут много приятных прогулок.

Нет, фрейлейн Шпельман на редкость не способна находить новые места, а о графине и говорить нечего, — ей по натуре чужда всякая предприимчивость. Потому-то они и облюбовали для верховых прогулок все те же дорожки городского сада. Пожалуй, это скучновато, но фрейлейн Шпельман вообще не избалована новизной и занимательными приключениями. Тогда он сказал, — что им следует как-нибудь в хорошую погоду проехать в охотничий заповедник или в замок Фазанник, на что она, выпятив губки, ответила, что это, пожалуй, можно на всякий случай иметь в виду. Но тут появился дворецкий и торжественно возвестил, что чай подан.

Они прошли через увешанную гобеленами аванзалу с мраморным камином, впереди важно выступал butler, рядом, приплясывая, бежал Перси, а замыкала шествие графиня Левенюль.

— Графиня, должно быть, наболтала вам невесть чего? — на ходу спросила Имма, даже не понижая голоса.

Клаус-Генрих испуганно опустил глаза.

— Ведь она может услышать! — шепотом проговорил он.

— Нет, она не слушает, — ответила Имма, — я научилась читать по ее лицу. Когда она так вот наклоняет голову и щурит глаза — значит, она вне жизни и поглощена своими мыслями. Но все-таки она успела вам наболтать?

— Слегка, — признался Клаус-Генрих. — У меня создалось впечатление, что графиня по временам дает волю своей фантазии.

— Она очень много выстрадала. — При этом Имма посмотрела на него испытующим взглядом больших черных глаз, как смотрела на каждом шагу в Доротеинской больнице. — Я расскажу вам в другой раз. Это целая история.

— Да, — подхватил он. — В другой раз. В следующий раз. Скажем, по дороге.

— По дороге?

— Ну да, по дороге в охотничий заповедник или в Фазанник.

— Ах, я и забыла, как добросовестно выполняете вы то, о чем уговариваетесь. Хорошо, пусть будет по дороге. Здесь ступеньки вниз.

Они очутились в задней части дворца. Из галереи, сплошь завешанной большими картинами, несколько устланных ковром ступенек вели вниз, в белую с позолотой боскетную, высокая стеклянная дверь которой выходила на террасу. Все здесь — и большая хрустальная люстра, висевшая посреди белого лепного потолка, и симметрично расставленные золоченые кресла с затканной цветами обивкой, и белые шелковые драпировки, падающие тяжелыми складками; и помпезные стоячие часы, и вазы, и золоченые-шандалы на белой мраморной доске камина перед высоким стенным зеркалом; и огромные позолоченные канделябры на львиных лапах, возвышавшиеся по обе стороны входной двери, — словом, все напоминало Клаусу-Генриху парадные покои Старого замка, где он с детских лет привык нести службу, только здесь свечи были поддельные с излучающими золотистый свет электрическими лампочками вместо фитилей, и все у Шпельманов во дворце Дельфиненорт было в прекрасном состоянии и блистало новизной. Отороченный лебяжьим пухом лакей заканчивал в одном из углов комнаты сервировку чайного стола; Клаус-Генрих остановил взгляд на самоваре, нагревавшемся электричеством, о котором прочел в «Курьере».

— Господину Шпельману доложили? — спросила молодая хозяйка дома.

Дворецкий утвердительно склонил голову.

— Значит, ничто не мешает нам сесть за стол и приступить к чаепитию без отца, — с нарочитой высокопарностью заявила она. — Идемте, графиня! А вам, принц, я бы посоветовала снять оружие, если только этому не препятствуют причины, не доступные моему пониманию...

— Благодарю, — ответил Клаус-Генрих. — Этому ничто не препятствует. — У него сжалось сердце от досады на неумение найти более меткий ответ.

Лакей взял у него саблю и унес куда-то через галерею. Они уселись за чайный стол при содействии дворецкого, который придерживал кресла за спинки и пододвигал их. А затем отошел и в декоративной позе замер на самой верхней ступеньке.

— Надо вам сказать, принц, — начала фрейлейн Шпельман, наливая кипятка из самовара, — что отец пьет чай только, когда я сама готовлю его. Он относится недоверчиво к чаю, который подают

разлитым по чашкам. У нас это возбраняется. И вам придется примириться с этим.

— О, так еще приятнее, — возразил Клаус-Генрих, — так вот за семейным столом чувствуешь себя гораздо уютнее и непринужденнее... — Он оборвал фразу, недоумевая, почему графиня Левенюль искоса метнула на него враждебный взгляд. — Смею осведомиться, как идут ваши занятия, мадемуазель? — спросил он. — Я слышал, вы изучаете математику? Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для головы?

— Ничуть, — ответила она. — Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, паришь в воздухе или даже в безвоздушном пространстве. Никакой пыли там нет. И веет свежестью, как в Адирондаксе...

— Где?

— В Адирондаксе. Это из области географии, принц. Лесистые холмы и очаровательные озера там, за океаном. У нас в Адирондаксе вилла, где мы проводили май месяц. На лето мы всегда уезжали к морю.

— Как бы то ни было, я могу засвидетельствовать, сколь ревностно вы относитесь к науке, — сказал он. — Вы не терпите помех на своем пути, когда спешите на лекцию. Кстати, я не спросил, успели вы тогда вовремя?

— Когда?

— Ну, несколько недель назад. После задержки у кордегардии.

— Ах, господи, и вы о том же, принц! Об этой истории, по-видимому, толкуют и во дворце и в хижине. Знай я, какой из-за этого поднимут шум, я бы лучше три раза обошла вокруг Замковой площади. Говорят, об этом даже в газете писали. Немудрено, если весь город считает меня теперь каким-то исчадием ада, не знающим удержу. А в действительности я самое миролюбивое существо на свете и только не люблю, когда мною командуют. Графиня, скажите прямо — я, по-вашему, исчадие ада?

— Нет, вы добрая, — ответила графиня Левенюль.

— Ну — добрая, слишком сильно сказано, это уже перегиб в другую сторону...

— Нет, поспешил вставить "Клаус-Генрих, — нет, не перегиб. Я твердо верю графине...

— Весьма лестно. А как же вы, ваше высочество, узнали об этом приключении? Из газеты?

— Я сам был очевидцем, — ответил Клаус — Генрих.

— Очевидцем?

— Да, мадемуазель. Я случайно очутился у окна офицерской караульни и собственными глазами видел все от начала до конца.

Фрейлейн Шпельман покраснела. Да, ошибки быть не могло

жемчужная белизна ее своеобразного личика приняла более яркую окраску.

— Что ж, готова допустить, что у вас в ту минуту не было лучшего занятия, принц, — сказала она.

— Лучшего? — воскликнул он. — Да ведь это было чудесное зрелище! Клянусь, мадемуазель, никогда в жизни я не...

Персеваль все время лежал подле фрейлейн Шпельман, грациозно скрестив передние лапы, а тут вдруг он поднял голову с напряженно сосредоточенным видом и принялся бить хвостом по ковру. В тот же миг зашевелился и дворецкий. Стремительно, насколько позволяла ему дородность, сбегал он по ступенькам, направился к высокой боковой двери, напротив чайного стола, и быстро подхватил шелковую драпировку, величественно вздернув при этом свой двойной подбородок. В гостиную вошел Самуэль Шпельман, миллиардер.

У него была пропорциональная фигура и необычный склад лица. Между гладко выбритыми щеками, на которых горели лихорадочные пятна, выдавался крупный и очень прямой нос, а близко посаженные круглые глазки неопределенного цвета, но очень блестящие, как у маленьких детей или животных, глядели рассеянno и сердито. Со лба шла большая лысина, но на затылке и на висках росло еще много седых волос, которые господин Шпельман носил не по-нашему, ие короткими и не длинными, а пышно зачесанными вверх; только сзади они были подстрижены! и выбриты вокруг ушей. Рот у него был небольшой, изящно очерченный. Одет он был в черный долгополый сюртук с бархатным жилетом, на котором змеилась длинная тонкая старомодная цепочка, на маленьких ножках — мягкие кожаные башмаки; озабоченно насупившись, быстро направился он к чайному столу, но лицо у него радостно просветлело и смягчилось, как только он увидел дочь. Имма пошла ему навстречу.

— Здравствуй, достопочтенный папочка, — сказала она и, обвив его шею смуглыми полудетскими руками, выступавшими из разрезных кирпичных шелковых рукавов, она поцеловала его в лысину, которую он подставил ей, пригнув голову.

— Надо надеяться, ты осведомлен, что сегодня с нами пьет чай принц Клаус-Генрих? — продолжала она.

— Нет, рад, очень рад, — скороговоркой скрипучим голосом произнес господин Шпельман. — Прошу вас, не беспокойтесь! — так же скороговоркой добавил он.

Пожимая своей худощавой, наполовину прикрытой некрахмальной

манжетой рукой руку принцу, который стоял в строго официальной позе у стола, господин Шпельман несколько раз мотнул головой куда-то вбок. Вот каким образом приветствовал он Клауса-Генриха. Но он был иностранец, человек больной и поставленный в особое положение своим богатством. Все чудачества надо прощать ему заранее — Клаус-Генрих это понимал и добросовестно старался совладать с собственной растерянностью.

— ...должны по праву чувствовать себя почти дома, — добавил господин Шпельман, проглотив титул, и на его бритых губах мелькнула злобная усмешка. Затем он сел за стол, чем подал пример остальным. Дворецкий подвинул ему стул между Иммой и Клаусом-Генрихом напротив графини и дверей на террасу.

Так как господин Шпельман явно не собирался извиняться за свое опоздание, Клаус-Генрих сказал:

— Я с сожалением услышал, что вам сегодня было нехорошо, господин Шпельман. Надеюсь, сейчас вам лучше?

— Спасибо, лучше, но не вполне хорошо, — скрипучим голосом ответил господин Шпельман. — Сколько ложек ты насыпала? — спросил он у дочери; он имел в виду, сколько ложек чаю она заварила.

Она успела налить ему чай.

— Четыре, — ответила она. — По одной на каждого. Никто не посмеет сказать, что я держу своего старенького папочку в черном теле.

— Что такое? Вовсе я не старый, — возразил господин Шпельман. — Не худо бы тебе подрезать язычок. — И он взял из серебряной вазочки какое-то печенье, по-видимому приготовленное специально для него, отломил кусочек и сердито окунул его в золотистый чай, а чай он пил, как и дочь, без сливок и сахара.

Клаус-Генрих возобновил разговор:

— Я предвкушаю удовольствие от осмотра вашей коллекции, господин Шпельман.

— Да, верно, — ответил Шпельман. — Интересуюсь бокалами. Тоже любитель? А может, и коллекционер?

— Нет, до коллекционерства при всем своем интересе я еще не дошел, — сказал Клаус-Генрих.

— Времени нет? — спросил господин Шпельман. — Разве офицерская служба отнимает много времени?

— Я больше не несу службы, господин Шпельман. Я оставлен при моем полку и сохранил его мундир, вот и все.

— Ну да, для виду, — скрипуче протянул Шпельман. — А что ж вы

делаете целый день?

Клаус-Генрих перестал пить чай и отодвинул чашку, потому что этот разговор требовал от него сугубого внимания. Он сидел выпрямившись и держал ответ, чувствуя на себе испытующий взгляд больших черных глаз Иммы Шпельман.

— Я исполняю определенные обязанности при дворе во время торжеств и церемоний. Я представляю также в военном ведомстве при приведении к присяге рекрутов и освещении знамени. Затем я заменяю моего брата, великого герцога, на приемах. Добавьте к этому обязательные поездки в ближние города нашей страны на открытия, освящения и прочие общественные празднества.

— Так, так, — подхватил господин Шпельман. — Церемонии, празднества. Все для зевак. Я в этом смысла не вижу. И скажу вам once for all, ^[11] ваши занятия я ни во что не ставлю. That's my standpoint, sir. ^[12]

— Я вас вполне понимаю, — сказал Клаус-Генрих. Он сидел выпрямившись в узком майорском сюртуке и страдальчески улыбался.

— Впрочем, даже и это, верно, требует сноровки, — несколько смягчившись, продолжал господин Шпельман. — Да, должно быть, и сноровки и обучения. Я вот, кажется, до конца дней не перестану злиться, когда из меня делают редкостного зверя.

— Надеюсь, наш народ выказывает вам должное уважение, — заметил Клаус-Генрих.

— Благодарю, жаловаться не на что, — ответил господин Шпельман. — Люди тут хоть добродушные; по крайней мере не видно, что они жаждут вашей крови, когда глазеют на вас.

— Вообще мне будет приятно услышать, господин Шпельман, — Клаус-Генрих почувствовал себя снова в своей тарелке с тех пор, как по ходу разговора вопросы стал задавать он, — что, несмотря на непривычную обстановку, вы освоились у нас.

— Благодарю, я здесь at ease ^[13] — ответил господин Шпельман. — Главное, здешняя вода — единственная, которая мне помогает.

— Вам не тяжело было расставаться с Америкой?

Клаус-Генрих поймал взгляд, не понятный ему, быстрый, недоверчивый взгляд исподлобья.

— Нет, — отрезал господин Шпельман скрипучим голосом. Вот и все, что он ответил на вопрос, тяжело ли ему далась разлука с Америкой.

Наступило молчание. Графиня Левенюль склонила набок свою гладко причесанную на пробор голову и улыбалась мечтательной ангельской

улыбкой. Фрейлейн Шпельман не спускала с Клауса-Генриха своих блестящих черных глаз, словно допытывалась, какое впечатление производит на гостя подчеркнутая резкость отца, — Клаусу-Генриху казалось даже, что она спокойно, как чего-то естественного, ждет, чтобы он встал и распрощался навсегда. Он встретился с ней взглядом и остался. А господин Шпельман вынул из золотого портсигара плоскую сигарету, и, когда закурил, от нее пошел тонкий аромат.

— Угодно курить? — только после этого спросил он.

И Клаус-Генрих, решив, что теперь уже все равно, вынул после Шпельмана сигарету из протянутого ему портсигара.

Затем, до того как приступить к осмотру стекла, поговорили еще на разные темы, главным образом Клаус-Генрих и фрейлейн Шпельман, — графиня куда — то унеслась мыслями, а господин Шпельман лишь время от времени бросал скрипучую реплику; речь зашла о местном Придворном театре и об океанском пароходе, на котором Шпельманы совершили путешествие в Европу. Нет, не на собственной яхте. Она служила главным образом для того, чтобы в летний зной, когда Имма с графиней жили в Ньюпорте, а дела удерживали господина Шпельмана в городе, он мог вечером выходить в море и даже ночевать на палубе. Теперь яхта опять стоит на якоре в Венеции. Океан же они пересекли на пароходе-гиганте, плавучем отеле с концертными залами и спортивными площадками. У него было пять этажей, сказала фрейлейн Шпельман.

— Считаю снизу? — спросил Клаус-Генрих.

— Разумеется. Сверху их было шесть, — ответила она, не задумываясь.

Он был сбит с толку, ничего уже не соображал и долго не мог понять, что над ним смеются. Потом попытался объяснить и оправдать свой нелепый вопрос, уверял, что хотел узнать, считает ли она и помещения под водой, если можно так выразиться, подвальные помещения, — словом, силился доказать, что он не так уж глуп, а под конец и сам засмеялся над своими несостоятельными попытками. По поводу придворных спектаклей фрейлейн Шпельман, выпятив губы и покрутив головкой, заметила, что актрисе на роли инженерю следует настоятельно рекомендовать курс лечения в Мариенбаде, а также уроки танцев и хороших манер, актеру же на главные роли не мешает внушить, что таким благозвучным голосом, как у него, надо пользоваться с величайшей осмотрительностью даже в частной жизни... не в ущерб ее, фрейлейн Шпельман, уважению к этому храму искусства будь сказано.

Клаус-Генрих смеялся и дивился такой находчивости, а сердце у него

чуточку щемило. Как она хорошо говорит, какие меткие и яркие подбирает выражения!

В разговоре коснулись также оперных и драматических спектаклей, идущих в этот сезон, и фрейлейн Шпельман противоречила каждому суждению Клауса — Генриха, наобум, лишь бы противоречить, словно ей казалось унизительным не противоречить ему, и своим острым и резвым язычком в один миг расправлялась с ним; ее большие черные глаза сияли на жемчужно — матовом личике от удачно подобранного словечка, а господин Шпельман, откинувшись на спинку кресла и повернувшись боком, с зажатой между бритыми губами плоской сигаретой, щурился от дыша и поглядывал на дочку нежно и одобрительно.

Клаус-Генрих не раз чувствовал, что лицо у него так же страдальчески передергивается, как у бедняжки старшей сестры в Доротеинской больнице, и все-таки он почти не сомневался, что у Иммы Шпельман нет намерения обидеть, что она не считает собеседника униженным оттого, что он не способен дать ей отпор, и даже наоборот старается выставить в лучшем свете его убогие возражения и делает вид, будто он может обойтись без помощи колкого словца, а она — нет.

Но как это получалось, почему? Некоторые ее остроты приводили ему на ум Юбербейна, краснобая и задиру Юбербейна, обездоленного от рождения и выросшего в условиях, которые сам он считал благоприятными. Нищенская юность, одиночество, ни намек на счастье — ибо оно удел бездельников. От этого не раздобреешь, не разнежишься, а твердо и ясно знаешь, что рассчитывать можешь только на собственную смекалку, такое положение дает бесспорное преимущество перед теми, кому «это не нужно». Но Имма Шпельман в красном с золотом платье удобно сидела у стола, небрежно откинувшись, с капризной гримаской балованного ребенка, окруженная прочным довольством, а в речах ее была такая же язвительность, что и там, где это необходимое оружие, где без проницательности, настороженности и беспощадной «к-1 роты ума не проживешь. Почему же? Клаус-Генрих и ю всех сил старался до этого додуматься, в то время #9632;vjiK речь шла об океанских пароходах и театральных представлениях. Выпрямившись, храня безупречную «поправку и не позволяя себе ни малейшей поблажки, < идед он за столом, прятал левую руку и временами ловил искоса брошенный на него ненавидящий взгляд графини Левенюль.

Появился лакей и на серебряном подносе подал юсподину Шпельману телеграмму. Шпельман сердито нскрыл ее, проглядел, щурясь и зажав в уголке рта окурок сигареты, бросил ее обратно на поднос и кратко

распорядился: «Мистеру Флебсу». После чего он с недовольной миной закурил новую сигарету.

— Наперекор строгому предписанию врача, это уже будет пятая сигарета за сегодняшний день, — заметила фрейлейн Шпельман, — не скрою от тебя, что твоим сединам не пристало с такой необузданной страстью предаваться этому пороку.

Видно было, что господин Шпельман сделал попытку засмеяться, но эга попытка ему не удалась, он не мог стерпеть резкий и язвительный тон дочери, и кровь прилила у него к голове.

— Замолчи! — злобно проскрипел он. — Ты считаешь, что в шутку можно все сказать. Но я запрещаю тебе дерзить, болтунья!

Клаус-Генрих в смятении посмотрел на Имму, а она большими испуганными глазами уставилась на злое лицо отца, а потом печально опустила черноволосую головку. Должно быть, ей самой нравилось шутливо оперировать такими грозными, громкими и непривычными словами, она рассчитывала вызвать смех, но попала неудачно.

— Ну, папочка, маленький мой папочка! — просительно сказала она и, обойдя вокруг стола, погладила разгоряченную щеку Шпельмана.

— Подумаешь, сама ты очень большая, — все еще не сдаваясь, проворчал он. Но потом позволил, чтобы она приласкала его, подставил лысину для поцелуя и совсем растаял. Когда мир был восстановлен, Клаус — Генрих напомнил о стекле, и все, за исключением графини Левенюль, которая удалилась с глубоким реверансом, встали из-за стола и направились в соседний зал, где была размещена коллекция. Господин Шпельман мимоходом зажег электрические свечи в люстрах.

Прекрасные витрины в стиле всего дворца, пузатые, с выпуклыми застекленными дверцами, были расставлены вдоль всех четырех стен, а в промежутках стояли нарядные стульчики. В витринах помещалась коллекция господина Шпельмана. Да, это было явно самое полное собрание в старом и новом свете, и бокал, купленный Клаусом-Генрихом, представлял собой только скромный его образчик. Начиналось оно в одном из углов зала с древнейших предметов роскоши такого рода, с варварски расписанных находок эпохи первобытных культур, далее шли художественные изделия востока и запада последовательно всех времен; тут были разнообразные по форме, отделанные гирляндами, вычурные вазы и кубки работы венецианских стеклодувов и драгоценные экземпляры богемских заводов, немецкие кружки, щедро украшенные эмблемами цехов и курфюрстов, вперемежку с карикатурными звериными рожами и юмористическими картинками; большие хрустальные кубки,

напоминающие «Счастье Иденхолла» из народной баллады, в чьих гранях искрился, преломляясь, свет; чаши рубинового стекла, пылающие подобно святому Граалю и, наконец, благородные образы современного искусства, свидетельствующие о его расцвете в наши дни, венчики цветов из тончайшего стекла на хрупких стеблях и художественные вещицы модной причудливой формы, которые были покрыты парами благородных металлов, что придало им переливчатый цвет. Втроем, сопровождаемые Персевалем, который тоже принимал участие в осмотре, медленно проходили они по коврам; вокруг зала, и господин Шпельман скрипучим голосом рассказывал историю отдельных предметов, и, при этом бережно брал их с обитых бархатом половою художавой рукой, наполовину прикрытой некрахмальной манжетой, и поднимал к электрическому ногу.

Клаус-Генрих так был приучен обозревать, расспрашивать и высказывать лестные похвалы, что мог, и силу своего богатого опыта, в то же время думать о способе выразиться Иммы Шпельман, странном способе, который болезненно задевал его. Чего только она не говорила, выпятив губки! Какие слова походя срывались у нее с языка! «Страсть», «порок» — где она узнала их, чтобы так смело оперировать ими? Ведь графиня Левенюль, хоть и сама сбивчиво лепетала о чем-то подобном и, очевидно, немало испытала страшного, однако же говорила, что Имма ровно ничего не знает о жизни. И это, безусловно, иерпо, потому что она, подобно ему, Клаусу-Генриху, была исключительным случаем от рождения, тоже росла в «святой простоте», отгороженная от мирской суеты, непричастная всем мерзостям, которые в обычной жизни определяются этими громкими и грозными словами. Она усвоила только слова и забавы ради вставляла их в свои искусно отшлифованные фразы. У ла, конечно, это колючее и нежное создание в красно-молотом платье жонглирует фразами, о жизни оно не знает ничего, кроме слов, оно играет самым серьезным и страшным, как разноцветными камешками, и не понимает, что может кого-нибудь огорчить! Когда Клаус-Генрих до этого додумался, сердце его преисполнилось жалости.

Только около семи часов он попросил послать за его каретой, несколько обеспокоившись, как посмотрят двор и общество на столь продолжительный визит. Когда он собрался уйти, Персеваль снова впал в дикую ярость. Благородный пес породы колли терял душевное равновесие от малейшей помехи или перемены в существующем положении вещей. Дрожа всем телом, заливаясь бешеным лаем, носился он по комнатам, по аванзале, вверх и вниз по лестнице, так что слова прощания тонули в неистовом гаме, и ничто не могло его усмирить. Дворецкий проводил

принца через весь вестибюль со статуями богов.

Господин Шпельман не тронулся с места. Фрейлейн Шпельман удалось вставить фразу:

— Не сомневаюсь, что вы, принц, восхищены пребыванием в лоне нашей семьи. — И неясно было, то ли она смеется над выражением «в лоне семьи», то ли над сутью сказанного. Так или иначе, Клаус-Генрих не нашел, что ответить.

Он забился в угол кареты и, травмированный, разбитый, но и освеженный столь непривычным обращением, ехал через темный городской сад домой, в Эрмитаж, в свои неуютные ампирные апартаменты, где и отужинал с господами фон Шуленбург-Трессеном и Браунбарт-Шеллендорфом. На следующий день он прочел заметку в «Курьере». В ней кратко сообщалось, что его королевское высочество принц Клаус — Генрих изволил вчера откусать чай во дворце Дельфиненорт и осмотреть знаменитую коллекцию художественного стекла, собранную господином Шпельманом.

И Клаус-Генрих продолжал вести свою бессодержательную жизнь и осуществлять свое высокое назначение. Он произносил милостивые слова, делал положенные жесты, представлял при дворе и на балу у председателя государственного совета, давал общедоступные аудиенции, завтракал в офицерском собрании лейб-гренадеров, показывался в Придворном театре и удостаивал тот или иной город своим высоким присутствием. Улыбаясь и сдвинув каблуки, соблюдал он все правила этикета и с безупречной выдержкой выполнял свой тяжелый долг, хотя ему в ту пору было о чем поразмыслить: о вспыльчивом господине Шпельмане, о повредившейся в уме графине Левенюль, о неистовом Перси и особенно о хозяйской дочери Имме. На многие вопросы, вставшие перед ним после первого визита в Дельфиненорт, он пока еще не находил ответа и уяснил себе многое лишь из дальнейшего общения с домом Шпельманов, которое усиленно поддерживал, возбуждая напряженный, впоследствии даже лихорадочный интерес публики, а начал он с того, что однажды ранним утром, неожиданно для господ, я ля прислуги и для самого себя, в известной мере помимо собственной воли, так сказать покорствуя судьбе, прибыл один, верхом, в Дельфиненорт, чтобы пригласить на прогулку фрейлейн Имму, чем вдобавок помешал ее занятиям математикой.

В этот достопамятный год власть зимы была сломлена очень рано. После январской оттепели уже в середине февраля яркое солнце, птичий щебет и мягкий иетерок возвестили начало весны, и когда в первый такой благодатный денек Клаус-Генрих проснулся утром у себя в Эрмитаже на

своей старинной широкой кровати красного дерева, где с верхушки одной из колонок давно исчез точеный шар, его словно коснулась властная рука и подвигла на решительные поступки. Он дернул шнурок (в Эрмитаже водились только старинные сонетки) и, когда на звонок явился Нейман, приказал, чтобы через час оседлали Флориана. А для лакея тоже приготовить лошадь? Нет, ни к чему. Клаус-Генрих заявил, что поедет один. Затем отдался для утреннего туалета в добросовестные неймановские руки, торопливо позавтракал внизу, в боскетной, и у ступенек небольшой террасы вскочил в седло, вставил ботфорты со шпорами в стремяна, взял в правую руку, обтянутую коричневой перчаткой, желтый ременный повод, подбоченился левой под распахнутой шинелью и шагом выехал навстречу ясному утру, отыскивая в голых еще ветвях звонко щебетавших птиц. Он проехал открытую для публики часть своего парка, проехал городской сад и территорию Дельфиненорта. В половине десятого он прибыл, возбуждив всеобщее изумление.

У главного портала он передал Флориана на попечение английского груга. Дворецкий как раз шел по хозяйственным делам через вестибюль с мозаичным полом, но, увидев Клауса-Генриха, застыл на месте от потрясения. Когда принц звонким и даже задорным голосом осведомился о дамах, дворецкий ничего не ответил, а растерянно повернулся к мраморной лестнице и молча переводил взгляд с Клауса-Генриха на верхнюю площадку, ибо там стоял господин Шпельман.

Он, по-видимому, недавно позавтракал и был в благодушном настроении. Руки он засунул в карманы брюк, скомкав полы теплой домашней куртки, надетой поверх бархатного жилета, и щурился от голубоватого дыма собственной сигареты.

— А, молодой принц! — промолвил он и посмотрел вниз.

Клаус-Генрих, приложив руку к козырьку, взбежал на лестницу по красной ковровой дорожке: У него было такое чувство, будто всю несообразность! положения можно одолеть только стремительным натиском.

— Вы, должно быть, удивлены, господин Шпельман, — заговорил он, — в такой ранний час... — Он запыхался и сам испугался — это было ему совсем непривычно.

Господин Шпельман мимикой и пожатием плеч показал, что приучен ничему не удивляться, однако настоятельно желает получить объяснение.

— Дело в том, что мы условились... — сказал; Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже миллиардера и смотрел на него снизу, вверх. — Мы сговорились с фрейлейн Иммой покататься верхом. Я обещал

показать дамам Фазанник или охотничий заповедник. Фрейлейн Имма говорила мне, что почти совсем не знает окрестностей. Мы условились, в первый же хороший день... А сегодня так хорошо... Конечно, без вашего согласия...

Господин Шпельман пожал плечами и сделал такую гримасу, будто хотел сказать: «Моего согласия — вот как?»

— Дочь уже взрослая, и я обычно в ее дела не вмешиваюсь. Хочет ехать, пусть едет. Но, по-моему, у нее времени нет. Узнайте сами. Вон она там. — И господин Шпельман, отойдя в сторону, мотнул подбородком на дверь, завешанную портьерами, в которую Клаус-Генрих, уже входил однажды.

— Благодарю! — ответил Клаус-Генрих. — Да, лучше я пойду сам, — и он поднялся наверх, решительным жестом раздвинул гобеленные портьеры и спустился по ступенькам в залитый солнцем, напоенный запахом растений зимний сад.

Перед журчащим фонтаном и водоемом, где плакали утки в художественном оперении, спиной к входящим за маленьким столиком сидела Имма Шпельман. Волосы у нее были распущены. Иссиня-черными блестящими прядями ниспадали они на обе стороны, разделенные посередине пробором, закрывали плечи, так что из-за них только смутно виднелась четвертушка по-детски округлого личика, бледного, как слоновая кость, на фоне темных, как ночь, волос. Окутанная этой мантией, прижавшись губами к тыльной части узенькой левой руки и согнув крючком указательный палец правой она вечным пером исправляла записи лекций в лежащей перед ней тетради.

Здесь же находилась и графиня и тоже что-то писала. Только сидела она поодаль под группой пальм, где Клаус-Генрих впервые беседовал с ней, и строчила, не сгибаясь, склонив голову набок, а целая пачка густо исписанной почтовой бумаги лежала рядом.

Услышав звон шпор, она подняла взгляд. Держа длинную ручку на весу, она несколько секунд сощуренными глазами смотрела на Клауса-Генриха, потом встала и сделала реверанс.

— Имма, здесь его королевское высочество принц Клаус-Генрих, — объявила она.

Фрейлейн Имма круто повернулась в плетеном кресле, откинула волосы на спину и молча изумленным, испуганным взглядом смотрела на незваного гостя, пока Клаус-Генрих не отдал честь и не пожелал дамам доброго утра. Тогда она сказала своим ломающимся голоском:

— Доброго утра и вам, принц. Только вы опоздали к первому

завтраку. Мы давно кончили.

Клаус-Генрих засмеялся.

— Вот и хорошо, что оба мы позавтракали. Значит, можно сразу же ехать кататься.

— Кататься?

— Ну да, как мы уговаривались.

— Уговаривались?

— Неужели вы могли об этом забыть? — с трепетом сказал он. — Помните, я обещал показать вам окрестности? И мы собирались проехать вместе верхом в погожий день? Ну вот, погода чудесная! Взгляните сами...

— Погода недурная, — признала она, — но вы-то, принц, по-моему, ведете себя чересчур бурно. Помнится, правда, в перспективе предполагалась верховая прогулка, но так скоро? Не мешало бы хоть уведомить или, не в обиду вашему высочеству будь сказано, спросить предварительно. Согласитесь, что в таком виде я не могу скакать верхом по окрестностям?

И она встала, чтобы продемонстрировать свой утренний наряд — волны переливчатого шелка, не прилегающие в талии, и накинутое сверху зеленое бархатное фигаро.

— Увы, нет, — согласился он, — так ехать вы не можете. Но я подожду здесь, пока дамы переоденутся. Сейчас еще ведь рано...

— Даже весьма рано. Но, кроме того, я, как вы видели, собралась было мирно позаниматься. В одиннадцать у меня лекция.

— Нет, нет, фрейлейн Имма, — запротестовал он. — На сегодня оставьте вашу алгебру или парение в безвоздушном пространстве, как вы это называете. Посмотрите, как светит солнце... Разрешите? — Он подошел к столу и взял в руки тетрадь. От того, что он увидел, голова могла пойти кругом. По-детски неровно, жирно, от своеобразной манеры Иммы держать перо, все страницы сплошь были испещрены головокружительной абракадаброй, колдовским хороводом переплетенных между собой рунических писем. Греческие буквы перемежались латинскими и цифрами на различной высоте, среди них были вкраплены крестики и черточки, и все это было вписано над или под горизонтальной линией, наподобие дробей, перекрыто стрелками и домиками из других линий, приравнено друг к другу двойными штришками, круглыми скобками соединено в целые громады формул. Отдельные буквы, выдвинутые, точно часовые, были проставлены справа выше замкнутых и скобки групп. Каббалистические знаки, непостижимые для профана, обхватывали своими щупальцами буквы и цифры, им предшествовали

числовые дроби, и цифры и буквы витали у них в головах и в ногах. Повсюду были рассеяны непонятные слоги, сокращения загадочных слов, а между столбцами магических заклинаний шли целые фразы и заметки на обыкновенном языке, однако их смысл тоже был настолько выше нормальных человеческих понятий, что уразуметь их было не легче, чем волшебные наговоры.

Клаус-Генрих поднял взгляд на стоявшую возле него миниатюрную фигурку, окутанную переливчатым шелком и завесой черных волос. Подумать только, что в ее своеобразной головке все это приобретает смысл и жизнь и дает пищу для высокой игры ума!

— И ради этой черной магии вы готовы упустить такое прекрасное утро?

Несколько мгновений она недоуменно смотрела на него своими большими красноречивыми глазами. И наконец ответила, выпятив губки:

— По-видимому, вашему высочеству угодно взять реванш за недостаточное уважение к вашим собственным занятиям, высказанное здесь в прошлый раз.

— Нет, нет, ни в коем случае! — запротестовал он. — Даю вам слово, я благоговею перед вашей наукой. Только она пугает меня, потому что, каюсь, мне она всегда была недоступна. А сегодня, должен покаяться, она даже злит меня как помеха нашей прогулке.

— Да ведь вы не меня одну отрываете от дела, принц. Тут есть еще третье лицо-графиня. Она работала. Она записывает свои воспоминания, не для света, а для самого тесного круга. И ручаюсь вам, что в итоге получится произведение, из которого мы с вами, принц, почерпнем много для нас нового.

— Не сомневаюсь. Но я не сомневаюсь также, что графиня ни в чем не может отказать вам, фрейлейн Имма.

— А мой отец? Вот вам четвертый довод. Вы успели узнать зверский нрав моего отца. Даст ли он согласие?

— Дал уже. Хотите ехать — поезжайте. Это его подлинные слова...

— Вы успели заручиться его согласием? Дивлюсь вашей предусмотрительности, принц. Вы действовали прямо как полководец, хотя, по вашим же словам, вы не настоящий солдат, а только для видимости.! Кстати, есть еще и пятое возражение, и самое убедительное. Дождь будет.

— Ну, нет, это очень слабый довод. Небо лучше-1 зарное...

— Дождь будет. Слишком уж тепло. Я это по-* няла, когда мы до завтрака ходили к источнику. Не верите-пойдемте посмотрим на барометр.

Он висит в аванзале.

Они и в самом деле направились в завешанную гобеленами аванзалу, где рядом с мраморным камином висел большой барометр. Графиня тоже пошла с ними.

— Поднимается, — сказал Клаус-Генрих.

— Ваше высочество, вы изволите заблуждаться, — возразила фрейлейн Шпельман. — Вас обманывает параллакс.

— Что вы сказали?

— Вас вводит в заблуждение параллакс.

— Фрейлейн Имма, я не знаю, что это такое. Так же как и Адирондаке. Из-за моего образа жизни мне не пришлось много учиться. Вы должны быть снисходительны ко мне.

— О, прошу всемилостивейше простить меня. Как я могла забыть, что для вашего высочества надо выражаться популярнее. Вы стоите сбоку от стрелки, потому вам и кажется, что она идет вверх. Если бы вы сообразовали стать прямо перед ней, то увидели бы, что черная стрелка ничуть не выдвинулась над золотой, а даже чуть-чуть опустилась.

— В самом деле, вы, кажется, правы, — с грустью признал Клаус-Генрих. — Значит, давление воздуха выше, чем я предполагал?

— Нет, ниже, чем вы предполагали.

— Но ведь ртуть опустилась?

— Ртуть опускается при низком давлении, а не при высоком.

— Теперь я совсем запутался.

— Мне кажется, принц, вы в шутку преувеличиваете свое невежество, чтобы затушевать его пределы. Но раз давление воздуха так повысилось, что ртуть падает, хоть это и указывает на серьезные неполадки в природе, все-таки поедem кататься. Ваше мнение, графиня? Я не беру на себя смелости отослать принца домой, раз уж он приехал. Попросим его высочество посидеть в зимнем саду и подождать, пока мы оденемся...

Имма Шпельман и графиня вернулись в костюмах для верховой езды: Имма в наглухо закрытой черной шерстяной амазонке с прорезными карманами на груди и в черной фетровой треуголке, а графиня в амазонке из черного сукна с крахмальной мужской манишкой и в цилиндре. Все трое спустились с лестницы и через мозаичный вестибюль вышли на воздух, где между колоннадой портала и большим бассейном два грума ждали с лошадьми. Но не успели все усесться в седло, как из дверей, заливаясь оглушительным визгливым лаем, признаком высшей степени возбуждения, с яростной стремительностью урагана выскочил, брызгая слюной, пес

Персеваль и закружился в буйной пляске вокруг лошадей, которые беспокойно вскидывали головы.

— Этого еще не доставало, — сквозь неистовый гам выговорила Имма и похлопала испуганную Фатьму по шее. — От него не скроешься. В последнюю минуту все пронюхал. А теперь он отправится с нами и поднимет вокруг всего этого дела ненужный шум. Не отложить ли нашу затею, принц?

Хотя Клаус-Генрих понимал, что с таким же успехом можно было прихватить с собой форейтора, который дул бы в серебряную трубу и привлекал внимание публики к их эскападе, однако он упрямо и весело заявил, что не возражает против Персеваля/, пусть как член семьи тоже познакомится с окрестностями.

— Так куда же? — спросила Имма, когда они шагом тронулись по широкой каштановой аллее. Она ехала между Клаусом-Генрихом и графиней. Персеваль бесновался впереди. Грум англичанин, с кокардой на шляпе и желтыми отворотами на сапогах, следовал, как положено, поодаль.

— Охотничий заповедник очень живописен, — ответил Клаус-Генрих, — но до Фазанника немного дальше, а у нас достаточно времени, успеем к завтраку. Мне хочется показать вам замок. Я прожил в нем мальчиком три года. Там, понимаете, был устроен интернат с учителями и другими воспитанниками. Я там познакомился с моим другом Юбербейном, с доктором Юбербейном, моим любимым учителем.

— У вас есть друг? — чуть не с изумлением спросила фрейлейн Шпельман и посмотрела на Клауса — Генриха. — Расскажите мне как-нибудь о нем. Значит, вы воспитывались в замке Фазанник? Тогда нужно его посмотреть, я вижу, таково и ваше мнение. Рысью! — скомандовала она, когда они свернули на немощеную дорожку. — А вот и ваша обитель, принц... У вас в пруду сколько угодно корма для уток... Если можно, хорошо бы оставить в стороне курортный парк.

Клаус-Генрих ничего не имел против этого, а потому они выехали из района парков и напрямик, полями, направились в сторону проезжей дороги, которая вела на северо-запад к намеченной ими цели. В городском саду немногие гуляющие провожали их изумленными взглядами и приветствиями, в ответ Клаус-Генрих прикладывал руку к козырьку, а Имма Шпельман серьезно и чуть смущенно наклоняла свою темную головку в треуголке. Теперь они были за городом, и новых встреч не предвиделось. Кое-где по шоссе тащилась крестьянская телега или, пригнувшись, работал педалями велосипедист. Но наши всадники держались луговых тропок по обочине, где лошадям мягче и вольнее было

ступать. Персеваль выплясывал перед лошадьми в непрерывном лихорадочном ожидании, в непрерывном движении, прыгал, вилял, вертелся волчком — задыхаясь, высунув язык по всю длину, брызгая слюной и время от времени и отрывистых повизгиваниях, похожих на стоны, давал выход бессмысленному терзанию своих нервов. А дальше он стал носиться по полям, насторожившись, короткими и резкими скачками бросался вдогонку какой-нибудь живности или ожесточенно преследовал промелькнувшего зайца и оглашал окрестный воздух залихватным лаем.

Разговор шел о Фатьме, Клаус-Генрих впервые видел ее вблизи и непритворно восхищался ею. Скосив огненные глаза, она высокомерно кивала своей изящной головой, сидящей на длинной мускулистой шее. Как полагается коням арабской породы, у Фатьмы были стройные ноги и серебристый развевающийся хвост. Сама белая, как лунный луч, она ходила под белым седлом с белыми подпругами и уздечкой из белой кожи. Флориан, довольно вялый гнедой с короткой спиной, подстриженной гривой и желтыми ногавками, казался рядом со знатной чужестранкой каким — то простецким ослом, хотя и был достаточно выхолен. Под графиней Левенюль была рослая буланая кобыла Изабо. Графиня превосходно сидела в седле, чему способствовала ее высокая статная фигура, хотя непропорционально маленькая голова в мужском цилиндре была наклонена вбок, а глаза сощурены так, что веки почти сходились. Клаус-Генрих обратился к ней, перегнувшись в седле за спиной фрейлейн Шпельман; но она не ответила, уставившись полуприкрытыми глазами в одну точку, с ангельским выражением лица.

— Оставим графиню в покое, принц, она поглощена своими думами, — сказала Имма.

— Мне было бы от души жаль, если бы графиня поехала с нами неохотно, — сказал он и был искренне изумлен, когда Имма Шпельман равнодушно ответила:

— Правду говоря, так оно и есть.

— Из-за своих записок? — спросил он.

— Что там записки! Это дело неспешное, вернее просто времяпрепровождение, хотя, между нами, я надеюсь извлечь из них много назидательного. Но должна сознаться, принц, что графиня отзывается о вас не слишком благожелательно. По крайней мере мне она говорила о вас именно в таком духе. По ее мнению, вы сухи и суровы и прямо-таки обдали ее холодом.

Клаус-Генрих покраснел.

— Я и сам знаю, фрейлейн Имма, — вполголоса начал он, опустив

глаза на поводья, — что во мне нет ничего такого, что бы согревало, разве только издалека. Это тоже связано с особенностями моей жизни, как я уже говорил. Но не помню, чтобы я был сух и суров с графиней.

— Вероятно, не на словах, — возразила Имма, — но вы не дали ей пофантазировать, не оказали ей милости поболтать с ней, потому она и в обиде на вас. Ясно вижу, как это у вас вышло, как больно вы сделали бедняжке, как обдали ее холодом, — мне все это ясно, — повторила она и отвернулась.

Клаус-Генрих молчал. Левой рукой он упирался в бедро, и глаза его выражали усталость.

— Вам это ясно, фрейлейн Имма? — спросил он наконец. — Значит, и на вас я действую расхолаживающе?

— Рекомендую вам, принц, ни в малейшей степени не переоценивать действие, которое вы на меня производите, — не задумавшись ни на миг, проговорила она своим ломающимся голосом и при этом выпятила губы и покрутила головкой. Затем сразу перевела Фатьму на галоп и с такой быстротой помчалась полем к темневшей вдали полосе соснового бора, что ни графиня, ни Клаус-Генрих не могли догнать ее. Только на опушке леса, через который пролегалo шоссе, она остановилась, повернула лошадь и с насмешливой гримаской стала поджидать поспешавших за ней спутников.

Графиня Левенюль на своей рослой Изабо первая очутилась возле беглянки. Затем подоспел храпящий и озадаченный таким непривычным аллюром Флориан. Смеясь и с трудом переводя дух, все трое въехали под гулкие своды леса. Графиня совсем очнулась и оживленно болтала, энергично и изящно жестикулируя и показывая свои белые зубы. Она шутливо принялась увещевать Персеваля, который снова зашелся после стремительного бега и в неистовстве вертелся перед лошадьми среди высоких стволов.

— Вы бы посмотрели, ваше королевское высочество, как он прыгает... как вольтижирует... Он с такой грацией и легкостью берет овраги и ручьи в шесть метров шириною, что любо-дорого смотреть. Но исключительно по собственной охоте, добровольно. Мне кажется, он скорее дал бы себя растерзать, чем подчинился дрессировке и стал делать фокусы по заказу. У него есть, так сказать, внутренняя, врожденная дрессировка и дисциплина, он может сколько угодно буйствовать, но грубым не бывает никогда. Это аристократ, дворянин благородных кровей и строгого нрава. О да, он — гордец, он представляется бешеным, но отлично умеет себя обуздывать. Никто ни разу не слышал, чтобы он визжал от боли, когда ему случалось пораниться или когда его наказывали. И пищу он принимает только если

голоден, а иначе отвергает самые лакомые куски. По утрам ему дают сливки... его надо хорошо питать. Его пожирает внутренний огонь, он ужасно худ, под шелковистой шерстью у него можно пересчитать все ребра, и, к несчастью, надо опасаться, что он не доживет до старости, а преждевременно погибнет от чахотки... Чернь его преследует, окружает, дразнит по всем переулкам; он же брезгливо отстраняется, но никогда не позволит себе грубости; только если дойдет до открытого насилия, он так укусит своими великолепными зубами, что эти плебеи долго будут его помнить. Такая рыцарственность в сочетании с таким целомудрием поистине достойна любви.

Имма горячо поддержала графиню — более искренних и непритворно серьезных слов Клаус-Генрих еще не слышал из ее уст.

— Да, Перси, ты мне верный друг, я никогда не оставлю тебя. Один специалист нашел его душевно больным, это будто бы не редкость среди породистых собак, и посоветовал умертвить его, потому что он невыносим и не даст нам ни дня покоя. Но я ни за что не расстанусь с моим Перси. Да, правда, он бывает несносен, и с ним иногда нелегко; но тем не менее он трогательный, добрый, и я всей душой расположена к нему.

После этого графиня опять заговорила о свойствах Персеваля, но вскоре речь ее стала сбивчива и непонятна, перешла на монолог с оживленной и изящной жестикуляцией; под конец, взглянув на Клауса — Генриха прищуренными глазами, она впала в свою обычную задумчивость.

Клаус-Генрих повеселел и утешился, то ли от бодрого галопы, — впрочем, ему пришлось порядком напрячь силы, потому что в седле он имел красивый, импозантный вид, но из-за левой руки ездил верхом не очень уверенно, — то ли по другой причине. Когда они выбрались из хвойного леса и шагом ехали по безлюдной дороге, между лугами и распаханными полями, среди которых редко-редко попадался крестьянский хутор или деревенский трактир, а впереди маячила новая роща, Клаус-Генрих, понизив голос, сказал:

— Может быть, вы исполните свое обещание, фрейлейн Имма, и расскажете про графиню? Каким образом она стала вашей компаньонкой?

— Она моя подруга и в известном смысле моя наставница, хотя она появилась у нас, когда я была уже взрослой. Это произошло три года назад в Нью — Йорке, графиня была тогда в отчаянном положении. Она умирала с голоду, — сказала Имма Шпельман и, говоря это, посмотрела на Клауса-Генриха своими большими черными испытующими глазами, в которых теперь выражался ужас.

— Неужели умирала с голоду? — переспросил он, отвечая ей таким

же взглядом. — Пожалуйста, рассказывайте дальше!

— Я тоже не могла этому поверить, когда она впервые пришла к нам, и хотя я, конечно, видела, что голова у нее не в порядке, она произвела на меня такое сильное впечатление, что я упростила отца взять ее ко мне в компаньонки.

— Как она попала в Америку? Она по рождению графиня? — спросил Клаус-Генрих.

— Не графиня, но дворянского рода, выросла в благополучной и мирной обстановке, по ее словам, на нее ветерку не давали подуть, потому что она с детских лет была болезненно чувствительна и нуждалась в особо бережном отношении. Но потом она вышла замуж за графа Левенюля, он был кавалерийский офицер, ротмистр, — но, по ее рассказам, аристократ довольно сомнительный, мягко выражаясь, отнюдь не образцовый.

— Что ж он был за человек? — спросил Клаус — Генрих.

— Этого я не могу вам точно сказать, принц. Примите во внимание, что графиня выражается несколько туманно. Но, судя по намекам, это был такой необузданный и бессовестный человек, что даже и вообразить себе нельзя... Ну, знаете, бывают такие распущенные люди...

— Знаю, знаю, — подхватил Клаус-Генрих, — что называется гуляка, жуир, кутила.

— Хорошо, назовем его кутилой, но самым что ни на есть разнузданным. Из намеков графини можно заключить, что для этого вообще нет предела...

— Мне кажется тоже, что нет, — подтвердил Клаус-Генрих. — Мне встречались люди такого типа, — как говорится, отчаянные головы. Об одном я слышал, что он, в своем автомобиле и притом на полном ходу, заводит романы.

— Вы это слышали от своего друга Юбербейна?

— Нет, из другого источника. Юбербейн нашел бы, что мне не подобает знать о таких похождениях.

— Значит, он никому не нужный друг.

— Когда я побольше расскажу вам о нем, фрейлейн Имма, вы оцените его. Но, пожалуйста, продолжайте.

— Ну, словом, я не знаю, поступал ли Левенюль так, как ваш жуир... Но вел он себя ужасно...

— Представляю себе — играл, пил.

— По всей вероятности, и это. Но, кроме того, он еще, как вы выражаетесь, заводил романы с безнравственными особами, — они ведь встречаются повсюду, — обманывал графиню, сначала тайком, но потом

даже и не тайком, а нагло, открыто, ничуть не щадя и не жалея ее.

— Но объясните мне, зачем она вышла за него замуж?

— Потому что влюбилась в него; вышла против воли родителей, так она мне сказала. Во-первых, когда они познакомились, он был красавец, потом-то он опустился и внешне. А во-вторых, за ним установилась репутация жуира, и это, по ее словам, оказало на нее особо притягательное действие. Недаром же она после того, как ее так опекали и оберегали, во что бы то ни стало решила соединить с ним свою судьбу, и разубедить ее не было возможности. Если подумать, это можно понять.

— Да, — подтвердил он. — Мне это понятно. Ей как бы хотелось отправиться на разведки, хотелось все испытать. Вот она и прошла огонь и воду и медные трубы.

— Конечно, можно сказать и так. Только выражение это чересчур фривольно для того, что ей довелось испытать. Муж бесчеловечно обращался с ней.

— Неужели бил?

— Да, поднимал на нее руку. Но то, что я расскажу вам сейчас, об этом даже вы, принц, никогда не слыхали. Она намеками дала мне понять, что он бил ее не только в гневе, не только в пылу раздражения, в разгар ссоры, но и без таких поводов, просто ради собственного удовольствия. Как это ни омерзительно, но побои были у него чем-то вроде любовных ласк.

Кlaus-Генрих молчал. У обоих был очень серьезный вид. Наконец он спросил:

— Были у графини дети?

— Да, двое. Они умерли совсем маленькими, оба прожили несколько недель, и это, пожалуй, самое тяжелое из всего, что выпало на ее долю. Она намекала, что дети не могли жить по вине тех безнравственных особ, с которыми муж ее обманывал.

Они снова замолчали. Глаза их выражали глубокое раздумье.

— Вдобавок он растратил на карты и женщин ее приданое, — продолжала Имма. — Приданое было довольно значительное, а после смерти ее родителей туда же пошло и все, что они ей оставили. Родственники графини еще раз выручили его, когда ему из-за долгов чуть не пришлось выйти в отставку. Но тут случилась какая-то совсем уж вопиющая позорная история и окончательно его погубила.

— Что же это за история? — спросил Klaus-Генрих.

— Точно не могу вам сказать, принц, но из отдельных слов графини можно заключить, что это было нечто в высшей степени постыдное, — мы

ведь с вами уже установили, что для этого вообще нет предела.

— Тут-то он и уехал в Америку?

— Угадали, принц. Не могу не отдать должного вашей проницательности.

— Ах, фрейлейн Имма, лучше рассказывайте дальше. Я никогда не слышал ничего похожего на то, что случилось с графиней...

— И я тоже. А потому можете судить, какое она на меня произвела впечатление, когда явилась к нам. Итак, граф Левенюль, спасаясь от преследования полиции, бежал в Америку, но, разумеется, оставил большие долги. Графиня поехала с ним.

— Поехала с ним? Зачем?

— Затем, что она все еще любила его и любит до сих пор, несмотря ни на что, и непременно желала разделить его участь. Он же, надо полагать, взял ее с собой только потому, что, пока она была с ним, он скорее мог рассчитывать на помощь ее родственников. Родные действительно один раз послали им за океан какую-то сумму, но потом окончательно отступились от них, и когда граф Левенюль увидел, что жена ничем ему не может быть полезна, он, не долго думая, бросил ее совершенно одну в нищете, а сам скрылся.

— Так я и знал, — сказал Клаус-Генрих. — Я так и предполагал. Так это и бывает.

Но Имма Шпельман продолжала рассказывать:

— И вот она очутилась без всяких средств, без помощи, а так как ее не научили зарабатывать себе на пропитание, она была безжалостно отдана во власть нужды и голода. А жизнь за океаном, как видно, еще суровее и беспощадней, чем здесь у вас, главное же надо принять во внимание, что графиня всегда была болезненно чувствительна, и вдобавок над ней столько лет подряд жестоко издевалась судьба. Словом, ей не под силу было выдержать те испытания, которым ее непрерывно подвергала жизнь. Вот тут-то ее и осенила благодать.

— Да, что это за благодать? Она и мне говорила о ней. Что она понимает под благодатью, фрейлейн Имма?

— Благодать заключалась в том, что у нее помутился ум, когда горе ее дошло до предела, в ней что-то надорвалось, — так она сама рассказывала мне, — и ей больше не надо было трезвым рассудком держать себя в узде и противостоять жизни. Она, так сказать, получила право давать себе иногда волю, сделать передышку и немножко поболтать. Словом, благодать заключалась в том, что она стала чудаковатой.

— У меня было такое впечатление, что графиня дает себе волю, когда

начинает болтать.

— Так оно и есть, принц. Она это отлично понимает и, болтая, тут же улыбается или старается вернуть, что никому ведь этим не вредит. Ее чуждость — это своего рода благодетельное помрачение рассудка, и она в известной мере по собственному произволу может допускать себя до него или нет. Если хотите это недостаток...

— Выдержки... — подсказал Клаус-Генрих и опустил глаза на поводья.

— Пусть будет выдержки, — согласилась она и посмотрела на него. — По-видимому, вы, принц, не одобряете вышеупомянутого недостатка.

— Да, я считаю, что давать себе волю и распугаться никак нельзя, — тихо ответил он, — наоборот, при всех обстоятельствах обязательно сохранять выдержку.

— Ваше высочество изволит прокламировать похвальную строгость нравов, — заметила она. И, выпятив губы, покрутив темной головкой в треуголке, добавила своим ломающимся голосом:—А теперь пот что я вам скажу, ваше высочество, и прошу припать мои слова во внимание. Если вашей высокой особе не благоугодно будет проявлять впредь хоть каплю сострадания, снисхождения и жалости, то мне с прискорбием придется раз навсегда лишиться себя нашего августейшего присутствия.

Он опустил голову, и они некоторое время ехали молча.

— А вы не хотите досказать, как графиня попала к вам? — спросил он наконец.

— Нет, не хочу, — ответила она, не глядя на него.

Но он так просил и молил, что она согласилась закончить свой рассказ.

— Это вышло очень просто. Графиня явилась к нам на Пятую авеню, так как услышала, что для меня ищут компаньонку немку. И хотя, кроме нее, явилось еще пятьдесят дам, я сразу же выбрала ее, — ведь выбор был предоставлен мне, — настолько сна покорила меня после первого же разговора. Я сразу заметила, что она какая-то чуждающая, но она стала такой оттого, что слишком хорошо узнала, как много на свете горя и какие бывают гадкие люди. Это чувствовалось в каждом ее слове, а дело в том, что я-то с детства была почти одинока, изолирована от жизни и ни о чем представления не имела. Университетские занятия не в счет!

— Ну да, вы с детства были почти одиноки и изолированы от жизни! — повторил Клаус-Генрих, и в голосе его прозвучала радость.

— Так я и сказала. Я вела довольно скучную и нелепую жизнь, да и сейчас продолжаю вести, ведь, в сущности, почти ничего не изменилось.

Везде одно и то же. Там бывали балы и вечера со знаменитыми артистами, а иногда меня отвозили в закрытом автомобиле в оперу, где мне была оставлена открытая ложа над самым партером, чтобы я была видна вся целиком, и я сидела for show, как говорят за океаном. Этого требовало мое положение.

— For show?

— Да, for show. Это обязательство выставлять себя напоказ, не воздвигать стен между собой и людьми, а, наоборот, допускать их в сады, чтобы они смотрели через лужайку на террасу, где мы сидим и пьем чай. Моему отцу, мистеру Шпельману, это было в высшей степени противно. Но этого требовало наше положение.

— А как вы жили остальное время, фрейлейн Имма?

— Что ж, весной уезжали в Адирондаке на свою виллу, а летом в Ньюпорт у моря на свою виллу. Там, разумеется, устраивались пикники, и цветочные корсо, и теннисные состязания, там катались верхом и в шарабане, запряженном четверкой, или в автомобиле, а люди останавливались и глазели на дочку Самуэля Шпельмана. А некоторые ругались мне вслед.

— Ругались?

— Да, надо полагать, у них были на это причины. Словом, мы жили какой-то ненастоящей, рассчитанной на гласность жизнью.

— А в промежутках, — подхватил он, — не правда ли, парили в безвоздушном пространстве, где нет пыли.

— Верно. Ваше высочество отличается поразительной сметкой. После всего этого вы поймете, как я обрадовалась появлению графини у нас на Пятой авеню. Она и вообще выражается довольно туманно, скорее даже загадочно, так что не всегда можно уловить момент, когда она начинает заговариваться. Но для меня именно это важно и поучительно, потому что дает мне верное представление о том, сколько на свете горя и как много в нем гадкого. Сознайтесь, вы мне завидуете, что у меня есть графиня?

— Ну уж и завидую... По-видимому, вы считаете, фрейлейн Имма, что я совсем ничего не знаю о жизни.

— А вы что-нибудь знаете?

— Пожалуй, кое-что. Например, я слышал о наших лакеях такое, что вам даже и не грезилось.

— Неужели лакеи такие дурные люди?

— Дурные? Они негодяи, иначе их не назовешь. Во-первых, они плутуют, пускаются на всякие хитрости, берут деньги от поставщиков...

— Ну, принц, это еще пустяки.

— Конечно, с тем, что довелось узнать графине, это не сравнится...

Они перешли на рысь, около путевого столба покинули пересекавшее лес шоссе с пологими подъемами и спусками и свернули на песчаный, похожий на ложбину проселок, поросший по высоким обочинам ежевикой и упирающийся в уголья замка Фазанник, — окруженные кустарником луговины и полянки.

Здесь Клаус-Генрих был как дома; он поминутно на что-нибудь указывал своим спутницам правой рукой, стараясь ничего не упустить, хотя ничего достопримечательного, собственно, не было. Вон там на опушке леса виднеются гонтовая крыша и громоотводы замка, сейчас запертого и безмолвствующего. А вон там сбоку фазаний питомник, по которому названо все поместье, а тут садик при Штафенютеровском трактире, где они нередко сживали с Раулем Юбербейном. Над непросохшими лугами мягко светило солнце, как оно светит только ранней весной, и бросало нежный перламутровый отблеск на обступившие горизонт дальние леса.

Не слезая с лошадей, они остановились рядом у трактирного садика, и Имма Шпельман внимательно оглядывала замок, иначе говоря скромный загородный дом, именовавшийся замком Фазанник.

— Судя по всему, ваши юные годы протекали отнюдь не в умопомрачительной роскоши, — проронила она, выпятив губки.

— Да, этот замок ничем не замечателен, — рассмеялся он. — И внутри не лучше, чем снаружи. Никакого сравнения с Дельфиненортом, даже до того, как вы его реставрировали.

— А теперь сделаем привал, — сказала она. — Не правда ли, графиня, во время прогулок всегда делают привал? Спешимся, принц! Мне пить хочется, посмотрим, чем нас может угостить ваш Штафенютер.

Господин Штафенютер в зеленом фартуке с нагрудником, в штанах, заправленных в смазные сапоги, был уже тут как тут, обеими руками прижимал к груди вышитую ермолку и смеялся от умиления, обнажая беззубые десны.

— Ваше королевское высочество! — захлебываясь от восторга, говорил он. — Неужто в самом деле ваше королевское высочество изволили еще раз осчастливить меня? И барышня тоже! — благоговейно добавил он; Штафенютер отлично знал дочь Самуэля Шпельмана, и не менее усердно, чем прочие обитатели великого герцогства, читал газетную хронику, в которой имена принца Клауса-Генриха и фрейлейн Иммы стояли рядом. Он помог графине, так как Клаус-Генрих, соскочив с седла, всецело посвятил себя заботам о барышне Шпельман, затем Штафенютер

кликнул работника и тот вместе с шпельмановским грумом занялся лошадьми. Но после этого Клаус-Генрих не преминул выполнить весь привычный ему ритуал приветствий и аудиенций. Приняв официальную позу, он задал несколько трафаретных вопросов раболепно склоненному Штафенютеру, милостиво осведомился о его здоровье и положении дел, а выслушивая ответы, энергично кивал головой, дабы показать видимость внимания и участия. Имма Шпельман обеими руками держала хлыст, сгибая и разгибая его, и серьезным, испытующе блестящим взглядом созерцала эту мастерски и бесстрастно разыгранную сцену.

— Позволю себе напомнить, что я погибаю от жажды, — сказала она наконец язвительно и раздраженно, и только после этого все проследовали в сад и стали совещаться, входить ли в трактирную залу, или нет. По мнению Клауса-Генриха, под деревьями было еще слишком сыро, но Имма настояла на том, чтобы расположиться на свежем воздухе, и сама выбрала один из узких, длинных трактирных столов со скамьями по обе стороны, а господин Штафенютер иоспешил накрыть его белой скатертью.

— Лимонад! — предложил он. — Лучше нет от жажды, и товар доброкачественный! Смею заверить ваше королевское высочество и вас, милостивые государыни, это не смесь какая-нибудь, а натуральный подсахаренный сок, самый полезительный напиток.

Когда носик бутылки приоткрывался, в горлышко опускался стеклянный шарик, и пока высокие гости пробовали лимонад, господин Штафенютер не отходил от стола, считая своим долгом поддержать беседу.

Он давно овдовел, а его дети, те самые, которые когда-то здесь под навесом из листвы пели: «Все мы люди, только люди», — и при этом сморкались в руку, все трое разлетелись из дому — сын в городе служил в солдатах, из дочерей одна вышла замуж за фермера тут же по соседству, а другой такая низкая доля была не по нутру, и она пошла в услужение к господам. И господин Штафенютер один хозяйничал в своем уединенном уголке, исполняя при этом тройные обязанности, — он был арендатором принадлежащего к замку трактира, управителем замка и надзирателем при фазаньем питомнике, но на судьбу отнюдь не роптал. Если такая погода продержится, скоро начнется сезон велосипедистов и гуляющих, по воскресеньям их в садике бывает полным-полно. И торговля пойдет на славу. Не угодно ли высоким посетителям осмотреть фазаний питомник?

Да, конечно, только попозже; после этого господин Штафенютер, как человек, сведущий в приличиях, временно удалился, не забыв поставить около стола миску с молоком для Персеваля.

Перси успел по дороге угодить в болото и был похож на черта. Ноги

от мокроты казались совсем тонкими, а белые пятна на взлохмаченной шерсти были перепачканы глиной. Открытая пасть была черна до самой глотки, потому что он рыл ею землю в поисках полевок, а из пасти свисал черно-красный, треугольный на конце, как у грифа, увлажненный слюной язык. Он торопливо вылакал молоко и растянулся на боку у ног своей хозяйки, прерывисто дыша и в изнеможении запрокинув голову.

Клаус-Генрих находил недопустимым, чтобы Имма после верховой езды ничего на себя не накинула, когда весенний воздух так обманчив.

— Возьмите хоть мою шинель! — уговаривал он. — Мне она, ей-богу, не нужна, мне и так тепло, у меня грудь мундира выложена ватой!

Она и слышать об этом не желала, но, так как он настаивал и упрашивал, она согласилась, чтобы он накинул ей на плечи серую военную шинель с майорскими эполетами. Закутавшись в нее, она подперла ладонью свою темную головку в треуголке и смотрела на него, когда он, протянув руку в направлении замка, рассказывал про свою прежнюю жизнь здесь.

Вон там в нижнем этаже, где высокие окна, была столовая, тут классная, а там наверху комната Клауса-Генриха с гипсовым торсом на кафельной печи. Он рассказал о профессоре Кюртхене, с его тактичным методом спрашивания уроков, о капитанше Амелунг, об аристократических «фазанах», которые все обзывали «свинством», главное же, о Рауле Юбербейне, своем друге, тем более что Имма все время возвращалась к нему. Клаус-Генрих поведал о сомнительном происхождении доктора, о том, что он был отдан чужим людям, которым за это заплатили, о ребенке в болоте или омуте, о медали за спасение утопающих, о том, сколько мужества и честолюбия потребовалось ему, чтобы пробиться в жизни при тех суровых условиях, где все зависит только от самого себя и которые он называл благоприятными условиями; о его тесной дружбе с доктором Плюшем, с которым Имма познакомилась. Он обрисовал малопривлекательную наружность Юбербейна и нашел особенно радостные слова, чтобы объяснить, почему его все-таки сразу же потянуло к этому учителю, описал отношение Юбербейна к нему, Клаусу-Генриху, — такого отеческого и добродушно непринужденного товарищеского тона не позволял себе никто другой, — постарался по мере сил дать представление об юбербейновских взглядах на жизнь и в итоге посетовал на то, что доктор не снискал себе настоящей симпатии своих сограждан.

— Я в этом и не сомневалась, — заметила Имма.

Он удивился и спросил, почему, собственно, она не сомневалась.

— Потому что я уверена, что этот Юбербейн, при всей своей задорной болтовне, нехороший человек, — ответила она, покрутив головкой. — Он много разглагольствует, но устоев у него никаких нет, и потому он дурно кончит, принц.

Кlaus-Генрих некоторое время не мог опомниться, озадаченный ее словами. Затем обратился к графине, которая улыбалась, очнувшись от задумчивости, и сделал ей комплимент по поводу ее умения ездить верхом, за что она выразила благодарность учтиво и оживленно. Сразу видно, заметил он, что она с юных лет сидела в седле, и графиня подтвердила, что уроки в манеже составляли существенную часть ее воспитания. Она говорила разумно и весело, но постепенно, почти не приметно, уклонилась с проторенного пути и начала плести что-то несусветное о своей удали в качестве корнета-кавалериста в последнем походе и совершенно неожиданно свернула на невообразимо развратную жену фельдфебеля лейб-гренадерского полка, которая сегодня ночью явилась к ней в спальню, жестоко исцарапала ей грудь и при этом говорила нечто такое, что она даже повторить не может. Klaus-Генрих осторожно спросил, были ли заперты окна и двери.

— Конечно, были, но на что же форточка! — торопливо ответила она. Так как у нее при этом одна половина лица побледнела, а другая покраснела, Klaus-Генрих поспешно закивал, постарался успокоить ее ласковыми словами и даже предложил, опустив глаза, называть ее некоторое время «фрау Мейер», на что она тотчас же с жаром согласилась, но при этом продолжала улыбаться загадочной улыбкой и смотреть куда-то в сторону странно манящим взглядом.

Когда они направились осматривать питомник, Klaus-Генрих получил обратно свою шинель, а, выходя из сада, Имма Шпельман сказала:

— Одобряю. Так и надо было, принц. Вы делаете успехи.

Он вспыхнул от этой похвалы, доставившей ему куда больше удовольствия, чем один из тех помпезных газетных отчетов об окрыляющем воздействии его августейшей особы, которые приносил ему для прочтения тайный советник Шустерман.

Господин Штафенютер проводил своих гостей в обнесенные оградой лужайки и заросли кустарника, где шесть или семь фазаньих семейств жили в довольстве, как обеспеченные рантье; они понаблюдали за повадками пестрых красноглазых птиц с торчащими хвостами, осмотрели помещение для выводки птенцов и присутствовали при кормлении, которое господин Штафенютер специально для их удовольствия устроил под пушистой елью, стоявшей поодаль от других; в итоге Klaus-Генрих

весьма одобрительно отозвался обо всем виденном. Пока он исполнял эту формальность, Имма Шпельман не сводила с него испытующего взгляда своих больших темных глаз. Подле трактира они снова сели в седло и тронулись в обратный путь, а Персеваль с яростным воем извивался под ногами у лошадей.

И тут-то на обратном пути Клаусу-Генриху по ходу беседы открылись еще кое-какие немаловажные черты характера и натуры Иммы Шпельман, дающие ключ к пониманию ее личности и послужившие ему поводом для длительных размышлений.

А именно: вскоре после того, как ложбина, поросшая по краям ежевикой, осталась позади и они выехали на шоссе с плавными подъемами и спусками, Клаус-Генрих навел разговор на тему, которая была затронута за чайным столом в первое его посещение Дельфиненорта и тут же резко оборвана, но не переставала смутно беспокоить его.

— Кстати, разрешите задать вам один вопрос, фрейлейн Имма, — сказал он. — Вы можете не ответить на него, если не захотите.

— Там видно будет, — ответила она.

— Месяц назад, — начал он, — когда я имел удовольствие впервые беседовать с вашим отцом, господином Шпельманом, я задал ему вопрос, на который он ответил так скупно и уклончиво, что я боюсь, не совершил ли я промаха или не деликатности.

— О чем же вы спросили?

— Я спросил, тяжело ли ему было расставаться с Америкой?

— Ну конечно, принц, это был один из характерных для вас вопросов, чисто княжеский вопрос. Будь у вас больше привычки мыслить логически, вы бы про себя сделали вывод, что если бы моему отцу не было легко и приятно расставаться с Америкой, он ни в коем случае не расстался бы с ней.

— Пожалуй, вы правы, фрейлейн Имма, простите меня, я не умею так уж четко мыслить. Но если я своим вопросом погрешил только против логики, это еще полбеда. Можете вы меня хоть в этом успокоить?

— Увы, принц, даже и в этом не могу, — ответила она и вскинула на него свои блестящие черные глаза.

— Так я и знал! Так и знал! Но в чем же дело? Откройте мне эту тайну, если тут есть тайна. Вы это должны сделать во имя нашей дружбы.

— Разве мы друзья?

— Я думал, что — да, — с мольбой произнес он.

— Ну, хорошо, не унывайте! Я этого не знала. Однако всегда приятно

услышать что-то новое. Но вернемся к моему отцу, его в самом деле раздражил ваш вопрос, он вообще очень раздражителен, и, надо сказать, у него в жизни было исключительно много поводов для развития этого качества. Дело в том, что американское общественное мнение было расположено отнюдь не в нашу пользу. Там большую роль играют всякие интриги и происки... предупреждаю, я не в курсе всех подробностей, знаю только, что там ведется деятельная политическая агитация с целью восстановить против нас большинство, ну, знаете, всех тех, кому не повезло. Из-за этого постоянно возникали какие-то тяжбы и неприятности, и все это отравляло моему отцу жизнь за океаном. Вы ведь знаете, принц, что не он создал наше благосостояние, а мой гадкий дед своим Paradise Nugget и своей Blockhead Farm. Отец тут ни при чем, он унаследовал свою участь и уживается с ней нелегко, от природы он человек застенчивый, с нежной душой и предпочел бы всю жизнь только играть на органе и коллекционировать стекло. Я даже думаю, что ненависть, среди которой мы в последнее время жили из — за всех этих происков, — доходило до того, что люди выкрикивали мне вслед ругательства, когда я ехала в автомобиле, — так вот я говорю, именно их ненависть довела его до почечных камней. Это очень может быть.

— Я всей душой почитаю вашего батюшку, — с горячностью заявил Клаус-Генрих.

— Без этого я и не мыслю себе нашей дружбы, принц, но было и нечто другое, что осложняло нам жизнь в Америке. Это связано с нашим происхождением.

— С вашим происхождением?

— Да, принц, мы отнюдь не аристократические фазаны и, к сожалению, ведем свой род не от Вашингтона и не от первых поселенцев...

— Конечно, вы ведь немцы.

— Это верно, и все-таки не все тут благополучно. Снизойдите разок до того, чтобы внимательно приглядеться ко мне. По-вашему, такие черные космы, которые вечно падают куда не следует, — признак благородного рода?

— Боже ты мой, да у вас удивительно красивые волосы, фрейлейн Имма! — воскликнул Клаус-Генрих. — И я знаю, что в вас есть южноамериканская кровь, ваш почтенный дедушка вывез себе жену не то из Боливии, не то откуда-то еще, словом, из тех мест, я сам читал в газетах.

— Это-то верно. Но в этом и вся суть. Я, принц, квинтеронка.

— Как вы сказали?

— Квинтеронка.

— Это из области Адирондаксов и параллаксов. Я не знаю, что это такое, фрейлейн Имма. Ведь я же говорил вам, что меня мало чему учили.

— Сейчас объясню. Дедушка, по своему обычаю, поступил необдуманно и женился на особе, в которой текла индейская кровь!

— Индейская?

— Да, да. Дело в том, что вышеупомянутая особа в третьем поколении происходила от индейцев, ее отец был белый, а мать наполовину индианка, — значит, сама она была терцеронка, — так их зовут, — говорят, красавица поразительная! Это и была моя бабушка. Внуки таких бабушек называются квинтеронами. Вот как обстоит дело.

— Да, это очень интересно. Но вы как будто говорили, что это влияло на отношение к вам?

— Ах, ничего-то вы не знаете, принц! Так знайте же, что в Америке индейская кровь считается позором. Таким страшным позором, что дружеские и любовные союзы разрываются без всякой пощады, если только на одной из сторон обнаружится это позорное клеймо. Ну, правда, с нами дело обстоит не так уж плохо, даже и квартероны, слава тебе господи, считаются не совсем отверженными, а квинтероноп можно почти причислить к незапятнанным. Но мы были слишком на виду, и к нам, естественно, относились по-иному. Когда мне вслед выкрикивали ругательства, меня не раз обзывали цветной. Как-никак, а эта неполноценность, это осложнение разобщало нас даже с теми немногими, кто во всем прочем занимал примерно равное с нами положение. Нам всегда приходилось что-то либо утаивать, либо отстаивать. Дед, тот умел за себя постоять, он знал, что делал; да и сам-то он был человек чистой крови — клеймо лежало только на его красавице жене. А мой отец был ее сын, и, при его раздражительном и вспыльчивом нраве, ему с молодых лет трудно было терпеть раболепство, ненависть и презрение, в одно и то же время быть, как он сам выражался, не то восьмым чудом света, не то отбросом, — словом, Америка ему во всех смыслах опостылел[^]. Вот и вся история, принц, и теперь, надеюсь, вам понятно, почему на моего отца так раздражающе подействовал ваш тонкий вопрос, — закончила Имма.

Клаус-Генрих поблагодарил ее за разъяснение, — мало того, когда он, приложив руку к козырьку фуражки прощался с дамами перед порталом Дельфиненорта — время подошло ко второму завтраку, — поблагодарил ее еще раз и шагом поехал домой, чтобы продумать события этого утра.

Имма Шпельман в красном с золотом платье сидела у стола, небрежно откинувшись, с капризной гримаской балованного ребенка, окруженная прочным довольством, а в речах ее была такая же язвительность, что и там,

где это необходимое оружие, где без проницательности, настороженности и беспощадной остроты ума не проживешь. Почему же? Теперь Клаус-Генрих понимал это, по целым дням старался лучше постичь это сердцем. Она жила среди раболепства, ненависти и презрения, не то восьмым чудом света, не то отбросом — вот отчего речь ее стала колючей: язвительностью и насмешливой проницательностью она оборонялась, хотя и казалось, что она нападает, вызывая страдальческое подергивание на лицах у тех, кто не нуждался в остроте ума, как в оружии. Она просила его жалостливо и бережно относиться к бедняжке графине, когда та «давала себе волю», но сама-то она тоже нуждалась в жалостливом и бережном отношении, потому что она была одинока и жилось ей нелегко... как и ему. Параллельно с этими мыслями ему не давало покоя одно воспоминание, давнее, тягостное воспоминание, местом действия которого был буфет в Парковой гостинице, а финалом — крышка от крюшонницы... «Сестричка!» — сказал он про себя, торопливо отмахиваясь от этого воспоминания. «Сестричка!» Но главной его заботой было, как бы в ближайшее время снова увидеться с Иммой Шпельман.

Они увиделись скоро и виделись часто при различных обстоятельствах. Подошел к концу февраль, наступил многообещающий март, за ним переменчивый апрель и ласковый май. И все это время Клаус-Генрих бывал во дворце Дельфиненорт не меньше раза в неделю, утром или днем, но неизменно в таком же невменяемом состоянии, в каком явился к Шпельманам в то февральское утро, так сказать помимо собственной воли, словно покорствуя судьбе. Свиданиям способствовало и соседство обоих дворцов, короткий путь от Эрмитажа до Дельфиненорта можно было проехать аллеями парка верхом или в догкарте, не слишком привлекая к себе внимание; но чем становилось теплее, тем в парке бывало многолюднее и тем труднее было держать в секрете от публики совместное катание верхом, однако к этому времени у принца сложилось такое душевное состояние, которое нельзя назвать иначе как полнейшим безразличием и слепым пренебрежением к мнению света, двора, города и страны. Лишь позднее отношение общества стало играть роль в его помыслах и намерениях, но тогда уж это была весьма значительная и благотворная роль.

Прощаясь с дамами после первой прогулки верхом, он не преминул заговорить о новой, на что Имма хоть и выпятила губы и покрутила головкой, но не нашла убедительных возражений. Поэтому он приехал снова, и они вместе отправились в охотничий заповедник, принадлежащий к удельному ведомству лесной участок на северной окраине городского

сада; он приехал еще раз, и они придумали такую цель для прогулки, до которой можно было добраться минуя город. А когда с весной жителей столицы потянуло за город и деревенские трактиры всегда бывали полны, для верховых прогулок была облюбована уединенная и живописная дорога, собственно даже не дорога, а довольно длинная дамба или луговая тропинка вдоль поросшего цветами откоса над быстрым рукавом реки. Она была расположена в северном направлении, и спокойней всего туда можно было попасть, если проехать по парку позади Эрмитажа, затем заливными лугами вдоль северной границы городского сада вплоть до охотничьего заповедника и там возле шлюза не перебираться на тот берег по деревянному мосту, а ехать этим берегом по течению реки. Справа оставались строения заповедника, и всю дорогу тянулся молодой лес, слева луга белели и пестрели болиголовом, одуванчиками, колокольчиками, клевером, ромашкой и даже незабудками; из-за пашен виднелась церковная колокольня, а вдалеке проходило шоссе с оживленным движением, от которого они чувствовали себя в безопасности. А с левой руки к откосу тоже, вплотную подступал ивняк и орешник, заслоня перспективу и полностью отгораживая их от мира, а так как тропа тут сужалась, они большей частью ехали вдвоем, впереди графини, ехали, беседуя и умолкая, меж тем как Персеваль, поджав передние лапы, прыгал туда и назад через реку или бежал к воде, купался и, громко лакая, наспех утолял жажду. Возвращались они той же дорогой.

Если же по причине низкого давления барометр падал и, следовательно, шел дождь, а Клаусу — Генриху тем не менее необходимо было повидаться с Иммой, он в своем догкарте приезжал к чаю в Дельфиненорт, и они проводили время дома.

Господин Шпельман всего два-три раза являлся пить чай в боскетную. Болезнь его как раз в эту пору обострилась, и он бывал даже принужден целый день лежать в постели с горячими припарками. Когда же приходил к чаю, он неизменно говорил: «А, молодой принц?» — и своей худощавой, выглядывающей из-под мягкой манжеты рукой окунал в чай диетический сухарик, время от времени вставлял в разговор скрипучую реплику, под конец протягивал гостю золотой портсигар, а затем вместе с доктором Ватерклузом, который все время сидел за столом, не произнося ни слова и улыбаясь, удалялся из боскетной. Впрочем, и в солнечную погоду они иногда предпочитали остаться в парке и поиграть в теннис на плотно утрамбованной и разделенной сеткой пополам площадке перед террасой. А как-то раз они даже прокатились в одном из шпельмановских автомобилей далеко за пределы замка Фазанник.

Однажды Клаус-Генрих спросил:

— Я читал, будто ваш батюшка каждый день получает ужасно много писем с просьбой о помощи.:-)то правда, фрейлейн Имма?

Тогда она рассказала, что в Дельфиненорт непрерывным потоком идут прошения и подписные листы (о сбором пожертвований и по возможности встречают отклик, что с каждой почтой поступает кипа писем от разных попрошаек Европы и Америки, госиода Флебс и Слипперс сортируют их и, произведя отбор, представляют господину Шпельману. Иногда и она, для развлечения, просматривает эту грандиозную почту и прочитывает адреса, которые зачастую иосят фантастический характер. Неимущие или предприимчивые отправители далее на конвертах стараются перещеголять друг друга витиеватостью и низкопоклонством, присваивая адресату всевозможные титулы и чины в самых невероятных сочетаниях. Но недавно один проситель побил рекорд: он адресовал письмо «Его королевскому высочеству господину Самуэлю Шпельману». Кстати, получил он не больше остальных...

В другой раз Клаус-Генрих приглушенным голосом заговорил о «Совиной комнате» в старом замке и по секрету поведал Имме, что недавно там опять слышали шум, предвещающий важные события в его, Клауса-Генриха, семье. Имма высмеяла его и, выпятив губы, покрутив головкой, научно объяснила ему эти явления, как в свое время объяснила тайны барометра. Все это вздор, сказала она, по всей вероятности часть чулана имеет форму эллипсоида, а вторая эллипсоидовидная поверхность аналогичной кривизны, с источником звуков в ее фокусе, находится где-то вовне, отчего шумы раздаются в «Совиной комнате», а по соседству ничего не слышно. Клаус-Генрих был немало удручен этим разъяснением, ему очень не хотелось отказаться от всеобщей веры, что между грохотом и судьбами его рода существует исконная связь.

Так они беседовали между собой, и графиня тоже вставляла замечания, то разумные, то путаные, ибо Клаус-Генрих усердно старался не впасть в свой обычный тон, чтобы не отрезвить и не расхолодить ее, и даже называл ее «фрау Мейер», когда ей казалось нужным обезопасить себя от преследования распутных баб. Он рассказывал обеим дамам о своей бессодержательной жизни, о пирушках корпорантов, о товарищеских обедах в офицерском собрании, о путешествии, которое он совершил с образовательной целью, о своих близких, о матери, в прошлом горделивой красавице, которую он изредка навещал в Зегенхаузе, где она создала себе грустную пародию на придворный церемониал. Рассказывал об Альбрехте и Дитлинде; Имма Шпельман в ответ восполняла картину своей

блистательной и обособленной юности, а графиня время от времени роняла туманные намеки на жестокие тайны жизни, и оба слушали ее с серьезностью чуть ли не благоговейной.

У них была излюбленная игра: в меру своих познаний они старались угадать, что собой представляет жизнь случайно встреченных жителей столицы, к какому сословию те принадлежат, — с любопытством сторонних наблюдателей, издалека, с лошади или с шпельмановской террасы смотрели они на прохожих. Кто такие эти молодые люди? Чем занимаются? Из какой они среды? Непохоже, чтобы они учились в коммерческом училище, скорее это будущие техники или лесничие, а может быть, и студенты сельскохозяйственного института, немного грубоватые, но дельные юноши и конечно уж сумеют честным трудом проложить себе путь в жизни. А вот та маленькая вертлявая, которая часто болтается здесь, — наверно, фабричная работница или швейка. У таких девушек обычно бывают кавалеры из их же круга, которые по воскресеньям водят их в кофейню. Они делились своими сведениями о жизни простых людей, одобряли друг в друге такую осведомленность, и это занятие больше согревало их, чем беготня за теннисным мячом.

Что же касается прогулки в автомобиле, то Имма, по ее словам, пригласила Клауса-Генриха лишь затем, чтобы показать ему шофера, который вез их, молодого американца в коричневом кожаном пальто, она находила большое сходство между ним и принцем. Клаус-Генрих, смеясь, отвечал, что со спины ему трудно судить, права ли она, и попросил графиню высказать свое мнение. Сперва она с негодованием отвергла такую святотатственную идею, но затем, под давлением Иммы, искоса прищурясь, посмотрела на Клауса-Генриха и признала, что сходство все-таки есть. Имма рассказала, что первоначально этот положительный, непьющий и умелый молодой человек был личным шофером ее отца и ежедневно возил его с Пятой авеню на Бродвей и вообще куда угодно. Однако господин Шпельман любил ездить с необычайной скоростью, почти равной курьерскому поезду, и при нью-йоркской сутолоке для этого требуется огромная затрата нервной энергии, и шоферу она оказалась не под силу. Правда, несчастных случаев у него не бывало, молодой человек не сплывал ни разу и, предельно напрягая внимание, выполнял свои опасные для жизни обязанности. Но в результате он, доехав до места, раз другой лишился чувств, и тут-то обнаружилось, какого непомерного напряжения стоил ему день такой езды. Господину Шпельману не хотелось его увольнять, и тогда он назначил его лейб — шофером к своей дочери, и эту службу, куда более легкую, он продолжает нести и здесь. Имма

заметила сходство между ним и принцем в первый же раз, как увидела Клауса-Генриха. Похожи они, понятно, не чертами лица, а выражением. Графиня тоже это признала... Клаус-Генрих уверил, что его ничуть не шокирует такое сходство, наоборот — добросовестный и мужественный молодой человек внушает ему искреннюю симпатию. Они поговорили еще, какая трудная, изматывающая нервы жизнь у шоферов, но графиня Левенюль больше не принимала участия в беседе. Вообще она не заговаривалась во время этой поездки и только под конец высказала несколько справедливых и здравых суждений, сопровождая их энергичными жестами.

Кстати, дочь господина Шпельмана отчасти унаследовала отцовскую страсть к быстрому передвижению — при каждом удобном случае Имма переходила на буйный галоп, как в первую их совместную прогулку; а Клаус-Генрих, раззадоренный ее насмешкой, чтобы не отстать, требовал от озадаченного и негодующего Флориана почти невозможного, и потому этот форсированный аллюр приобретал всякий раз характер состязания, причем Имма начинала скачку внезапно, по собственной прихоти. Чаще всего состязания происходили на уединенном луговом откосе, что тянется вдоль реки, и одно из них было особенно длительным и ожесточенным. Оно началось непосредственно после разговора о популярности Клауса-Генриха, который Имма неожиданно начала и так же неожиданно оборвала.

— Я слышала, будто вы пользуетесь в народе огромной любовью, — ни с того ни с сего сказала она. — Будто вы покоряете все сердца. Это верно, принц?

— Так говорят, — ответил он. — Возможно, это объясняется кой-какими свойствами моей натуры, я не скажу — достоинствами. Я и сам не знаю, надо ли этому верить, а тем более радоваться. Боюсь, что это не свидетельствует в мою пользу. Великий герцог, мой брат, презирает популярность, считает ее чем-то низменным.

— Да, должно быть, великий герцог гордый человек. Я глубоко уважаю его. А вас, значит, все превозносят, вы общий любимец. Go on!^[14] — неожиданно крикнула она, больно хлестнула Фатьму, та вздрогнула, и началась скачка.

Скакали они долго. Еще ни разу они не забирались так далеко по течению реки. Слева деревья давно уже заслонили перспективу. Из-под копыт летели комья глины и пучки травы. Графиня скоро отстала. Когда они наконец сдержали коней, Флориан дрожал, выбившись из сил, да и сами они были бледны и с трудом переводили дух. На обратном пути оба

молчали.

Накануне дня рождения Клауса-Генриха к нему в Эрмитаж под вечер пожаловал Рауль Юбербейн.

Доктор пришел поздравить принца, так как завтра он весь день будет занят. Они прогуливались по усыпанным гравием дорожкам позади Эрмитажа, старший преподаватель в сюртуке и белом галстуке, Клаус-Генрих в форменной тужурке. Косые лучи предвечернего солнца золотили высокую траву, поспевшую для косьбы, липы стояли в полном цвету. И левом углу парка, у самой изгороди, отделявшей его от неказистых пригородных пустырей, стояла обветшалая берестяная беседка. Клаус-Генрих говорил ча самую важную для него тему — о своих посещениях Дельфиненорта; рассказывал он очень образно, но ничего нового сообщить доктору не мог: тот явно был в курсе дела. Каким образом? Из самых различных источников. И он, Юбербейн, осведомлен не больше других.

— Значит, в столице интересуются этим вопросом?

— Избави боже. Что вы, Клаус-Генрих! Никому до этого нет ни малейшего дела. Ни до верховых прогулок, ни до чаепитий, ни до поездок в автомобиле. О таких пустяках никто слова не говорит.

— Но мы ведь так осторожны.

— Чего стоит это «мы»! Да и слова об осторожности тоже! Имейте в виду, что его превосходительство господин фон Кнобельсдорф получает точные донесения о каждом вашем подвиге, Клаус-Генрих.

— Кнобельсдорф?

— Кнобельсдорф.

Клаус-Генрих помолчал.

— А как относится барон Кнобельсдорф к этим донесениям? — спросил он немного погодя.

— Ну, у старика пока не было повода вмешаться в ход событий.

— А общество, публика?

— Ну, публика, та, понятно, затаила дыхание.

— А вы, вы сами, дорогой доктор Юбербейн?!

— Я жду новой крышки от крышонницы, — ответил Юбербейн.

— Нет! — радостно воскликнул Клаус-Генрих. — Нет, нет, доктор Юбербейн, крышки от крышонницы не будет — я счастлив, понимаете, счастлив и ни о чем думать не хочу. Вы внушали мне, что счастье не для меня, а когда я все-таки сделал неудачную попытку, вы встряхнули меня и привели в чувство, и я был вам несказанно благодарен, потому что это было ужасно, забыть нельзя, как ужасно. Но теперь это уже не вылазка в общественный танцевальный зал, о которой тошно вспомнить, это не

самообман, не срыв, не унижение. Неужели же вам не понятно, что она, та, кого мы подразумеваем, что она далека и от общественного бала, и от аристократических фазанов, и от всего на свете. Она близка мне, только мне, — она настоящая принцесса, да, да, доктор Юбербейн, она мне ровня, и, значит, ни о каких крюшонницах даже говорить нечего! Вы внушали мне, что непозволительно говорить «все мы люди», и руководствоваться этой максимой для меня — значит искать запретного счастья, которое ни к чему не ведет и может кончиться позором. Но то, что происходит теперь, — это не запретное счастье. Нет, это наконец-то внутренне оправданное, многообещающее блаженное счастье, и я смело отдаюсь ему, а там..* будь что будет.

— Прощайте, принц Клаус-Генрих, — сказал доктор Юбербейн, но сам и не думал уходить. Заложив руки за спину и упершись рыжей бородой в грудь, он по-прежнему шагал по левую руку от Клауса-Генриха.

— Нет, — ответил Клаус-Генрих — нет, что вы! Я не прощаюсь с вами, доктор Юбербейн. Теперь, как никогда, хочу я быть вашим другом, потому что вам всегда тяжело жилось и вы так гордо, с такой выдержкой переносили свою участь. И я был горд тем, что вы обращаетесь со мной как с товарищем. Нет, теперь, когда я обрел свое счастье, я вовсе не хочу распускаться, я хочу остаться верен вам и моему высокому назначению...

— Этого не дано, — по-латыни сказал доктор Юбербейн и покачал своей некрасивой головой с оттопыренными, кверху заостренными ушами.

— Неправда, доктор Юбербейн, теперь я твердо убежден, что может быть дано то и другое вместе. А вы-то? Ну, зачем вы так равнодушно говорите со мной и порицаете меня, когда я так счастлив, а завтра к тому же день моего рождения! Вы столько всего насмотрелись в жизни, вы сами говорите, что прошли огонь, воду и медные трубы, — неужели же с вами никогда не случилось ничего такого... Ну, вы понимаете... Неужели вы ни разу не были захвачены одним чувством, как я сейчас?..

— Гм, — промычал доктор Юбербейн и так сжал губы, что рыжая борода его встала торчком, а на щеках проступили желваки. — Между нами говоря, один раз такое происшествие в самом деле имело место.

— Видите! Видите! Расскажите, доктор Юбербейн! Именно сегодня вы должны мне это рассказать!

И тут в этот благолепно тихий час, озаренный предзакатным солнцем, налитанный запахом липы, Рауль Юбербейн поведал о некоем событии в своей жизни, которого ни разу не касался в прежних рассказах, хотя оно, пожалуй, оказало решающее влияние на всю его судьбу. Случилось это в те давние времена, когда Юбербейн обучал своих озорников и одновременно

совершенствовал собственное образование, ту же стягивал пояс и давал частные уроки упитанным бюргерским сынкам, чтобы иметь возможность покупать книги. Все так же заложив руки за спину и упершись в грудь рыжей бородой, доктор отрывистым, резким тоном рассказывал об этом, а между фразами плотно сжимал губы.

В ту пору судьба невыразимо крепкими узами связала его с одной женщиной, белокурой красавицей, женой благородного, глубоко порядочного человека и матерью троих детей. Попал он к ним в дом в качестве репетитора, но потом стал у них частым гостем и другом семьи, и с мужем у него был глубокий душевный контакт. Чувство, возникшее между молодым учителем и белокурой женщиной, долго было неосознанным, еще дольше они его не высказывали, ибо не находили для него слов, но оно окрепло в молчании, всецело заполонило обоих, и однажды в вечерний час, когда супруга задержали дела, в знойный, сладостный, коварный час оно вспыхнуло жгучим пламенем и чуть не спалило их. Голос страсти властно звал их познать счастье, великое счастье слияния; однако и в нашем мире, заметил доктор Юбербейн, люди, хоть и не часто, но все-таки поступают порядочно. Слишком уж недостойным показалось им вступить на пошлый, гаденький путь обмана, а пойти к доверчивому супругу, «открыться» ему, как принято говорить, и загубить его жизнь, во имя страсти потребовав у него свободы, такой выход тоже не вполне улыбался им. Словом, ради детей, ради доброго и благородного человека — ее мужа, — которого оба глубоко уважали, они пожертвовали счастьем и отказались друг от друга. Да, бывает и такое, но только тут приходится порядком стиснуть зубы. Юбербейн и теперь изредка навещает эту семью; когда позволяет время, ужинает с ними, играет в карты, целует руку хозяйке дома и желает друзьям покойной ночи!.. Но, кончив свое повествование, он напоследок высказал самое заветное, и тон у него был еще отрывистее и резче, а по углам губ еще явственнее обозначились желваки. В тот день, когда они с белокурой женщиной отказались друг от друга, тогда он, Юбербейн, навсегда сказал «прости» счастью, «уделу бездельников», как он стал обзывать это с тех пор. Раз он не мог или не хотел обладать белокурой женщиной, он дал себе слово быть достойным ее и того, что их связывало, достичь многого, сделаться крупной величиной на ученом поприще, — всю свою жизнь он посвятил работе, ей одной, и стал тем, что он есть. Вот в чем была тайна или, во всяком случае, частичная разгадка юбербейновской неуживчивости, заносчивости и честолюбия! Клаус-Генрих со страхом увидел, что лицо у него стало бледнее, зеленее обыкновенного, когда он на прощание низко поклонился

и произнес:

— Передайте привет крошке Имме, Клаус-Генрих!

На следующее утро Клаус-Генрих принял в желтой комнате поздравления дворцового персонала, а позднее господ Брауибарт-Шеллендорфа и Шулеибург-Трессена.

В первую половину дня Эрмитаж посетили члены великогерцогской фамилии, а ровно в час Клаус-Генрих в своей карете отправился на семейный завтрак к князю и княгине цу Рид-Гогенрид, и встречные прохожие особенно горячо приветствовали его по пути. Все здравствующие представители Гримбургской династии в полном составе собрались в изящном дворце на Альбрехтсштрассе. Прибыл и великий герцог, как всегда, в штатском сюртуке и, посасывая нижней губой верхнюю, слегка наклонив свою сдавленную на висках голову, поздоровался с присутствующими; все кушанья он запивал молоком пополам с минеральной водой. Почти сразу после завтрака он удалился. Принц Ламберт приехал без своей супруги. У старого балетомана были крашенные волосы, он весь трясся и говорил замогильным голосом. Родственники проявляли к нему явную холодность.

За столом сперва беседовали о придворных делах, затем порадовались, какой здоровенькой растет принцесса Филиппика, и наконец отдали должное крупному размаху промышленных начинаний князя Филиппа. Щуплый невысокий князь рассказывал о своих пивоваренных заводах, фабриках, мельницах, а главное, о торфоразработках, перечислял, какие ввел усовершенствования, называл цифры капиталовложений и прибылей, при этом щеки у него покраснелись, а родственники жены слушали его с любопытством, благожелательством или иронией.

Когда кушали кофе в большой гостиной, наполненной цветами, княгиня, держа в руках золоченую чашку, подошла к брату и сказала:

— Ты совсем перестал бывать у нас последнее время.

Лицо Дитлинды с остреньким подбородком и типичными для Гримбургов выдающимися скулами с рождением дочки утратило прежнюю прозрачность, порозовело, и голова, казалось, уже не клонится под тяжестью пепельных кос.

— Неужели я давно у вас не был? — удивился он. — Да, прости, Дитлинда, пожалуй, ты права. Но я был ужасно занят и знал, что ты тоже занята. Теперь ведь ты нянчишься не только с цветами.

— Да, цветы теперь уже не на первом месте, главная моя забота не о них. Я занята более прекрасным одушевленным цветком, от этого у меня, верно, и щеки разругались, как у моего доброго Филиппа от торфа. Ведь

он весь завтрак проговорил о торфе, я этого не одобряю, но это его страсть. Только потому, что я была так занята и озабочена, я и не обижалась на тебя за то, что ты не показываешься и идешь своим путем, хотя, на мой взгляд, это довольно сомнительный путь...

— Откуда ты знаешь, Дитлинда, по какому пути я иду?

— К сожалению, не от тебя. Спасибо Йеттхен Изеншниббе, она держала меня в курсе дел, ведь ей все известно. Вначале, не скрою от тебя, я ужасно испугалась. Но в конце концов живут они в Дельфиненорте, при нем состоит лейб-медик, и Филипп тоже считает, что они по-своему нам равны. Если память мне не изменяет, я раньше отрицательно высказывалась на их счет, что-то такое говорила о «птице Рох» и даже скаламбурила по поводу «объекта для налогов». Но раз ты считаешь этих людей достойными твоей дружбы, значит я ошибалась и охотно возьму назад свои слова и попытаюсь впредь по — иному относиться к ним. Это я тебе твердо обещаю... Ты всегда любил отправляться на разведки, — продолжала она, после того как Клаус-Генрих с улыбкой поцеловал ей руку, — меня тоже таскал за собой, и больше всего страдало мое платье (помнишь? — красное бархатное). Теперь ты один ходишь на разведки, и дай бог, чтобы ничего скверного не встретилось на твоём пути, Клаус-Генрих.

— Мне кажется, Дитлинда, в сущности, интересно все, что узнаешь, будь то хорошее или дурное. Но то, что я на этот раз узнал, — по-настоящему хорошо...

В половине пятого принц опять выехал из Эрмитажа, на этот раз в догкарте, и сам правил, сидя спиной к спине с лакеем. Погода стояла теплая, и на Клаусе-Генрихе были белые брюки и двубортный форменный сюртук. Раскланиваясь на обе стороны, он вторично направился к городу, вернее к Старому замку, но въехал за ограду замка не через Альбрехтовские, а через боковые ворота, миновал два двора и остановился в третьем, где рос розовый куст.

Куда ни посмотришь-всюду камень и тишина; по углам высятся башни со стрельчатыми окнами, с балюстрадами кованого железа и прекрасными скульптурами, разностильные части здания прячутся в тени или купаются в лучах солнца, одни серые, обветшалые, другие поновее, с фронтонами и топорными выступами, с глубокими лоджиями; сквозь высокие окна виднеются сводчатые залы и приземистые колоннады. А посреди двора, на обнесенной решеткой клумбе стоит розовый куст уже в цвету — так благоприятствовала ему теплая весна этого года.

Клаус-Генрих отдал вожжи слуге и подошел к клумбе посмотреть на

темно-пунцовые розы. Они были на редкость прекрасны — пышноцветные, точно бархатные, с изящно изогнутыми лепестками, — подлинное чудо природы. Многие уже совсем распустились.

— Пожалуйста, позовите Иезекииля, — обратился Клаус-Генрих к усатому привратнику, который подошел, приложив руку к треуголке.

Явился Иезекииль, сторож при розовом кусте. Это был семидесятилетний старик, сгорбленный, со слезящимися глазами, в фартуке садовника.

— Ножницы при вас, Иезекииль? — спросил Клаус-Генрих, стараясь говорить погромче. — Мне нужно срезать одну розу.

Иезекииль вытащил садовые ножницы из огромного, как кошель, кармана.

— Вот эту, самую красивую. — И старик дрожащими руками перерезал колючий стебель.

— Пойду сбрызну ее, ваше королевское высочество, — сказал он и, волоча ноги, направился к водопроводному крану в углу двора. Когда он вернулся капли сверкали на листьях розы, как на оперении морских птиц.

— Спасибо, Иезекииль, — сказал Клаус-Генрих. — Все еще молодцом? Вот возьмите! — Он протянул старику монету, вспрыгнул в догкорт, положил розу рядом с собой на сидение, миновал все три двора и, как полагали те, кто его видел, прямо из Старого замка, где, должно быть, имел беседу с великим герцогом, отправился к себе домой в Эрмитаж.

На самом деле он проехал через городской сад в Дельфиненорт. Небо заволочло, крупные капли уже падали на листву, и вдали рокотал гром.

Дамы сидели за чайным столом, когда Клаус-Генрих, предшествоваемый дородным дворецким, появился в галерее и по ступенькам спустился в боскетную. Господин Шпельман, как и все последнее время, отсутствовал. Он лежал в постели, обложенный припарками. Персеваль, который свернулся клубком на ковре у ног Иммы, приветственно помахал хвостом. Позолота на мебели померкла, потому что парк, за стеклянной дверью, был объят предгрозовым сумраком.

Клаус-Генрих обменялся рукопожатием с молодой хозяйкой, поцеловал руку графине и ласково помог ей подняться после придворного реверанса, очень глубокого, по ее обыкновению.

— Вот и лето настало, — обратился он к Имме и протянул ей розу. Он ни разу еще не подносил ей цветов.

— Поистине рыцарская учтивость! — сказала фрейлейн Шпельман. — Спасибо, принц! А она и в самом деле прекрасна! — добавила Имма с искренним восхищением, хотя не в ее обычае было что-нибудь хвалить, и

обхватила своими тонкими без колец пальцами пышную головку цветка, чьи бездушные лепестки грациозно закручивались на концах. — Никак не ожидала, что здесь бывают такие чудесные розы! Где вы ее добыли? — И она жадно прильнула к цветку своим бледным личиком.

Глаза ее выражали испуг, когда она подняла голову.

— Она не пахнет! — воскликнула Имма, и ее губы гадливо передернулись. — Пойдите... нет, она пахнет тлением! Что вы мне принесли, принц! — И ее огромные черные глаза на жемчужно-матовом личике, казалось, горят недоуменным ужасом.

— Да, — вымолвил он. — Простите меня, таковы наши розы. Она с того куста, который растет во дворе Старого замка. Вы ничего об этом не слышали? Это особенные розы. В народе говорят, что настанет такой день, когда они начнут благоухать.

Она как будто не слушала его.

— Кажется, у нее нет души, — сказала она, глядя на розу. — Но красива она безупречно, этого у нее не отнимешь... В общем, это любопытная игра природы, иринц. Как бы то ни было, благодарю вас за внимание. И раз она происходит из замка ваших предков, надо отнестись к ней с должным почтением.

Имма поставила розу в бокал рядом со своим прибором. Отороченный лебяжьим пухом лакей принес принцу чашку и тарелку. За чаем они сперва поговорили о заколдованном розовом кусте, потом перешли на обыкновенные темы, о придворном театре, об их любимых лошадях, поспорили о каких-то пустяках, Имма отстаивала свою точку зрения безупречно отшлифованными фразами, но при этом как бы ставила их в кавычки, словно сама смеялась над ними, побивала Клауса-Генриха изысканными книжными оборотами, выпаливая их своим ломающимся голосом и капризно крутя головкой. К концу чая принесли увесистый пакет в белой бумаге, присланный фрейлейн Шпельман от переплетчика, которому она заказала сделать красивые и прочные переплеты на целый ряд книг. Она развернула пакет, и все трое принялись рассматривать, хорошо ли мастер выполнил заказ.

Книги были почти сплошь научные, либо заполненные такими же таинственными письменами, как тетради Иммы, либо ученые труды по психологии, проникающие в самую суть душевных процессов; все они были роскошно переплетены в пергамент и тисненную золотом кожу, с обложками из лучших сортов бумаги и шелковыми закладками. Имма Шпельман не вполне одобрила работу, а Клаус-Генрих, впервые видевший так богато переплетенные книги, не находил достаточно хвалебных слов.

— А теперь вы их поставите рядом с другими? У вас наверху, должно быть, много книг? И все такие же красивые? — спрашивал он. — Позвольте мне посмотреть, как вы будете их расставлять. Уехать я не могу, дождь льет и грозит загубить мои белые брюки. А я ведь совсем не знаю, как вы устроились в Дельфиненорте. Я ни разу не был у вас в рабочем кабинете. Ну, покажите мне свои книги.

— Все зависит от графини, — ответила она, не отрываясь от своего занятия — она складывала новые книги в стопки. — Графиня, принц хочет посмотреть мои книги. Благоволите высказать ваше мнение по этому поводу.

Графиня Левенюль сидела с отсутствующим видом. Склонив маленькую голову набок и прищурившись, она метнула колкий, почти злобный взгляд на Клауса-Генриха, потом перевела глаза на Имму, и лицо ее приняло совсем другое, мягкое, сострадательное и озабоченное выражение. Она совсем очнулась и с улыбкой достала часики из-за пояса коричневого, тесно прилегающего платья.

— В семь часов вы должны быть у мистера Шпельмана, чтобы почитать ему, — с живостью произнесла она. — У вас полчаса времени, чтобы исполнить желание его королевского высочества.

— Ну, так пойдемте, принц, осматривать мой кабинет! — сказала Имма. — Заодно вы поможете перенести книги, если только это допускает ваш высокий сан. Я возьму половину.

Но Клаус-Генрих взял все книги. Он обхватил их обеими руками, хотя от левой пользы было мало, и кипа книг подпирала ему подбородок. Откинувшись назад и осторожно ступая, чтобы ничего не уронить, шел он следом за Иммой в расположенное напротив главной аллеи крыло здания, где весь бельэтаж был отведен фрейлейн Шпельман и графине.

В большой уютной комнате, куда вела тяжелая дверь, он опустил свою ношу на шестиугольный столик черного дерева перед широким диваном, обитым золотой парчой. Кабинет Иммы Шпельман не был выдержан в традиционном старинном стиле всего дворца. Он был обставлен на современный лад, но без всякого жеманства, а по-мужски, с целесообразной роскошью широкого размаха. Панели из ценной породы дерева доходили почти доверху, и на карнизах под самым потолком блестели старинные изделия из разноцветной майолики, вся комната была устлана восточными коврами, на черном мраморном камине стояли изящной формы вазы и позолоченные часы*. Просторные бархатные кресла были окаймлены шнуром, а драпировки на окнах и дверях — из той же парчи, что и обивка на диване. Большой письменный стол стоял у

сводчатого окна, откуда открывался вид на бассейн перед фасадом дворца. Целую стену занимали книги, но основная библиотека помещалась в соседней, меньшей комнате, тоже устланной коврами; в открытую раздвижную дверь было видно, что все стены там, вплоть до самого потолка, заставлены книжными полками.

— Ну вот, принц, это моя обитель, — заметила Имма Шпельман. — Надеюсь, она вам нравится?

— Еще бы, она великолепна, — ответил он. Впрочем, он ни разу не взглянул по сторонам, а неотступно смотрел на нее, она стояла около шестиугольного стола, опершись на валик дивана. На ней, как всегда, было очаровательное домашнее платье, на этот раз летнее, белое с цветами, заложенное в складку, а рукава разрезные и на груди желтая вышивка. По сравнению с белизной платья, обнаженные руки и шея казались смуглыми, цвета обкуренной морской пенки, огромные глаза, строго блестящие на своеобразном детском личике, красноречиво и неудержимо говорили свое, а прямая прядка иссиня-черных волос выбилась сбоку на лоб. В руке Имма держала розу — подарок Клауса-Генриха.

— Она великолепна, — сказал он, стоя перед ней, и сам не знал, что имел в виду. Его голубые глаза, узкие из-за выступающих простонародному скул, затуманились как от боли.

— У вас столько же книг, сколько у моей сестры Дитлинды цветов.

— У княгини много цветов?

— Да, но последнее время она охладела к ним.

— Ну, давайте убирать, — сказала Имма и взялась за книги.

— Нет, погодите, — еле вымолвил он, так у него стеснило грудь. — Мне столько надо вам сказать, а у нас очень мало времени. Прежде всего, сегодня день моего рождения, потому я и приехал и привез вам розу.

— О, — протянула она, — это примечательный факт! Так сегодня ваш день рождения? Не сомневаюсь, что вы принимали все поздравления с присущей вам учтивостью. Примите заодно и мои! Очень мило, что вы именно сегодня привезли мне розу, хотя с ней и не все благополучно... — И она еще раз с боязливой гримаской понюхала отдающий тлением цветок. — Сколько же лет вам исполнилось сегодня, принц?

— Двадцать семь, — ответил он. — Двадцать семь лет назад я появился на свет в замке Гримбург. С тех пор я жил очень суровой и одинокой жизнью.

Она молчала. И вдруг он увидел, что брови ее чуть насупились, а взгляд что-то ищет у него слева, — да, хотя он, по давней привычке, стоял немного боком, повернувшись к ней правым плечом, но все его старания

оказались тщетными, ее взгляд с молчаливым вопросом остановился на его левой руке, которую он прятал за спиной, упираясь ею в бедро.

— Это у вас от рождения? — шепотом спросила она.

Он побледнел. Но тут же с возгласом, похожим на крик избавления, упал на колени и обеими руками обхватил хрупкую фигурку этого удивительного создания.

Он лежал, простертый перед ней, в белых брюках и в синем с красным форменном сюртуке с майорскими эполетами на узких плечах.

— Сестричка... — лепетал он. — Сестричка...

Она ответила, выпятив губки:

— А где же ваша выдержка, принц? Я считаю, что распускаться непозволительно. При всех обстоятельствах нужно сохранять самообладание.

Но, не помня себя, ничего перед собой не видя, он твердил, подняв к ней лицо:

— Имма... крошка Имма...

Тогда она взяла его руку, левую, увечную, досадный для его высокого назначения изъян, который он всегда, с отроческих лет, искусно и тщательно скрывал, — взяла эту сухонькую руку и поцеловала.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

О состоянии здоровья министра финансов доктора Криппенрейтера ходили внушавшие опасение слухи. Говорили о нервном расстройстве, о прогрессирующем желудочном заболевании, и осунувшееся пожелтевшее лицо господина Криппенрейтера давало полное основание для таких толков... Чего стоит величие! Даже поденщик, даже бездомный бродяга не позавидовал бы теперь титулу, орденам, положению при дворе этого замученного сановника, его высокому посту, добиваясь которого он потратил столько сил, а теперь, трудясь на нем, потерял последнее здоровье. Неоднократно сообщалось о его предстоящей в скором времени отставке, и только неприязню великого герцога к новым людям, а также тем соображением, что сменой лиц ничего уже не исправить, и объясняли тот факт, что эта отставка еще не осуществилась. Доктор Криппенрейтер провел свой летний отпуск в горном курорте; но если он и набрался там кое-каких сил, то по возвращении поправка его пошла насмарку, потому что с самого начала парламентской сессии между министром и бюджетной комиссией возникли серьезные разногласия, которые объяснялись отнюдь не отсутствием гибкости с его стороны, а сложившимися обстоятельствами, безвыходным положением дел.

В середине сентября Альбрехт II по издавна установившемуся обычаю открыл в Старом замке сессию ландтага. Этой церемонии предшествовал молебен в дворцовой церкви, который служил придворный проповедник доктор Визлиценус, затем великий герцог в сопровождении принца Клауса-Генриха торжественно проследовал в Тронный зал, где августейших братьев по знаку председателя верхней палаты графа Пренцлау приветствовали троекратным «ура!» члены обеих палат, министры, придворные чины и прочие господа как военные, так и штатские.

Альбрехт высказал настоятельное желание передать брату свою роль и в этом официальном действе и, только вняв упорным протестам господина фон Кнобельсдорфа, согласился занять свое место в торжественной процессии непосредственно за кадетами, переряженными в пажей. Его стеснял гусарский мундир с брандебурами, рейтузы в обтяжку и вообще вся эта комедия; лицо его явно выражало досаду и смущение. Нервно подергивая плечами, поднялся он на ступени трона и стоял там перед театральным креслом под потрепанным балдахином, посасывая верхнюю

губу. Белый стоячий воротничок, торчавший из шитого серебром гусарского воротника, подпирал его худое, совсем не воинственное лицо с эспаньолкой, а голубые отчужденно глядящие глаза были устремлены в пространство. Среди водворившейся в зале тишины звякнули шпоры флигель-адъютанта, передавшего ему текст тронной речи. И невнятно, чуть пришепетывая, прерывая чтение из-за приступов внезапной хрипоты, произнес великий герцог написанную для него тронную речь.

Вряд ли какая-либо другая тронная речь была составлена столь политично, каждому печальному объективному факту противопоставлялась та или иная присущая народу добродетель. Великий герцог начал с восхваления трудолюбия, которым отличается население, однако затем признал, что подлинного подъема во всех областях промышленности все же нет, а по сему источники дохода не всегда оправдывают возлагаемые на них надежды. Он с удовлетворением отметил, что народ все больше и больше проявляет стремление к общему благу и готовность нести материальные жертвы; затем, не приукрашая действительности, заявил, что, «несмотря на чрезвычайно отрадный факт возросшего поступления налогов, вследствие притока крупных налогоплательщиков-иностранцев» (намек на господина Шпельмана), все же нельзя думать о снижении тягот и по-прежнему приходится уповать на вышеупомянутую похвальную готовность к жертвам. И так уже, говорилось далее, государственной сметой не предусмотрен ряд финансово-политических мероприятий, и хотя пока не удалось еще погасить государственный долг в той мере, в какой это желательно, все же правительство рассматривает продолжение разумной политики займов как наилучший выход из финансовых затруднений. Во всяком случае, несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, оно — то есть правительство — находит поддержку в доверии населения, в его уповании на будущее, исконной добродетели нашего народа... И при первой же возможности тронная речь перешла с деликатной финансово-экономической темы к менее щекотливой: к вопросам церкви, школы и правосудия. Премьер-министр фон Кнобельсдорф от имени государя провозгласил ландтаг открытым. В криках «ура!», которыми проводили Альбрехта, покидавшего зал, упорно звучала какая-то безнадежная нотка.

Погода стояла еще летняя, и великий герцог тут же отбыл в Голлербрунн, откуда выехал в город только ввиду крайней необходимости. Он сделал то, что от него требовалось, а остальное касалось господина Криппенрейтера и ландтага. Как уже было сказано, сейчас же начались пререкания и сразу по многим пунктам: по вопросам о поимущественном

налоге, о налоге на мясо и об окладах чиновникам.

Народные представители ни за что на свете не одобрили бы новых налогов, поэтому изворотливому доктору Криппенрейтеру пришлось на ум заменить существовавшие до сих пор парциальные налоги общим налогом на имущество, что при квоте в тринадцать с половиной процентов обложения увеличило бы доход казны круглым счетом на миллион.

Как необходима и в то же время как недостаточна была такая прибавка к обычным поступлениям, явствовало из сметы на новый бюджетный год, которая была составлена с дефицитом, хотя казна и прибегла к новым займам, и это должно было повергнуть в ужас людей разумных, разбирающихся в вопросах экономики. Было совершенно ясно, что поимущественный налог ложится всей тяжестью на плечи городского населения, и поэтому депутаты от городов единодушно ополчились на ¹/г-процентную налоговую квоту. В виде компенсации они требовали хотя бы отмены налога на мясо, который называли антинародным и допотопным. К тому же комиссия решительно настаивала на давно обещанном и все время откладываемом повышении жалования государственным служащим, и нельзя было отрицать, что оклады чиновникам, духовенству и учителям были мизерны. Но делать золото доктор Криппенрейтер не умел: «Меня не обучили, как делать золото», именно так он и выразился, — он не видел возможности ни отказаться от налога на мясо, ни улучшить положение государственных служащих. Ему не оставалось ничего иного, как настаивать на своих тринадцати с половиной процентах, хотя он лучше других знал, что, даже если ландтаг и даст согласие, существенной пользы это не принесет: положение было серьезное, а пессимистически настроенные люди характеризовали его еще гораздо более мрачными словами.

В «Ведомостях государственного статистического управления» были опубликованы угрожающие данные об урожае за последние годы. Говорилось о ряде неблагоприятных для сельского хозяйства лет. Посевы пострадали от непогоды, града, засухи и ливней, озимые померзли, так как зима выдалась на редкость бесснежная и суровая; злопыхатели утверждали, — возможно, без достаточных оснований, — что климат испортился потому, что свели леса. Так или иначе, по статистическим данным, недобор зерна внушал серьезные опасения. Качество соломы, тоже собранной в недостаточном количестве, по словам официального органа, оставляло желать лучшего. Урожай картофеля согласно статистическим данным был значительно ниже среднего урожая за все последние десятилетия, не говоря уже о том, что не меньше десяти

процентов этого сельскохозяйственного продукта было поражено болезнью. Сбор кормовых — клевера и люцерны — как по количеству, так и по качеству за последние два года был самым неблагоприятным за весь обозреваемый налоговый период, и с озимым рапсом, сеном и отавой дело обстояло не лучше. Упадок сельского хозяйства сказался на резко возросшей в этом отчетном году цифре продаж за недоимки, объяснявшиеся недородом. Для других государств это было бы весьма огорчительно, а для нас оказалось настоящей катастрофой.

Леса? Леса не давали никаких доходов. На смену одной беде приходила другая. На леса не раз нападали вредители шелкопряды, не говоря уже о том, что нерасчетливое сведение лесов значительно снизило их стоимость.

Серебряные рудники? Рудники уже долгое время не приносили никакой прибыли. Стихийные бедствия нарушали работу, на восстановление потребовались бы крупные суммы, добыча не могла оправдать необходимых затрат, поэтому государство было вынуждено временно забросить рудники, хотя таким образом оно лишало куска хлеба многих рабочих и причиняло ущерб целым районам.

Довольно! Из сказанного ясно, как в эти години бедствий обстояло дело с обычными поступлениями в казну. Давно назревавший кризис, — дефицит, переходящий из одного бюджетного года в другой, вследствие общего обнищания, стихийных бедствий и недоимок, — наконец разразился, и тщетные поиски средств, которые помогли бы исправить или хотя бы облегчить положение, открыли самым близоруким глаза на бедственное состояние наших финансов. Об утверждении новых налогов нечего было и думать. В силу своих естественных условий страна и вообще — то была не очень платежеспособна, а в данный момент совершенно истощена, ее платежные возможности иссякли; злопыхатели утверждали, что в деревне все чаще встречаются испытые лица и причина этого прежде всего возмутительные налоги на продукты питания, а затем тяжелые прямые налоги, которые, как известно, вынуждают скотоводов обращать весь удой в деньги. Что же касается второго, хорошо известного финансовому ведомству, средства против недостатка денег, — средства не столь обычного, зато соблазнительно легкого, — а именно займа, то наступил час расплаты за легкомысленное злоупотребление этим средством.

В течение некоторого времени долги погашались, правда неумело и с большим убытком, но затем при Альбрехте II погашение, можно сказать, свелось на нет, едва успевали кое-как заткнуть зияющие дыры в бюджете

новыми займами и выпуском новых серий билетов государственного казначейства, и в результате, к общему ужасу, выяснилось, что государство стоит перед необходимостью выплачивать текущий и краткосрочный фундированный долг, величина которого находится в вопиющем несоответствии с числом жителей великого герцогства. Доктор Криппенрейтер не отступил перед методом, к которому обычно прибегает государство в подобных случаях. Он освободился от тяжелых денежных обязательств, прибегнув к принудительной конверсии, и консолидировал без согласия держателей бумаг краткосрочные обязательства в бессрочные рентные долги, понизив одновременно процент. Но ренту надо было выплачивать, и рентные обязательства тяжелым бременем ложились на экономику страны, в то же время суммы, реализуемые государственным казначейством, с каждым новым выпуском облигаций все уменьшались, ибо курс стоял очень низко. Мало того: в виду экономического кризиса, переживаемого страной, иностранные кредиторы спешили сбыть с рук имеющиеся у них долговые обязательства герцогства, а это опять — таки вызывало падение курса и все увеличивающийся отлив денег из государства; в торговом мире многие стояли на пороге банкротства.

Словом, наш кредит был подорван, бумаги котируются значительно ниже номинала, и хотя ландтаг, возможно, охотнее пошел бы на новый заем, чем на новые налоги, условия, предложенные нам, сделали бы размещение займа чрезвычайно трудным, вернее, просто невозможным. Ибо в довершение несчастья как раз сейчас повсеместно испытывали до сих пор еще памятную экономическую депрессию и нехватку денег.

Что сделать, чтобы почувствовать твердую почву под ногами? Куда обратиться, чтоб утолить снедающий нас денежный голод? Уже давно подымался вопрос о том, чтобы продать в данное время не разрабатываемые серебряные рудники и употребить вырученную сумму на погашение высокопроцентных займов. Но при существующем положении вещей сделка была бы заключена на невыгодных условиях, государство даже не вернуло бы вложенного в рудники капитала и в то же время раз навсегда отказалось бы от дохода, все же рано или поздно возможного; да и покупателя не так-то легко было найти. Была такая минута — минута душевной слабости, — когда возникла даже мысль о продаже казенных лесов. Но надо тут же сказать, что нашлось достаточно здравомыслящих людей, воспрепятствовавших передаче наших лесов в частную собственность.

Дабы ничего не утаить, скажем, что ходили слухи и о других продажах, слухи, судя по которым можно было думать, что при

создавшихся затруднительных обстоятельствах посягнут даже на то достояние, которое народ в своем благоговении почитал неподвластным превратностям судьбы. «Курьер», в привычки которого не входило из чувства деликатности умалчивать о какой-либо новости, первый сообщил о будто бы предполагаемой продаже двух загородных великогерцогских дворцов Монплезира и Отрады. Принимая во внимание, что августейшая семья теперь не пользуется обоими дворцами для своего местопребывания, а на содержание их с каждым годом требуются все большие суммы, удельное ведомство будто бы дало распоряжение соответствующим учреждениям предпринять шаги к их продаже. Что это означало? Разумеется, в данном случае дело обстояло совсем не так, как при продаже Дельфиненорта, которая состоялась на исключительно благоприятных и выгодных условиях и, несомненно, была актом государственной мудрости. Люди, не стесняющиеся называть вещи их именами, чего избегают люди с тонкой душевной организацией, утверждали, что управление придворными финансами в безвыходном положении, что его осаждают своими требованиями потерявшие терпение кредиторы, иначе оно не решилось бы на такую продажу.

Как далеко зашло дело? В чьи руки попадут дворцы? Как раз благожелательные люди, которые и задавали эти вопросы, были склонны верить еще одной, по их мнению, утешительной версии, распускаемой не в меру осведомленными умниками: и на сей раз покупатель не кто иной, как Самуэль Шпельман, — это было голословное, с потолка взятое утверждение, но по нему можно судить, какую роль в воображении народа играет этот нелюдимый и больной человечек, поселившийся у нас со своим лейб-медиком, электрическим органом и собранием стекла.

По мановению его руки восстал из запустения дворец с колоннами, сводчатыми окнами и резными гирляндами, в котором он теперь жил с княжеской роскошью. Видели его редко: он лежал, обложенный припарками. Зато видели его дочь, усердно изучавшую алгебру, экзотическую девушку с капризным подвижным лицом, недостижимую, как королева, в компаньонках у нее была графиня, а сама она однажды гневно и смело отстранила караул, преградивший ей дорогу, — видели ее, а рядом с ней видели иногда и принца Клауса-Генриха.

Рауль Юбербейн, любивший громкие фразы, как-то заявил, что люди смотрят на них «затаив дыхание»; это, конечно, было сильно сказано, но по существу он был прав: никогда еще жители нашей столицы — и притом все от мала до велика — не следили за тем или иным происшествием в высшем свете или в столичном обществе с таким жгучим интересом,

оттесняющим все остальное на задний план, как за посещениями Клаусом-Генрихом Дельфиненорта. Сам принц до известного момента — именно до известного разговора с его превосходительством премьер-министром фон Кнобельсдорфом — действовал безотчетно, не думая об окружающих, повинувшись только внутреннему побуждению... Но его учитель мог с полным правом, как обычно по-отечески, посмеяться над наивностью Клауса-Генриха, полагавшего, что его шаги останутся скрытыми от света; возможно, что болтала прислуга, как дворцовая, так и шпельмановская, возможно, что публика сама не плошала, — как бы там ни было, но каждый раз, как Клаус-Генрих встречался с фрейлейн Шпельман, каждый раз с той первой встречи в Доротеинской больнице, это замечали, об этом говорили. Замечали? Нет, какое там замечали — наблюдали, следили во все глаза, запоминали! Говорили? Нет, вернее, не говорили, а обсуждали и толковали на все лады, не жалея слов. Эти встречи служили темой для разговоров при дворе, в салонах, гостиных и спальнях, в парикмахерских, мастерских, людских, трактирах; о них судачили извозчики на биржах, служанки у ворот, они занимали в равной мере как мужчин, так и женщин, разумеется, несколько по-разному, что объясняется различием точек зрения тех и других. Неслыханный интерес, единодушно проявляемый к этим встречам, уравнивал, объединял людей, перекидывал мост через пропасть, разделяющую сословия. Случалось, трамвайный кондуктор на площадке вагона спрашивал элегантно одетого пассажира, слышал ли тот уже, что вчера днем принц опять провел часок в Дельфиненорте?

Но вот что было во всем этом и само по себе примечательно и немаловажно для последующего: в толках и пересудах не чувствовалось ни капли недоброжелательства, злорадства, которое обычно вызывают всякие предосудительные события в высших сферах. Наоборот, уже с самого начала еще до того, как могла возникнуть какая-либо задняя мысль, все широкие и горячие обсуждения всегда велись в духе сочувствия и благожелательства, так что, если бы принцу раньше пришло на ум поинтересоваться общественным мнением, он сейчас же приобрел бы радостную уверенность, что его действия получили всенародное одобрение. Когда он в разговоре со своим учителем назвал фрейлейн Шпельман «принцессой», то он, как это, впрочем, ему и приличествовало, говорил совершенно в духе народа — того народа, который своим поэтическим чутьем всегда умеет уловить все необычное и сказочное. Да, для народа эта бледная, черноволосая, полная экзотической прелести девушка, в жилах которой бурлила такая смешанная кровь, девушка, приехавшая к нам из заморских стран и зажившая здесь своей

обособленной, необычной жизнью, — для народа она была королевной или феей из сказочной страны, принцессой в подлинном смысле слова. Но в то же время все: и ее поведение, и манера держать себя, и отношение к ней окружающих — способствовало тому, чтобы ее признали принцессой в обычном смысле слова. Разве не жила она, как подобает принцессе, во дворце, со своей придворной дамой, настоящей графиней? Разве не выезжала она в роскошном автомобиле или в коляске четверкой, дабы, совсем как августейшая особа, посетить богоугодные заведения — богадельню для слепых, сиротский приют, общину сестер милосердия, столовую для бедных, молочную кухню — и самой приобрести новые знания и своим присутствием оказать на помыслы людей возвышающее действие? Разве не пожертвовала она деньги из «собственной казны», как знаменательно выразился «Курьер», на погорельцев и пострадавших от наводнения, причем ровно столько же, сколько и великий герцог (не больше, что с удовлетворением было отмечено всеми)? Разве не помещали чуть ли не каждый день газеты непосредственно за придворной хроникой отчеты о состоянии здоровья господина Шпельмана — лежит ли он в постели, или колики отпустили его и он возобновил свои утренние посещения курортного парка? Разве не стали для облика столичных улиц столь же характерны, как и коричневые ливреи великогерцогских слуг, белые ливреи шпельмановских лакеев? Разве туристы, руководствуясь путеводителем, не отправлялись, иногда даже не успев посмотреть Старый замок, в Дельфиненорт, дабы насладиться созерцанием шпельмановского владения? Разве не были оба дворца — Старый замок и Дельфиненорт — можно сказать в равной мере высочайшими резиденциями, привлекавшими общее внимание? К какому обществу принадлежало то обособленное и исключительное дитя человеческое, которое волей судеб было дочерью Самуэля Шпельмана? К кому могла она примкнуть, с кем водить знакомство? Самым естественным, самым понятным, самым простым представлялось видеть ее вместе с Клаусом-Генрихом. И даже все те, кому не посчастливилось видеть их собственными глазами, представляли их мысленно и углублялись в созерцание этой воображаемой картины: хорошо знакомая статная, праздничная фигура принца, и рядом с ним дочь и наследница всемогущего чужестранца, больного и раздражительного при всем своем богатстве, чуть не вдвое превышающем общую сумму нашего государственного долга...

И тут как-то так получилось, что всплыло одно воспоминание, один странный рассказ, овладевший мыслями людей... Никто не мог бы сказать, кто первый вспомнил и упомянул о нем. Выяснить это не удалось.

Возможно — женщина или ребенок с доверчивым взглядом, которого укачивали под эту сказку, — как знать! Так или иначе в воображении народа ожил призрачный образ старой скрюченной цыганки, седой и косматой, с горящим внутренним огнем взором, которая что-то бормотала, чертя клюкой по песку, и ее несвязные слова были записаны и передавались от поколения к поколению... «Величайшее счастье?» Его принесет стране «однорукий» государь — Он даст своей стране, гласило предсказание, одной рукой больше, чем другие двумя... Одной? Поймите, так ли уж все совершенно, нет ли какого изъяна в статном праздничном облике принца? Ведь если подумать, изъян, физический недостаток в нем есть, только подданные, приветствуя принца, старались не замечать этого недостатка: во-первых, из деликатности, а во-вторых, он сам предупредительно облегчал им эту задачу. Он сидел в коляске, скрестив руки на эфесе сабли и прикрывая правой рукой левую. Он стоял под балдахином на украшенной флагами трибуне в полуоборот к публике, держа левую руку чуть — чуть за спиной. Левая рука у него была короче правой, кисть недоразвита, это было известно, существовали даже различные объяснения, почему она такая, но из почтительного благоговения этого недостатка не замечали, даже не допускали мысли о нем... А вот теперь его вдруг заметили. Навряд ли возможно выяснить, кто первый шепотом напомнил о нем и связал с предсказанием цыганки, — может быть, ребенок, а может быть, служанка или старец, стоящий на пороге вечности. Ясно одно: заговорили об этом в гуще народа. Некоторые думы и чаяния народа, — между прочим, и его представление об Имме Шпельман, — просочились в образованные классы, дошли до самых влиятельных сфер снизу, были внушены им народом, непосредственная, свободная от всех предрассудков вера народа создала широкую и прочную основу для дальнейших событий. «Однорукий?» «Величайшее счастье?» — спрашивал народ. Мысленными очами народ видел Клауса-Генриха, заложившего левую руку за спину, рядом с Иммой Шпельман и, не решаясь додумать до конца то, что думал, трепетал от этой недодуманной мысли..

Все было еще так зыбко, никто ничего не додумывал до конца — даже наиболее заинтересованные действующие лица. Ибо отношения Клауса-Генриха и Иммы Шпельман складывались так необычно, и ее мысли — да и его также — пока еще не могли быть направлены на какую-нибудь осязательную цель. Действительно, после той почти немой сцены, которая разыгралась в день рождения принца (когда фрейлейн Шпельман показывала ему свои книги), в их отношениях мало что изменилось, вернее

сказать, ничего не изменилось. Правда, Клаус-Генрих возвратился тогда к себе в Эрмитаж окрыленный, в приподнятом и восторженном настроении, обычном для молодого человека при подобных обстоятельствах: ему даже казалось, что случилось что-то очень важное, но вскоре ему было дано понять, что это еще только начало, что ему еще предстоит добиваться того, что он почитал своим счастьем. Добиваться, но, как уже говорилось, пока еще не думая о реальной цели, ну, скажем, об обычном сватовстве или чем-нибудь в том же роде, — пока это было вне пределов мыслимого, да и могло ли быть иначе при его полной оторванности от реальной жизни. Клаус-Генрих молил теперь взглядами и словами, но не о том, чтобы фрейлейн Шпельман ответила на его чувства, — нет, он молил, чтобы она захотела поверить в реальность и силу его чувства. Потому что она не хотела верить.

Две недели он не появлялся в Дельфиненорте, и все это время жил тем, что произошло. Он не спешил вытеснить это событие новым; кроме того, он был занят обязанностями по представительству, между прочим присутствовал на празднике стрелкового общества, официальным шефом которого состоял и в качестве такового ежегодно бывал на праздновании дня его основания. Одетый, как полагается, в зеленый охотничий костюм, появился он на стрельбище, его восторженно встретили традиционным приветствием стрелков, затем он без всякого аппетита закусил с ошастливленными членами правления и наконец, став в позу опытного стрелка, сделал несколько выстрелов по разным мишеням. По истечении двух недель — была середина июня — он снова нанес визит Шпельманам, за чаем Имма была чрезвычайно насмешлива и говорила вычурными книжными фразами. На этот раз к чаю вышел господин Шпельман, его присутствие помешало Клаусу-Генриху остаться наедине с молодой хозяйкой, чего он так страстно желал. Зато оно неожиданно помогло ему справиться с огорчением, которое причиняли ему колкости Иммы, ибо Самуэль Шпельман на этот раз обращался с ним мягко, даже ласково.

Чай пили на веранде, сидя в новомодных плетеных креслах, а из цветника веяло нежными ароматами. На камышовой кушетке, пододвинутой к столу, под зеленым шелковым одеялом, затканым попугаями и подбитым мехом, лежал, обложенный шелковыми подушками, хозяин дома. Ему позволили встать с постели, чтобы подышать теплым весенним воздухом, но щеки у него сегодня не горели лихорадочным румянцем, они были желтовато-бледными, а глазки мутными; подбородок заострился, прямой нос казался длиннее, чем всегда, и настроение было мягкое и лирическое без обычной раздражительности

— тревожный симптом! У изголовья кушетки сидел, вытянувшись и кротко улыбаясь, доктор Ватерклуз.

— А, молодой принц... — устало протянул мистер Шпельман и на вопрос о его самочувствии ответил лишь невнятным междометием. Имма, в переливчатом домашнем платье с высокой талией и в зеленом бархатном фигаро, заварила чай из электрического самовара. Выпятив губки, она поздравила принца с успехами, проявленными им лично на стрельбище, и, покрутив головкой, добавила, что «с величайшим удовлетворением узнала об этом из газет», и даже прочитала графине о его достижениях на стрельбище. Графиня в неизменном облегающем коричневом платье сидела за столом очень прямо и с достоинством помешивала ложечкой в чашке, ничуть не давая себе воли. Разговорчивее всех был сегодня мистер Шпельман. Как уже сказано, тон у него был мягкий, лирический — следствие стихнувших колик.

Он рассказал об одном событии многолетней давности, но, по-видимому, не изжитом до сих пор и наново волновавшем его всякий раз, как ему нездоровилось, — рассказал эту короткую и несложную историю дважды подряд и во второй раз разогорчился еще больше, чем в первый. Как-то раз он, по своему обычаю, собрался сделать пожертвование — не бог весть какого масштаба, но все же достаточно внушительное, — короче говоря, он в письменной форме известил одно из крупнейших в Соединенных Штатах человеколюбивых учреждений о своем намерении внести на его благие начинания миллион долларов в железнодорожных акциях, в солиднейших акциях Тихоокеанской железнодорожной компании, пояснил мистер Шпельман и хлопнул ладонью об ладонь, как бы предъявляя вышеназванные акции. А как поступило человеколюбивое учреждение? Отклонило, отвергло этот дар, не пожелало принять его, да еще пояснило, что не нуждается в помощи деньгами, добытыми сомнительным и насильственным путем. Вот как оно поступило! У мистера Шпельмана губы дрожали оба раза, что он об этом рассказывал, и теперь в поисках утешения и сочувствия он оглядел своими близко посаженными круглыми глазками сидящих за чайным столом.

— Не очень-то человеколюбивый поступок со стороны человеколюбивого учреждения, — заметил Клаус-Генрих. — Отнюдь нет.

И он так выразительно покачал головой, так явственно показал свое возмущение и сочувствие, что господин Шпельман даже повеселел и заявил, что сегодня приятно быть на воздухе и снизу хорошо пахнет цветами. Мало того, он воспользовался первым же случаем, чтобы выразить признательность и подчеркнуть свое благоволение к молодому

гостю. Надо сказать, что в это лето погода стояла переменчивая, жара сменялась грозами с градом и похолоданием, и Клаус-Генрих схватил простуду, у него распухло горло, ему было больно глотать, и так как чересчур бережное отношение к его высокой особе, предназначенной выполнять представительные функции, естественно, сделало из него немножко неженку, он не мог удержаться, чтобы не заговорить об этом и не пожаловаться на боль в горле.

— Вам необходимы согревающие компрессы, — решил господин Шпельман. — Есть у вас компрессная клеенка?

Нет, у Клауса-Генриха таковой не было. Тогда господин Шпельман сбросил одеяло с попугаями, встал и пошел в комнаты. Не отвечая на вопросы, не желая никого слушать, он встал и пошел. Оставшиеся спрашивали друг друга, что он такое надумал, и доктор Ватерклуз, опасаясь, что у его пациента начался приступ колик, пошел следом за ним.

Но, как оказалось, господин Шпельман вспомнил, что в каком-то ящике у него есть кусочек компрессной клеенки, теперь он возвратился с этим кусочком, сильно потрескавшимся, и вручил его принцу, подробно разъяснив, как употреблять ее, чтобы извлечь настоящую пользу. Клаус-Генрих восторженно поблагодарил, и господин Шпельман с удовлетворением снова улегся на кушетку. На этот раз он остался и после чая и даже предложил совместную прогулку по парку, причем сам господин Шпельман в домашних мягких башмаках шел между Иммой и Клаусом-Генрихом, а графиня Левенюль и доктор Ватерклуз следовали на некотором расстоянии. Когда принц собрался на сегодня распрощаться, Имма ввернула язвительное замечание насчет его горла и компрессов и со скрытой иронией стала его умолять, чтобы он лечился и тщательно оберегал свою священную особу. Хотя Клаус-Генрих не нашелся, что ответить, — да она и не рассчитывала на достойный ответ, — он все же вскочил в свой догкорт в довольно приподнятом настроении, ибо кусочек потрескавшейся клеенки в заднем кармане форменного сюртука казался ему залогом счастливого будущего, — откуда у него явилось такое чувство, он и сам не мог понять толком.

Одно ему было ясно — борьба для него только начинается. Борьба за доверие Иммы Шпельман, за то, чтобы она до конца поверила ему и решилась бы с тех чистых и холодных высот, где она привыкла парить, из царства алгебры и язвительной насмешки спуститься вместе с ним в неведомые ей, более теплые, душные и плодотворные области, куда он ее звал. Ей же такое решение пока что внушало немалый страх.

В следующий раз он оказался с ней наедине, или все равно что

наедине, так как третьей была графиня Левенюль. Ночью прошел сильный дождь, и утро было прохладное и пасмурное. Они ехали верхом по зеленому откосу. Клаус-Генрих был в высоких сапогах, рукоятку хлыста он продел в петлю своей серой шинели. Шлюз у бревенчатого моста был закрыт, и русло речного рукава тянулось сухое и каменистое.

У Персеваля прошел первый приступ шумного неистовства, и теперь он как на пружинах прыгал с берега на берег либо, по собачьей манере, бочком трусил впереди лошадей. Графиня ехала на Изабо, с улыбкой склонив набок свою маленькую голову.

— Я день и ночь думаю все о том же, что было не иначе как сон, — сказал Клаус-Генрих. — Я лежу ночью, и кругом такая тишина, что слышно, как фыркает в деннике Флориан, и тогда я не сомневаюсь, что это не был сон. Но стоит мне увидеть вас, вот как сейчас или как в тот день за чаем, и мне не верится, что это возможно наяву.

— Ваши слова требуют разъяснения, принц, — ответила она.

— Скажите, фрейлейн Имма, вы мне показывали девятнадцать дней тому назад свои книги — или нет?

— Девятнадцать дней тому назад? Нужно высчитать. Нет, постойте, по-моему выходит, что это было восемнадцать с половиной дней тому назад.

— Но книги-то вы мне показывали?

— По этому пункту никаких разногласий нет. И я лелею надежду, что они вам понравились.

— Ах, Имма, зачем вы так говорите сейчас со мной! Мне не до шуток, мне столько нужно сказать вам... Я не успел тогда, девятнадцать дней тому назад, когда вы мне показывали свои книги... свою библиотеку. Я хочу начать с того, на чем мы остановились, а все, что было в промежутке, надо вычеркнуть...

— Бог с вами, принц, гораздо лучше вычеркнуть именно это! О чем вы говорите! О чем хотите напомнить себе и мне! Мне казалось, у вас все основания предать это забвению! Подумать только — распуститься до такой степени. Утратить всякую выдержку!

— Если бы вы знали, Имма, какое для меня было блаженство — утратить выдержку!

— Покорно благодарю! Вы понимаете, что это оскорбительно? Я требую, чтобы вы держали себя со мной так же, как со всеми на свете. Я не для того существую, чтобы служить вам передышкой от ваших высоких обязанностей.

— Как вы заблуждаетесь, Имма! Но я знаю, вы нарочно, в шутку

неверно толкуете мои слова. Из этого я вижу, что вы мне не верите и не желаете принять всерьез то, что я говорю...

— В самом деле, принц, вы слишком многого от меня требуете! Ведь вы же сами рассказывали мне свою жизнь. Вы для виду учились в школе, для виду сидели в университете, для виду были на военной службе и продолжаете для виду носить мундир; для виду вы даете аудиенции, для виду изображаете стрелка и еще бог весть кого; вы и на свет-то появились для виду, а теперь требуете, чтобы я поверила, будто для вас хоть что-нибудь может быть серьезно.

Во время ее речи у него на глазах выступили слезы, так ему стало больно от ее слов.

— Вы правы, Имма, — тихо ответил он, — в моей жизни много ненастоящего. Но, подумайте, я не сам создал или выбрал себе такую жизнь, я только выполнял строго и точно предписанный мне долг, чтоб являть пример людям. И мало того, что он нелегко мне дался, ценой запретов и отказов, так теперь еще я наказан тем, что вы не верите мне.

— Я знаю, принц, вы гордитесь своим высоким назначением и своей жизнью, — сказала она, — как же я могу желать, чтобы вы изменили себе?

— Нет, — крикнул он, — предоставьте мне самому решать, изменяю я себе или нет, а вы об этом не думайте! У меня был случай, когда я изменил себе и пытался обойти запрет, и все это кончилось позором. Но с тех пор, как я встретил вас, я знаю, впервые знаю, что я без угрызений совести и без ущерба для того, что зовут моим высоким призванием, впервые могу, как всякий человек, дать волю чувству, хотя доктор Юбербейн говорит и даже по-латыни, что это не дано...

— Вот видите, что говорит ваш друг!

— Да ведь вы сами называли его нехорошим человеком и сказали, что он плохо кончит! Это благородная натура, я высоко ценю его, он мне раскрыл глаза и на меня самого, и на многое другое. Но все Эю время я часто думал о нем и после того, как вы так строго осудили его, я часами размышлял о вашем суждении и в конце концов согласился с вами. Видите ли, Имма, в чем беда доктора Юбербейна — он граждует со счастьем, в этом все дело.

— Что ж, вражда достойная, — заметила Имма Шпельман.

— Достойная, но нехорошая, как вы сами сказали, и притом, греховная, — возразил Клаус-Генрих, — ибо он грешит против того, что важнее, чем его неколебимое достоинство, теперь я это знаю, и в этом грехе он по-отечески наставлял меня. Но теперь я перерос его наставления хотя бы в этом. Я стал самостоятельным, и пусть я не убедил Юбербейна,

вас мне удастся убедить, Имма, не сегодня так позднее.

— Да, принц, надо отдать вам должное! Вы умеете убеждать и жаром своего красноречия увлечете хоть кого! Вы как будто сказали — девятнадцать дней? Я настаиваю на восемнадцати с половиной, но разница не так уж существенна. За это время вы соизволили появиться в Дельфиненорте всего раз, четыре дня тому назад...

Он испуганно вскинул на нее взгляд.

— Ну, не сердитесь на меня, Имма! Будьте ко мне хоть чуточку снисходительны... Подумайте, как я еще неопытен... в этой чуждой сфере! Сам не знаю, почему это так получилось... Должно быть, мне хотелось дать нам обоим успокоиться. А тут еще меня одолели разные обязательства...

— Понятно, вам нужно было для виду стрелять в мишень. Я читала в газетах. И, как всегда, вы проявили недюжинные таланты. На стрельбище было полным-полно людей, а вы выставляли себя им напоказ в маскардном наряде, чтобы они еще сильнее вас любили.

— Имма, пожалуйста, не переходите на галоп! Слова нельзя сказать... Любили, говорите вы. Да разве это любовь? Это показная, условная поверхностная любовь, любовь на расстоянии, которая ничего не стоит — парадная любовь без капельки души! Нет, вы не должны сердиться на то, что я терплю такую любовь, ведь она нужна не мне, а тем людям, которых она возвышает в собственных глазах, они этого сами хотят. Я же хочу другого и обращаюсь к вам, Имма...

— Чем могу вам служить, принц?

— Вы сами знаете, Имма! Я прошу у вас доверия, можете вы хоть немножко довериться мне?

Она посмотрела на него, и такого настойчивого вопроса еще ни разу не было в ее огромных темных глазах. Но как ни горячо он молил ее без слов, одним только взглядом, она отвернулась, замкнутая и неприступная.

— Нет, принц Клаус-Генрих, не могу.

У него вырвался страдальческий стон, и он спросил дрожащим голосом:

— Не можете-почему?

— Вы сами мне мешаете, — ответила она.

— Чем я мешаю? Ну, прошу вас, объясните же!

Все с тем же неприступным видом, опустив глаза на белые поводья и слегка покачиваясь в седле, она начала:

— Всем! Своим поведением, манерами, самой своей августейшей особой. Помните, как вы помешали бедняжке графине дать волю своей

фантазии и вынудили ее мыслить здраво и трезво, хотя ей за непосильные испытания и были ниспосланы благодетельное помрачение ума и чудаковатость? И помните еще,[^] я вам сказала, что ясно представляю себе, как вы отрезвили ее? Да, я это вижу очень ясно, потому что и мне вы мешаете дать себе волю, меня вы тоже ежеминутно отрезвляете и словами, и взглядами, и даже тем, как вы стоите и сидите. Потому-то и немыслимо довериться вам. Мне случалось наблюдать, как вы ведете себя с другими, будь то с доктором Плюшем в Доротеинской больнице или с господином Штафенютером в кофейне при «Фазаннике» — все равно, каждый раз мне становилось холодно и страшно. Вы стоите в картинной позе и задаете вопросы, но не из участия, вас не интересуют ответы, вас вообще ничто не интересует и не трогает по-настоящему. Я часто замечала — вот вы говорите, вы* рассказываете какое-нибудь мнение, но с таким же успе* хом вы могли бы высказать и любое другое, потому что на самом деле у вас нет собственного мнения, вы ни во что не верите, вас ничто не трогает, вам важно одно — держать себя как приличествует принцу. Вы говорите, что ваши обязанности нелегки, но раз уж вы меня вызвали на это, я позволю себе заметить, что вам было бы куда легче, если бы у вас было свое мнение, свои убеждения, — таково мое мнение и мое глубокое убеждение, принц. Как же прикажете верить вам? Нет, не доверие внушаете вы, а неловкость, от вас веет холодом, и как бы я ни старалась приблизиться к вам, мне бы помешала эта самая неловкость и скованность. Ну вот — я вам ответила.

Он слушал ее с болью, затаив дыхание, и несколько раз поднимал глаза на ее бледное личико, а потом, по ее примеру, опускал их на поводья.

— Благодарю вас, Имма, — сказал он, — благодарю за то, что вы говорили вполне серьезно, — обычно вы только иронизируете, и сознайтесь сами, как я по-своему, так и вы по-своему тоже ничего не принимаете всерьез.

— Иначе как иронически с вами и нельзя говорить, принц!

— Порой вы бываете даже злой и жестокой, как, например, со старшей сестрой в Доротеинской больнице. Вы совсем смутили бедняжку.

— Я отлично знаю, что и у меня есть недостатки, и хорошо бы, если бы кто-нибудь помог мне избавиться от них.

— Я буду вам помогать, мы будем помогать друг другу...

— Не думаю, принц, что мы можем друг другу помочь.

— Нет, можем. Вот и сейчас уже вы говорили серьезно, безо всякой иронии. Да и я уже не прежний, и когда вы утверждаете, будто мне ничто не интересно, ничто меня не трогает, — вы неправы, потому что теперь вы,

вы, Имма, до глубины души трогаете меня. И потому что это для меня серьезнее и важнее всего на свете, я в конце концов завоюю ваше доверие. Если бы вы знали, какая для меня радость услышать, что вы старались приблизиться ко мне! Да, да, постарайтесь еще, и пусть вас не смущает какая-то там неловкость, которую я будто бы вам внушаю! Ведь я же отлично знаю, что сам виноват во всем! Когда вы опять почувствуете такую неловкость, посмейтесь надо мной и над собой, но только не отстраняйтесь от меня. Ну, обещайте, что постараетесь!

Но Имма Шпельман ничего не обещала, а улучив минуту, все-таки перешла на галоп, и много еще подобных разговоров кончалось ничем.

Иногда Клаус-Генрих пил чай в Дельфиненорте, а затем обычная компания — принц, фрейлейн Шпельман, графиня и Персеваль — совершала прогулку по парку. Породистый колли степенно семенил рядом с Иммой, а графиня Левенюль шла, отступя на два — три шага. Задержавшись в самом начале прогулки, чтобы, жеманно оттопырив мизинчики, подвязать какой-то кустик, она не спешила наверстать расстояние. Таким образом Клаус-Генрих и Имма шли впереди и продолжали объяснение; описав определенный круг, они поворачивали назад, так что теперь графиня была на два-три шага впереди них, и Клаус-Генрих, в подкрепление своих ораторских усилий, осторожно, не поворачиваясь к Имме, брал ее узкую руку без колец в обе свои руки, и в левую тоже, — он уже не думал, что ее надо прятать, и тут она не была помехой, как при исполнении официальных обязанностей, — и при этом настойчиво спрашивал, старается ли Имма почувствовать к нему доверие и удастся ли ей это хоть немножко. С огорчением услышав, что все это время она главным образом училась, занималась алгеброй и витала в горних высях, он с жаром убеждал ее отложить книги, которые только отвлекают от того главного, на что сейчас должны быть направлены все силы ее ума. Говорил он также о себе, о том сковывающем, отрезвляющем действии, какое, по ее словам, он всегда оказывает, пытался объяснить причину такого воздействия и тем самым свести его на нет. Он говорил о том, какую холодную, суровую и убогую жизнь вел до сих пор и что при сем всегда присутствовали люди, лишь бы присутствовать и созерцать, а его высокое назначение требовало, чтобы он показывался им, дабы они могли созерцать его, и это, пожалуй, самое тяжелое. Он из сил выбивался, внушая ей, что избавиться от тех недостатков, которые вспугнули бедняжку графиню и, к его великому огорчению, отталкивают ее самое, — избавиться от них он может только с ее помощью, его исцеление всецело зависит от нее.

Она смотрела на него, ее огромные глаза темнели от трепетного вопроса, видно было, что и она борется. Но потом она встряхивала головой или, выпятив губки, в насмешку произносила высокопарную фразу и тем обрывала разговор, не в силах сломить себя и произнести то «да», пойти на ту жертву, о которой он молил и которая, при существующем положении вещей, собственно, ни в чем не заключалась и ни к чему ее не обязывала.

Она не запрещала ему приезжать два раза в неделю, не запрещала говорить, умолять и убеждать ее и время от времени поддерживать обеими руками ее руку. Но все это она только терпела, не сдаваясь, — казалось, ее страх перед решением, боязнь спуститься к нему из своего царства бесстрастной иронии непреодолимы, и случалось, что, измучившись и отчаявшись, она раздражалась такими горькими речами:

— Лучше бы нам никогда не встречаться, принц! Вы бы продолжали преспокойно осуществлять свое высокое назначение, а я жила бы тихо и мирно и никто бы никого не мучил!

И нелегко бывало заставить ее отречься от своих слов и вынудить у нее признание, что не так уж она жалеет об их знакомстве.

В этих прениях проходило время. Лето клонилось к концу, от ранних ночных заморозков с деревьев, не успев пожелтеть, опадали листья, копыта Фатьмы, Флориана и Изабо шуршали по красной и золотой листве, надвигалась осень с туманами и терпкими запахами — и никто не предвидел положительной перемены или решающего поворота в столь сложном и неопределенном положении дел.

Велика заслуга того, кто поставил их на реальную почву и направил по пути благополучного завершения, и заслуга эта бесспорно принадлежит тому облеченному высокой властью человеку, который до поры до времени держался в стороне, а в нужную минуту тактично, но решительно вмешался в ход событий. Человек этот был его превосходительство господин фон Кнобельсдорф, министр внутренних и иностранных дел, а также министр великогерцогского двора.

Старший преподаватель доктор Юбербейн не ошибался, говоря, что председатель совета министров осведомлен обо всех личных и сердечных делах Клауса-Генриха. Этого мало: у старого сановника были умные, обладающие хорошим нюхом агенты, которые постоянно держали его в курсе общественного мнения и той роли, которую Самуэль Шпельман и его дочь играют в народной фантазии, возведшей их чуть ли не в королевский сан, в курсе того, с каким страстным и суеверным интересом следят столичные жители за общением между дворцами Эрмитаж и Дельфиненорт, как одобрительно относятся к этому общению, — словом,

во что оно претворяется по разговорам и слухам для всякого, кто не прикидывается глухим и слепым, не только в столице, но и во всей стране. Симптоматичный случай окончательно утвердил господина фон Кнобельсдорфа в его намерениях.

В начале октября — сессия ландтага открылась две недели назад и распри с бюджетной комиссией были в полном разгаре — захворала Имма Шпельман и, как думали вначале, захворала очень серьезно. Выяснилось, что неосторожная девица — бог весть под влиянием какого настроения или каприза — во время верховой прогулки с графиней Левенюль чуть не полчаса скакала на своей Фатме навстречу сильному северо-восточному ветру, после чего возвратилась с острой эмфиземой легких, от которой едва не задохнулась. В течение нескольких часов это известие облетело весь город. Говорили, что жизнь девушки висит на волоске, — впрочем, вскоре, к счастью, выяснилось, что слухи непомерно преувеличены. Однако всеобщее смятение и сочувствие не могло быть сильнее, если бы подобное несчастье стряслось с кем-нибудь из членов Гримбургской династии или даже с самым великим герцогом. Ни о чем другом не говорили. В бедных кварталах столицы, например в районе Доротеинской детской больницы, женщины стояли под вечер на пороге своих домишек и кашляли, прижав руки к груди, чтобы наглядно показать друг другу, как это бывает, когда человек задыхается. В вечерних выпусках газет были напечатаны подробные, медицински обоснованные информации о здоровье фрейлейн Шпельман, их передавали из уст в уста, читали за семейным столом и за столиком в трактире, обсуждали в трамвае. Люди видели, как репортер из «Курьера» промчался в извозничьей пролетке в Дельфиненорт, там в вестибюле с мозаичным полом весьма нелюбезно был принят шпельмановским butler'ом и даже, не щадя усилий, изъяснялся с ним по-английски. Вообще газеты не мало повинны в том, что это событие было раздуто и возбудило излишнее беспокойство. На деле никакой серьезной опасности не было. После шестидневного постельного режима под наблюдением шпельмановского лейб-медика расширение сосудов ликвидировалось и легкие болящей пришли в норму. Но этих шести дней было с избытком довольно, чтобы показать, какое место в нашем общественном мнении заняли Шпельманы и, в частности, фрейлейн Имма. Каждое утро в мозаичном вестибюле Дельфиненорта собирались корреспонденты газет, выразители всенародного любопытства, и выслушивали краткий отчет дворецкого за истекший день, а затем, уснастив его подробностями, до которых так жадна публика, помещали в своих органах. Люди читали о душистых приветах и пожеланиях

скорейшего выздоровления, поступавших в Дельфиненорт от различных благотворительных учреждений, которые Имма Шпельман посещала и щедро субсидировала (остряки замечали при этом, что великогерцогскому податному ведомству не мешало бы тоже воспользоваться случаем и выразить свою признательность). Люди читали и, опустив газету, переглядывались — о «великолепной корзине цветов», которую принц Клаус-Генрих со своей визитной карточкой послал в Дельфиненорт (в действительности принц каждый день, пока фрейлейн Шпельман лежала больная, посылал ей цветы, но хроникеры упомянули только об одном случае, щадя нервы публики). Затем люди прочли, что пользующаяся всеобщей любовью больная в первый раз встала с постели, и наконец узнали, что ей разрешено выехать на прогулку, но этот выезд, состоявшийся в солнечный осенний день ровно через неделю после того как фрейлейн Шпельман слегла, послужил поводом для такого бурного и дружного выражения восторга, что люди с высокоразвитым чувством собственного достоинства сочли его чрезмерным и неуместным. И в самом деле, пока громадный оливковый шпельмановский автомобиль с кирпично-красными кожаными сидениями, где за рулем сидел молодой шофер, бледный и замкнутый на вид — типичный англосакс, — дожидался у главного портала Дельфиненорта, вокруг собралась порядочная толпа, и, когда фрейлейн Шпельман и графиня Левенюль в сопровождении лакея с пледами сошли со ступеней, в толпе замахали шапками и платками, а клики «ура» не смолкали все время, пока машина, давая гудки, выбиралась из сутолоки и наконец укатила, обдав манифестантов перегаром бензина. Весьма возможно, что главными крикунами и вправду были те малопочтенные личности, которые падки до таких зрелищ: мальчишки-подростки, женщины с корзинками для провизии, школьники, зеваки, бродяги и прочие праздношатающиеся. Но спрашивается, из кого должна состоять толпа, чтобы ее признали добропорядочной? Не будем обходить молчанием и слушок, пущенный позднее присяжными скептиками, согласно которому в толпу, окружавшую автомобиль, затесался подручный господина фон Кнобельсдорфа, агент тайной полиции, и он-то будто бы подал сигнал к приветственным кликам и усердно поощрял их. Можно допустить и это в угоду людям, любящим умять значительность событий. В худшем случае, иначе говоря, если версия скептиков верна, все-таки окажется, что агент лишь чисто механически дал толчок к взрыву восторженных чувств, ибо не будь чувств, не было бы и взрыва. Так или иначе, эта сценка, подробно описанная в газетах, на всех оказала соответствующее действие, и те, кто подальновиднее, не могли не

поставить ее и другие аналогичные факты в прямую связь с новым известием, несколько дней спустя взволновавшим умы.

Сообщение гласило, что его королевское высочество принц Клаус-Генрих дал аудиенцию во дворце Эрмитаж его превосходительству господину премьер — министру фон Кнобельсдорфу, продолжавшуюся с трех часов пополудни до семи часов вечера без перерыва. Битых четыре часа! О чем же они беседовали? Надо думать, не о предстоящем придворном бале? Между прочим, речь зашла и о придворном бале.

Господин фон Кнобельсдорф попросил принца уделить ему время для конфиденциальной беседы, воспользовавшись встречей на придворной охоте, которая состоялась десятого октября в прилегающих к замку Егерпрейс, раскинувшихся в западном направлении лесных угодьях, и на которой Клаус-Генрих фигурировал, как и его рыжеволосые кузены, в зеленом охотничьем костюме, в тирольской шляпе и ботфортах, обвешанный разными предметами, как-то: полевым биноклем, охотничьим ножом, кинжалом, патронташем и пистолетом в кобуре. Посовещавшись с господином фон Браунбарт-Шеллендорфом, разговор решили назначить на три часа дня двенадцатого числа октября месяца. Впрочем, Клаус — Генрих вызвался сам посетить старика министра на его казенной квартире, но господин фон Кнобельсдорф предпочел приехать в Эрмитаж, приехал он минута в минуту и был принят со всей предупредительностью и теплотой, какую Клаус-Генрих считал обязательным высказывать престарелому советчику своего отца и брата. Беседа состоялась в уютной маленькой гостиной, где стояли три прекрасных ампирных кресла красного дерева с голубоватыми лирами по желтому полю.

Хотя его превосходительству господину фон Кнобельсдорфу было уже под семьдесят, он сохранил бодрость тела и ясность ума. Сюртук на нем не болтался по-стариковски, а сидел как влитой, плотно облекая крепко сбитое и в меру упитанное тело вечного оптимиста. Все еще густые волосы, разделенные на прямой пробор, а также подстриженные щеткой усы успели побелеть, подбородок был раздвоен симпатичной ямочкой, гусиные лапки у наружных углов глаз, как и прежде, складывались в веселые лучики; с годами к ним даже прибавились бороздки и ответвления, и теперь эта многообразная и подвижная сеть морщин неизменно придавала его голубым глазам выражение мудрого лукавства. Клаус-Генрих глубоко уважал господина фон Кнобельсдорфа, хотя особой близости между ними не было. Правда, премьер-министр опекал и направлял принца с малых лет, сперва назначил ему в учителя господина Дреге, затем организовал для него фазаний интернат, позднее послал его с

доктором Юбербейном в университет, определил отбывать для вида военную службу и даже выбрал ему в качестве резиденции дворец Эрмитаж — однако все это делалось через третьих лиц, непосредственно они почти не соприкасались, а при редких встречах в годы отрочества Клауса-Генриха господин фон Кнобельсдорф считал своим долгом осведомляться о намерениях и планах на будущее его высочества, как будто сам не имел о них представления, и, возможно, именно эта фикция, которую усердно поддерживали обе стороны, помешала им выйти за рамки чисто официальных отношений.

Господин фон Кнобельсдорф уселся в удобной и вместе с тем почтительной позе и приступил к разговору, меж тем как Клаус-Генрих старался угадать цель его визита; министр сперва упомянул о позавчерашней охоте, любезно подчеркнул ее результаты, млтем как бы вскользь коснулся своего достойного коллеги доктора Криппенрейтера, который тоже принимал участие в охоте, и с сожалением отметил, что министр финансов очень плохо выглядит. Вот и у Егерпрейса господин Криппенрейтер нельзя сказать, чтобы преуспел, — что ни выстрел, то промах. «Да, от забот рука нетверда», — подвел итог господин фон Кнобельсдорф, вызвав у принца такую реплику, которая позволила ему вкратце охарактеризовать эти заботы. Он рассказал, что предварительная общая смета дала «весьма чувствительный» дефицит, что у министра финансов крупные разногласия с бюджетной комиссией, рассказал о новом поимущественном налоге, о квоте в тринадцать с половиной процентов, вызывающей яростный протест представителей городского населения, рассказал о допотопном налоге на мясо и о бедственном положении чиновников; Клаус-Генрих, хоть и озадаченный специальной терминологией, слушал очень сосредоточенно и сочувственно кивал головой.

Оба — старик и молодой человек — сидели перед круглым столом на тонконогом и жестковатом диване с бронзовыми веночками и желтой суконной обивкой, напротив узкой застекленной двери на террасу, за которой осенний туман обволакивал почти уже оголенные деревья парка и пруд с утками. В низенькой печке из гладких белых изразцов потрескивали дрова, распространяя благодатное тепло в строго и скудно обставленной комнате, и Клаус-Генрих, хоть и не мог вникнуть в политические рассуждения фон Кнобельсдорфа, однако был горд и счастлив, что такой многоопытный государственный муж зедет с ним серьезный разговор, и все более проникался умиленной и доверчивой симпатией. Господин фон Кнобельсдорф облакал в приятную форму самые неприятные истины,

голос его ласкал слух, а фразы были построены умело и убедительно, как вдруг Клаус-Генрих обнаружил, что речь идет уже не об экономике и о заботах доктора Криппенрейтера, а о его, Клауса-Генриха, самочувствии. Может быть, он, Кнобельсдорф, ошибается? За последнее время зрение стало изменять ему. Но как будто внешний вид у его королевского высочества прежде был лучше, свежее и бодрее. А теперь в нем явственно проступает утомление и озабоченность... Он, Кнобельсдорф, боится быть назойливым; однако ему хочется верить, что это отнюдь не является признаком серьезных физических или душевных страданий.

Клаус-Генрих вглядывался в туман за балконной дверью. Лицо его все еще было замкнуто; но хотя он сидел на жестком диване с неуклонно собранным и сосредоточенным видом, скрестив ноги, прикрыв левую руку правой и повернувшись к собеседнику, внутренне он невольно отпустил узду и в приливе усталости от своеобразной и бесплодной сердечной борьбы у него чуть не выступили на глаза слезы. Ведь он был так одинок, так нуждался в совете! Доктор Юбербейн перестал бывать в Эрмитаже. И все — таки Клаус-Генрих попытался уклониться:

— Ах, ваше превосходительство, это слишком далеко завело бы нас.

— Слишком далеко? — возразил господин фон Кнобельсдорф. — Нет, ваше королевское высочество, не бойтесь, вам не надобно вдаваться в подробности. Каюсь, я только делал вид, что недостаточно осведомлен о событиях в жизни вашего королевского высочества. И если не считать кое-каких оттенков и деталей, ускользающих от молвы, вы, ваше королевское высочество, вряд ли сообщите мне что-нибудь новое. Но, может быть, вашему королевскому высочеству полезно облегчить душу перед старым слугой, который вас на руках носил и кто знает... может быть, мне удастся делом и советом помочь вам, ваше королевское высочество.

И тут что-то растопилось в груди у Клауса-Генриха, признания неудержимо прорвались наружу, и он рассказал господину фон Кнобельсдорфу все, без утайки. Он говорил, как говорят от полноты сердца, когда все слова разом просятся на уста, — говорил не очень связно, не очень последовательно, задерживаясь на несущественном, но зато так убедительно и образно, как подводят итог животрепещущему переживанию. Начал он с середины, неожиданно вернулся к началу и лихорадочно стал досказывать конец (которого еще и не было), сам себя прерывал, сбивался и в растерянности останавливался. Но сведения, полученные ранее, помогали фон Кнобельсдорфу ориентироваться и наводящими вопросами направить но фарватеру севшее на мель суденышко, пока наконец перед взором мудрого советчика не предстала

полная, без единого пробела картина пережитого Клаусом-Генрихом, во всей ее сложности, со всеми событиями и действующими лицами, с фигурами Самуэля Шпельмана, полоумной графини Левенюль и даже породистого пса Персевалея, а главное Иммы Шпельман. О кусочке компрессной клеенки было рассказано во всех подробностях, так как господин фон Кнобельсдорф, по-видимому, придал большое значение этому эпизоду, и вообще не было упущено ничего из происшедшего в промежутке между бурной сценкой при смене караула и последними мучительными сердечными турнирами на коне и пешком. Когда Клаус-Генрих кончил, щеки его пылали, а синие глаза, узкие из-за выступающих по-простонародному скул, были полны слез. Он вскочил с дивана, чем вынудил подняться и господина фон Кнобельсдорфа, и, так как ему было жарко, во что бы то ни стало хотел открыть дверь на веранду, но господин фон Кнобельсдорф воспротивился, сославшись на неизбежность простуды. Он всеподданнейше попросил принца сесть снова, ибо его королевскому высочеству, разумеется, ясна необходимость спокойно разобраться в положении дел. И оба снова опустились на жесткое сидение дивана.

Господин фон Кнобельсдорф на минуту задумался, и лицо его стало очень серьезным, насколько это было возможно при ямочке на подбородке и веселых лучиках в углах глаз. Прервав молчание, он прежде всего прочувствованно поблагодарил за доверие, которое почитал для себя высокой честью. И тут же без перехода, подчеркивая каждое слово, господин фон Кнобельсдорф заявил следующее: какого бы отношения принц ни ожидал от него, фон Кнобельсдорфа, к данному вопросу, он, фон Кнобельсдорф, никак не способен идти наперекор желаниям и чаяниям принца, а напротив, всячески стремится в меру своих сил расчистить его королевскому высочеству путь к вожденной цели.

Долгая пауза. Ошеломленный Клаус-Генрих смотрел в окруженные лучиками глаза фон Кнобельсдорфа. Значит, у него могут быть желания и чаяния? Значит, существует цель? Он не верил своим ушам. И наконец пролепетал:

— Вы так добры, ваше превосходительство...

Тогда господин фон Кнобельсдорф добавил к своему заявлению нечто вроде условия, сказав, что при одном лишь условии он, как высшее должностное лицо в государстве, может своим скромным влиянием споспешествовать намерениям его королевского высочества...

— При одном условии?

— При условии, что вы, ваше королевское высочество, будете добиваться не личного, эгоистического и ограниченного счастья, а, как

того требует ваше высокое назначение, согласуете собственную свою судьбу с общенародными интересами.

Клаус-Генрих не проронил ни слова, и глаза его выражали глубокое раздумье.

— Соболаговолите, ваше королевское высочество, — помолчав, продолжал господин фон Кнобельсдорф, — на время отрешиться от этого щекотливого и пока еще сугубо неясного вопроса и обратить ваше внимание на дела более общего порядка! Разрешите мне воспользоваться этими драгоценными минутами взаимного понимания и доверия. По своему высокому сану вы, ваше королевское высочество, далеки от суровой и грубой действительности, вас предусмотрительно ограждают от нее. Я ни на миг не забываю, что эта грубая действительность не входит или лишь частично входит в круг ваших августейших интересов. И тем не менее мне кажется, что настал момент, когда вам, ваше королевское высочество, следует ознакомиться хотя бы с одним из аспектов нашего сурового мира, безо всяких обязательств, только чтобы иметь о нем непосредственное представление. Заранее прошу всемилостивейше извинить меня, если я своими разъяснениями огорчу вас, ваше королевское высочество.

— Прошу вас, говорите, ваше превосходительство, — несколько растерявшись, сказал Клаус-Генрих и невольно поплотнее уселся на диване, как усаживаются в кресле у зубного врача, чтобы, собрав все мужество, вытерпеть болезненную процедуру.

— Просьба слушать как можно внимательнее, — почти приказал господин фон Кнобельсдорф, после чего начал свой рассказ, непосредственно связав его с разногласиями в бюджетной комиссии; вернее, это был точный, исчерпывающий, снабженный цифрами и попутными разъяснениями фактических данных и специальных терминов, неприкрашенный доклад, дающий такую назидательную картину экономического положения страны и государства, которая с неумолимой ясностью показала принцу, до какого бедственного состояния мы дошли. Разумеется, эти обстоятельства не были для него полной новостью и неожиданностью; даже наоборот, с тех пор как он представлял, они давали ему повод и пищу для чисто формальных вопросов, которые он имел обыкновение задавать бургомистрам, фермерам, крупным чиновникам и на которые ему отвечали не по существу, а тоже для проформы и при этом улыбались знакомой ему с детства улыбкой, говорившей: «Ах ты, святая простота!» Но никогда еще все это не надвигалось на него в таких масштабах и в такой беспощадной наготе,

вынуждая его задуматься всерьез. Господин фон Кнобельсдорф отнюдь не удовлетворился обычными поощрительными кивками Клауса-Генриха; он отнесся к делу педантично — переспрашивал молодого человека, заставлял повторять целые параграфы своих разъяснений, безо всякой снисходительности держал его во власти фактов, так учитель тычет сморщенным указательным пальцем в учебник, пока не докажешь ему ответом, что данное место понято до конца.

Начал господин фон Кнобельсдорф с азов, с самой страны, с того, что торговля и промышленность слабо развиты в ней, далее заговорил о народе — народе Клауса-Генриха, о рассудительной, простодушной, крепкой и косной породе людей. Говорил он и о недостаточных государственных доходах, о нерентабельности железных дорог, о скудных залежах каменного угля. Затем перешел на лесное хозяйство, охоту, пастбища, говорил о лесе, о хищнических порубках, о неразумном вывозе перегноя, о вырождении древесных пород и снижении прибыли с лесов. Затем подробнее остановился на нашем денежном хозяйстве, упомянул о неспособности народа в силу сложившихся условий нести тяжелое бремя налогов, охарактеризовал нерадивое управление финансами в прежние годы. Далее он назвал цифру государственного долга и заставил принца повторить ее несколько раз подряд. Долг достигал шестисот миллионов. Затем наставник перешел на выпуск облигаций, на условия выплаты процентов и займов и в связи с этим возвратился к нынешним затруднениям доктора Криппенрейтера и обрисовал всю неблагоприятность сложившейся ситуации. Руководствуясь данными «Ведомостей государственного статистического управления», которые он тут же извлек из кармана, господин фон Кнобельсдорф ознакомил своего ученика с цифрами урожая последних годов, перечислил все бедствия, приведшие к недороду, который в свою очередь повлек за собой недоимки, и даже упомянул об испитых лицах сельских жителей. Затем он перешел к положению на мировом денежном рынке, подробно остановился на вздорожании денег и общем экономическом застое. Клаус-Генрих узнал о падении курса нашей валюты, тревоге кредиторов, отливе денег и эпидемии банкротств; узнал, что кредит наш подорван, бумаги обесценены, и ему стало ясно, что на размещение нового займа рассчитывать не приходится.

Когда господин фон Кнобельсдорф закончил свой доклад, был шестой час и совсем уже стемнело. В это время Клаус-Генрих обычно кушал чай, но он лишь мельком вспомнил о чае, а извне никто не осмелился помешать разговору, судя по его продолжительности, весьма важному. Клаус-Генрих

все слушал и слушал. Он и сам не отдавал себе отчета, до какой степени его это потрясло. Какая дерзость рассказывать ему такие вещи! В течение всего урока его даже ни разу не назвали «королевским высочеством», над ним попросту совершили насилие и грубо оскорбили его святую простоту. И вместе с тем это было хорошо, теплее становилось на душе от сознания, что выслушать и уяснить себе все это нужно для пользы дела... Он даже забыл приказать, чтобы зажгли свет, настолько его внимание было поглощено раз — говором.

— Вот какие обстоятельства я имел в виду, когда советовал вам, ваше королевское высочество, сочетать ваши личные желания и поступки с общими интересами. Не сомневаюсь, что вы, ваше королевское высочество, извлечете пользу из нашей беседы и из того содержания, которое я осмелился вложить в нее. Повторяю, я в этом твердо уверен, а теперь разрешите возвратиться к личным делам вашего королевского высочества.

Господин фон Кнобельсдорф выждал, пока Клаус — Генрих жестом дал согласие, и продолжал:

— Если этому делу суждено иметь будущее, нужно, чтобы оно как-то развивалось, а не стояло на месте, чтобы оно не было аморфным и безнадежным, как осенний туман. Этого допустить нельзя. Нужно, чтобы оно облеклось в плоть и кровь, выкристаллизовалось, оформилось в глазах общества...

— Вот! Вот! Конечно, необходимо облечь его в плоть и кровь... оформить! — в экстазе подхватил Клаус-Генрих и при этом опять вскочил с дивана и зашагал по комнате. — Но как за это взяться? Ваше превосходительство, ради бога, скажите — как?

— Для начала нужно, чтобы Шпельманы были представлены ко двору, — заявил фон Кнобельсдорф, продолжая сидеть, настолько все в эту минуту было ни с чем не сообразно.

Клаус-Генрих остановился.

— Это невозможно, — сказал он, — насколько я знаю господина Шпельмана, он никогда не согласится бывать при дворе!

— Из этого не следует, что его дочь откажется доставить нам такое удовольствие, — возразил господин фон Кнобельсдорф. — Придворный бал не за горами, и от вас, ваше королевское высочество, зависит добиться того, чтобы фрейлейн Шпельман почтила его своим присутствием. Ее компаньонка носит графский титул, и хотя она, как говорят, не без странностей, но графский титул спасает положение. Позволяю себе заверить вас, ваше королевское высочество, что двор всячески пойдет

навстречу, и говорю я так с полного согласия оберцеремониймейстера господина фон Бюль цу Бюля...

После этого еще добрых три четверти часа обсуждались вопросы этикета, вырабатывался церемониал приема и представления ко двору. Прежде всего необходимо завезти карточки вдовствующей графине Трюммергауф, обергофмейстерине принцессы Катарины, которая возглавляет штат придворных дам при торжествах в Старом замке. Что касается самой церемонии представления, то здесь господин фон Кнобельсдорф добился таких отклонений от установленного ритуала, которые носили характер чуть ли не преднамеренного вызова. Американского поверенного в делах в великом герцогстве не существовало, из чего не следует, заявил господин фон Кнобельсдорф, что дам будет представлять какой-нибудь захудалый камергер, нет, сам оберцеремониймейстер домогается чести представить их великому герцогу. Когда? В какой момент, принимая во внимание табель о рангах? Что ж, особые обстоятельства требуют исключений. Следовательно — в первую очередь, ранее всех вновь приглашенных ко двору, независимо от чинов и рангов; Клаус-Генрих может заверить фрейлейн Шпельман, что эти чрезвычайные мероприятия будут неукоснительно выполнены. Это, конечно, возбудит толки и привлечет внимание двора и города. Пускай, тем лучше! Внимание не так уж нежелательно, наоборот — оно полезно, даже необходимо...

Господин фон Кнобельсдорф собрался уходить. Когда он откланивался, было так темно, что они почти не видели друг друга. Клаус-Генрих только сейчас заметил это и в смущении стал извиняться, но господин фон Кнобельсдорф возразил, что совершенно неважно при каком освещении происходит такая беседа. Он обеими руками взял протянутую Клаусом-Генрихом руку.

— Никогда еще, никогда счастье страны в такой мере не зависело от счастья ее государя, — растроганно промолвил он на прощание. — Что бы вы, ваше королевское высочество, ни решали и ни предпринимали в дальнейшем, убедительно прошу вас помнить, что, по воле провидения, личное счастье вашего королевского высочества стало неотъемлемым условием общего благосостояния. Но и обратно — благосостояние страны является неотъемлемым условием и оправданием вашего личного счастья.

Не помня себя от потрясения и еще не в силах совладать с обуревающими его разнородными мыслями, остался Клаус-Генрих один в своих уютных ампирных комнатах.

Ночь он провел без сна, а наутро совершил в одиночестве длинную

верховую прогулку, несмотря на туман и слякоть. Господин фон Кнобельсдорф высказался ясно и исчерпывающе, он сообщил и сопоставил ряд фактов, но вместо того, чтобы научить, как их слить воедино, привести в порядок и внутренне переработать этот разнородный сырой материал, он ограничился назидательными афоризмами, и Клаусу — Генриху пришлось немало поломать голову и в течение бессонной ночи и во время прогулки верхом на Флориане.

По возвращении в Эрмитаж он сделал нечто совершенно небывалое — написал карандашом на листочке бумаги какое-то распоряжение, вернее заказ, и послал с ним камер-лакея Неймана в академический книжный магазин на Университетской улице. Оттуда Нейман с трудом приволок кипу книг, которые Клаус-Генрих велел разложить в своем кабинете и немедленно углубился в их чтение.

Это были скромные, похожие на учебники книжки в переплетах из глянцевого бумаги с аляповатыми корешками, напечатанные на дешевой бумаге и по — научному разбитые на части, разделы, подразделы и параграфы. Заглавия не обещали ничего увлекательного. Это были руководства и пособия по финансовой науке, очерки и основы науки о государстве и систематический курс политической экономии. И с этими-то сочинениями принц заперся у себя в кабинете, распорядившись ни в коем случае его не беспокоить.

Осень была дождливая, и Клауса-Генриха не слишком тянуло на прогулку. В субботу он поехал в Старый замок для общедоступной аудиенции; больше у него всю неделю никаких обязательств не было, и он с толком употребил свободное время. Облачившись в тужурку, он сидел у натопленной низкой изразцовой печи за маленьким старинным секретером, которым пользовался не часто, и, обхватив голову руками, читал свои финансовые книжки. Он читал о государственных расходах и о том, из чего они слагаются, о доходах и о том, откуда они, при благоприятных условиях, поступают; он по всем статьям проштудировал налоговую систему; он с головой ушел в вопросы финансового плана, бюджета, баланса, прибыли, и особенно дефицита, дольше всего он корпел над всеми видами государственного долга, над займами, над соотношением между процентами и капиталом и над погашением, временами он поднимал голову от книг и мечтательно, как самым вдохновенным стихам, улыбался тому, что прочел.

Впрочем, он находил, что при известном старании все это не так уж трудно понять. Нет, эту трезвую действительность, к которой он наконец-то приобщился, эту грубо примитивную систему денежных интересов, эту

схему прямо вытекающих друг из друга потребностей и необходимостей, — словом, все, чем молодые люди, родившиеся от простых смертных, должны набивать свои жизнерадостные головы, чтобы сдать экзамены, — постичь все это не так трудно, как рисовалось ему с высот его положения. Представительствовать, на его взгляд, куда труднее. И несравненно сложнее и тяжелее были его турниры с Иммой Шпельман на коне и пешком. А занятия согревали и радовали его, и он даже чувствовал, что разрумя* нился от усердия, как его зять цу Рид-Гогенрид от пресловутого торфа.

Подведя таким образом общую и научную базу под факты, изложенные господином фон Кнобельсдорфом, и не без успеха поломав себе голову над установлением внутреннего взаимодействия между разными обстоятельствами и взвесив всяческие возможности, он снова явился к чаю в Дельфиненорт. Электрические лампочки горели в канделябрах на львиных лапах и в большой хрустальной люстре. Дамы сидели одни за столом в боскетной.

Когда было покончено с вопросами и ответами относительно самочувствия господина Шпельмана и перенесенной Иммой болезни, — причем Клаус-Генрих возмущался ее непозволительным легкомыслием, а Имма, выпятив губки, отвечала, что, насколько ей известно, она сама себе госпожа и может распоряжаться своим здоровьем, как ей заблагорассудится, — заговорили о том, что осень выдалась дождливая, кататься верхом невозможно, что не за горами зима, и тут Клаус-Генрих кстати упомянул о придворном бале и как бы невзначай спросил, не пожелают ли дамы на сей раз посетить бал — господину Шпельману, к сожалению, помешает состояние здоровья. Однако после того как Имма ответила, что пусть он не обижается, но у нее нет ни малейшего к тому желания, он не стал ее уговаривать и пока что оставил вопрос открытым.

Что он делал последние дни? О, он был ужасно занят, у него, можно сказать, работы было по горло. Работы? Он, конечно, имеет в виду придворную охоту в Егерпрейсе? Что там охота!.. Разве это занятие? Нет, он занимался наукой и еще далеко не кончил. Наоборот, он всецело погружен в интересующий его предмет... И Клаус-Генрих пустился рассказывать о своих неказистых книжках, о своих успехах в финансовой науке, и говорил он об этой дисциплине с таким подъемом и благоговением, что Имма изумленно смотрела на него. Но когда она почти робко спросила, что послужило поводом и стимулом к такого рода занятиям, он ответил, что натолкнули его на это самые что ни на есть насущные и животрепещущие вопросы, к сожалению, такого рода дела и

обстоятельства — малоподходящая тема для веселой беседы за чайным столом. Эти слова явно уязвили Имму. Что дает ему основания сделать вывод, гневно спросила она, крутя головкой, будто ей доступна или интересна только веселая болтовня? И она скорее приказала, чем попросила, потрудиться дать разъяснение по этим животрепещущим вопросам.

Тут Клаус-Генрих не посрамил своего наставника господина фон Кнобельсдорфа и точно обрисовал положение в стране. Он усвоил каждый параграф, на котором задерживался сморщенный указательный палец; он подробно остановился на бедствиях как общего, так и частного порядка, пояснил, какими они бывают — затяжными или стихийными, и от чего происходят — от естественных причин или по чьей — либо вине, особенно же подчеркнул размеры государственного долга и бремя, которым эти шестьсот миллионов долга ложатся на экономику страны, он даже не забыл про испытые лица сельских жителей.

Говорил он несвязно. Имма прерывала его вопросами и новыми вопросами помогала ему подхватить ускользнувшую мысль, она отнеслась к делу серьезно и требовала объяснений, если чего-нибудь не понимала сразу. В домашнем платье из кирпичного шелка-сырца с разрезными рукавами и вышивкой во всю грудь, со старинной испанской орденской цепью вокруг тонкой шейки, она сидела, нагнувшись над столом, где все сверкало от хрусталя, серебра и драгоценного фарфора, и, опершись на локоть, положив подбородок на узенькую руку без колец, затаив дыхание, слушала, а глаза ее, огромные, сияющие темным блеском, пытливно вглядывались в его лицо. Но пока он отвечал на вопросы Иммы, высказанные словами и выраженные взглядами, с воодушевлением и жаром говоря на волнующую его тему, графиня Левенюль, очевидно, сочла, что теперь уже может в его присутствии позволить себе благодетельную передышку, дать волю своей фантазии, и принялась болтать вздор. Во всех бедствиях, заявила она, изящно жестикулируя и хитро прищурясь, в том числе и в недороде, долгах и вздорожании денег виноваты все те же распутные бабы; их повсюду полным-полно, они, к несчастью, умудряются вылезать из-под пола, и не далее как прошлой ночью жена фельдфебеля из казармы гвардейских стрелков царапала ей грудь и донимала ее омерзительными гримасами. Затем она помянула свои бургундские замки, где протекают крыши, и договорилась до того, что рассказала, как в качестве лейтенанта участвовала в походах против турок и «одна из всех не потеряла головы». Имма Шпельман и Клаус-Генрих время от времени вставляли сочувственное словечко и охотно обещали

пока что называть ее фрау Мейер, сами же, не смущаясь ее болтовней, продолжали свою беседу. Оба они разгорячились, и после того, как Клаус-Генрих рассказал все, что знал, даже жемчужно-матовое личико Иммы порозовело. Теперь они молчали, графиня тоже умолкла, склонив свою маленькую голову к плечу, и, прищурившись, смотрела куда-то в пространство. Клаус-Генрих играл на ослепительно белой, туго накрахмаленной скатерти стебельком орхидеи, вынутой из бокала, который стоял у его прибора, но едва он поднимал голову, как встречал говорящий и красноречивый взгляд огромных темных глаз Иммы Шпельман, неотступно смотревших на него через стол.

— Сегодня было очень приятно, — сказала она своим ломающимся голосом, когда Клаус-Генрих собрался на сей раз уехать, и он почувствовал крепкое пожатие ее тоненьких пальцев.

— Если вашему высочеству заблагорассудится еще раз посетить наше недостойное жилище, сообразовите привезти мне одну-две из приобретенных вами книжек. — Она не могла полностью отделаться от насмешливой манеры выражаться, но она просила у него книги по вопросам финансового хозяйства, и он привез их.

Он привез две из них, которые считал самыми поучительными и доступными, привез их спустя несколько дней, проехав в своей карете через насквозь промокший городской сад, и она оценила его внимание. Выпив чай, они уселись в уголке боскетной в величественные тропоподобные кресла, меж тем как графиня в задумчивости пребывала за чайным столом, и, склонившись над первой страницей учебника, озаглавленного «Наука о финансах», который лежал перед ними на золоченом столике, начали свои совместные занятия. Они читали вполголоса, попеременно, каждый по одной фразе, не пропустив даже предисловия к первому и шестому изданиям, так как Имма говорила, что во всем должен быть порядок и приступать к работе надо с самого начала.

Клаус-Генрих уже приобрел какие-то начатки знаний, а потому чтением руководил он, но вряд ли кто — нибудь мог бы схватывать все быстрее и лучше Иммы.

— Это очень легко! — сказала она и, смеясь, взглянула на него. — Никак не ожидала, что это, в сущности, так просто. Алгебра куда сложнее, принц...

Но так как они очень углубились в предмет, в течение нескольких часов им все-таки не удалось продвинуться далеко, и они отметили то место в книге, откуда надо продолжать в следующий раз.

Продолжение состоялось, и впредь визиты принца в Дельфиненорт

были наполнены самым конкретным содержанием. Каждый раз, как господин Шпельман вовсе не появлялся за чайным столом или же, размочив в чае и съев диетический сухарик, удалялся вместе с доктором Ватерклузом, Имма и Клаус-Генрих устраивались рядом за золоченым столиком и склонялись над учебником финансового хозяйства.

Но по мере того как занятия их продвигались вперед, они стали сравнивать отвлеченную науку с действительностью, относили то, что читали, к условиям в стране, как их обрисовал Клаус-Генрих, — словом, учились добросовестно, хотя им и случалось отвлекаться соображениями личного характера.

— Следовательно, эмиссия может осуществляться прямо и через посредников, — сказала Имма, — да, это понятно. Либо государство обращается непосредственно к капиталистам и открывает подписку... Посмотрите, принц, у вас рука вдвое шире моей!

И они с улыбкой смотрели на лежащие рядом на золоченом столике его правую и ее левую руку, счастливые и смущенные одним этим созерцанием.

— ...либо заем производится через посредников, — продолжала Имма, — например, через крупный банкирский дом или консорциум банков, и государство свои долговые обязательства...

— Пойдите, Имма, — шепотом перебивал он, — сперва ответьте мне на один вопрос! Вы не упустили из виду главной цели? Постарались сделать хоть какие-то шаги на пути к ней? Неужели неловкость и отрезвляющее действие не прошли? Дорогая крошка Имма, неужели у вас не прибавилось доверия ко мне? — Его губы при этом почти касались ее волос, от которых исходил чудесный аромат, и она не отводила своей черноволосой детской головки, склоненной над книгой, хотя и не давала прямого ответа на его вопрос.

— Но почему тут нельзя обойтись без банкирского дома или консорциума банков? — вслух размышляла она. — В книжке ничего об этом не сказано, но, по-моему, на практике это совсем не обязательно.

Теперь она говорила серьезно, без привычных кавычек, ибо и ей надо было проделать ту же головомную работу, что и Клаусу-Генриху после разговора с фон Кнобельсдорфом. Когда через несколько недель Клаус-Генрих повторил свой вопрос, не желает ли она присутствовать на придворном балу, и сообщил, какие для этого случая оговорены отступления от церемониала, она вдруг ответила, что желает и согласна завтра вместе с графиней Левенюль завести карточки вдовствующей

графине Трюммергауф.

В этом году придворный бал был назначен ранее обычного, на конец ноября; по слухам, таково было желание одного из членов великогерцогской фамилии. Господин фон Бюль цу Бюль горько сетовал на такую спешку, вынуждавшую его и низших придворных чинов на скорую руку покончить с приготовлениями к столь важному празднеству, в частности с неотложным ремонтом парадных покоев Старого замка, но вышеназванный член августейшего семейства заручился поддержкой господина фон Кнобельсдорфа, и гофмаршалу пришлось покориться. Так получилось, что общественное мнение еще не освоилось с тем событием, которое, собственно, было гвоздем вечера и по сравнению с которым перемена даты была ничто: едва только «Курьер» жирным шрифтом оповестил о визите к графине Трюммергауф и о приглашении, не преминув обычным шрифтом, но в самых теплых выражениях высказать свое удовольствие и поздравить дочь Шпельмана с представлением ко двору, — как знаменательный вечер наступил и не успели люди почесать языки — все уже свершилось.

Никогда еще пятьсот счастливцев, чьи имена стояли в списке приглашенных на придворный бал, не вызывали столь сильной зависти, никогда еще обыватель с таким жадным любопытством не проглатывал отчет «Курьера», эти блистательные газетные столбцы, плоды ежегодного творчества некоего спившегося аристократа, написанные в таком помпезном стиле, что читатель словно заглядывал в сказочное царство, меж тем как на самом деле бал в Старом замке не отличался особой пышностью и даже, наоборот, был весьма скромнен. Но отчет не простирался далее ужина с французским меню, а все, что последовало за тем, и вообще все неуловимые нюансы великого события поневоле дошли до публики в изустной передаче.

Громадный оливковый автомобиль, в котором обе дамы приехали в Старый замок, затормозил у Альбрехтовских ворот почти вовремя, но все же господин фон Бюль цу Бюль успел порядком поволноваться. В парадном мундире, по пояс увешанный орденами, в напыленном каштановом парике и в золотом пенсне, он с четверти восьмого переступал с ноги на ногу, стоя посреди Рыцарского зала с доспехами по стенам, в котором собирались члены великогерцогской фамилии и высшие придворные чины, и много раз посылал камер-юнкера в бальный зал справиться, не прибыла ли фрейлейн Шпельман. Он рисовал себе самые немыслимые стечения обстоятельств. Если новоявленная царица Савская опоздает, — а от нее чего угодно можно ждать после того, как она прошла

через цепь караула! — тогда задержится и торжественный выход великого герцога со свитой, и раз она во что бы то ни стало должна быть представлена первой, значит двору придется ее дожидаться, ведь немыслимое же дело, чтобы она вошла в бальный зал после великого герцога... Наконец-то, слава тебе господи! Буквально за минуту до половины восьмого она появилась со своей графиней, и в зале возникло заметное движение, когда встречавшие приглашенных камергеры указали ей место в собравшемся великосветском обществе, рядом с дипломатическим корпусом, а значит впереди дворянства, придворных дам, министров, генералитета, председателей обеих палат, — словом, впереди всех на свете. Флигель — адъютант фон Платов тотчас отправился доложить великому герцогу в его покои, и Альбрехт, одетый в гусарский мундир, проследовал сперва в Рыцарский зал, не поднимая глаз, поздоровался с членами своей фамилии, предложил руку тете Катарине, и, после того как господин фон Бюль на пороге настежь раскрытых дверей трижды стукнул своим жезлом по паркету, двор вступил в танцевальный зал. Очевидцы уверяли потом, что присутствующие были до неприличия невнимательны во время обхода зала высочайшими особами. Куда бы не приблизились Альбрехт и его торжественно выступающая тетка, всюду, вместо надлежащей благоговейной сосредоточенности, начинались торопливые поклоны и приседания, ибо все головы были неуклонно повернуты в одну сторону, все глаза с жгучим любопытством устремлены в одну точку... У той, на ком сходились все взоры, раньше было много врагов среди присутствующих в зале, главным образом среди дам, среди Трюммергауфов, Пренцлау, Верцанов и Платовых женского пола, которые обмахивались здесь веерами, и, бывало, колючие и холодные взгляды по-дамски критически рассматривали ее. Но то ли ее положение уже настолько утвердилось, что она стала недостижима для критики, то ли ее личное обаяние само по себе парализовало затаенную вражду, так или иначе на балу все в один голос повторяли, что Имма Шпельман прелестна, как дочка горного короля. На следующее утро вся столица — от министерского писаря до рассыльного на перекрестке — могла бы без запинки описать ее туалет.

На ней было платье из бледно-зеленого китайского шелка, затканного серебром, с вставкой из драгоценнейшего старинного серебряного кружева. Царственная бриллиантовая диадема сверкала всеми цветами радуги в ее иссиня-черных волосах, которые так и норовили выбиться на лоб гладкими прядями, и длинная, тоже бриллиантовая, цепочка была дважды или трижды обвита вокруг ее смуглой шеи. По-детски

миниатюрная, но какая-то удивительно серьезная и умная в своей детскости, с огромными, выразительными, говорящими глазами на бледном личике, стояла она рядом с графиней Левенюль, одетой, по своему обыкновению, в коричневое, но на этот раз атласное платье. Когда кортеж приблизился к отведенному ей почетному месту, она не присела в придворном реверансе, а лишь слегка склонилась с целомудренной грацией пажа; когда же принц Клаус-Генрих с лимонно-желтой лентой и плоской цепью фамильного ордена «За постоянство», с серебряной звездой Гримбургского грифа на груди, об руку с худосочной кузиной, умевшей говорить только «да», вслед за великим герцогом прошел мимо Иммы, она улыбнулась, не размыкая губ, и по-приятельски кивнула ему, а собравшихся точно пронизал электрический ток.

После того как высочайшие особы поздоровались с дипломатическим корпусом, началось представление, и началось оно с Иммы Шпельман, хотя среди впервые приглашенных высокопоставленных девиц были две графини Гундскель и баронесса фон Шуленбург-Трессен. Подобострастно изгибаясь и скаля в улыбке вставные зубы, господин фон Бюль представил своему монарху дочь Шпельмана. Пососав верхнюю губу короткой и пухлой нижней, Альбрехт посмотрел сверху вниз на целомудренно сдержанный поклон юного пажа, а Имма, выпрямившись, устремила испытующий взгляд темных выразительных глаз на болезненного гусарского полковника, стоявшего перед ней во всем своем спокойном высокомерии.

Великий герцог задал ей ряд вопросов, хотя во всех других случаях ограничивался одним, спросил, как чувствует себя ее отец, помогает ли ему Дитлиндинский источник и освоилась ли она сама у нас, на что она отвечала своим ломающимся голосом, выпятив губы и покрутив черноволосой головкой. После минутной паузы, возможно это была минута внутренней борьбы, Альбрехт выразил свое удовлетворение тем, что видит ее при дворе, а потом пришла очередь графини Левенюль, и она, глядя куда-то вбок, склонилась в глубоком реверансе.

Эта сценка между Иммой и Альбрехтом дала неистощимую пищу для разговоров, и хотя все прошло нормально, как полагается, нельзя преуменьшать ее значимость и неповторимое очарование. Однако кульминационным пунктом вечера было все-таки не это. Кое-кто считал кульминацией *Quadrille d'honneur*^[15] другие придавали больше значения ужину, на самом же деле важнейшим моментом был диалог между двумя основными персонажами спектакля, краткий, никем не подслушанный обмен репликами, о содержании и реальных итогах которого публика

могла лишь догадываться, — то было завершение сердечных турниров на коне и пешком.

Относительно торжественной кадрили некоторые утверждали на следующий день, будто фрейлейн Шпельман танцевала ее и притом в паре с принцем Клаусым-Генрихом, но утверждение было правильно лишь в первой своей части. Фрейлейн Шпельман действительно участвовала в кадрили, но кавалером ее был английский поверенный в делах, а принц Клаус — Генрих танцевал визави. Однако и это уже было симптоматично, но еще симптоматичнее было отношение присутствующих, которые в большинстве своем не сочли этот факт неслыханным, а приняли его как нечто вполне естественное. Да, положение Иммы Шпельман было упрочено, то восприятие ее личности, которое возникло в народе, возобладаало и на придворном балу, — сам народ узнал об этом лишь на следующий день, — впрочем, господин фон Кнобельсдорф задал тон такому восприятию и постарался, чтобы оно проявилось с полной очевидностью. Мало сказать, что к Имме Шпельман относились предупредительно, что ее отличали от других, — нет, в отношении ее подчеркнуто и последовательно соблюдали церемониал, принятый для высоких особ, оба дежурных церемониймейстера в чине камергеров подвели к ней избранных партнеров, и когда она об руку с кавалером покидала свое место, рядом с невысокой, обтянутой красным эстрадой, где в штофных креслах восседала великогерцогская фамилия, распорядители танцев спешили расчистить для нее место под средней люстрой, как это полагается, когда принцессы изволят пройти в танце, дабы оградить ее от столкновений с другими парами, что кстати не составляло большого труда, ибо плотное кольцо любопытных окружало ее всякий раз, как она танцевала.

Рассказывали, что в тот момент, когда Клаус-Генрих подошел приглашать фрейлейн Шпельман, весь зал шумно перевел дух, можно сказать «охнул» от волнения, и если бы не вмешательство распорядителей, танцы прекратились бы, потому что все в жадном любопытстве так и рвались смотреть на одну — единственную пару. Дамы, те следили за ней с таким умиленным восторгом, который, несомненно, вылился бы в неприкрытую досаду и злобу, будь положение Иммы Шпельман более шатко. Но на каждого из пятисот приглашенных до такой степени воздействовали и влияли общенародные чувства, внушение снизу было так сильно, что они не могли смотреть на это зрелище иначе как глазами народа. По-видимому, принцу был преподан совет не насиловать своей воли. Его имя дважды было поставлено против двух длинных танцев в

карнэ мисс Шпельман и притом попросту ввиде инициалов «К.-Г.», а кроме того, он неоднократно удостаивал ее беседы. Да, они танцевали друг с другом, Клаус-Генрих и шпельмановская дочка. Ее смуглая рука покоилась на орденской ленте из лимонно-желтого муара, надетой у него через плечо, а его правая рука обвивала ее необыкновенно тоненький, почти детский стан, меж тем как левую он по привычке прятал за спину и в танце вел даму только одной рукой. Одной рукой....

Так время подошло к ужину, и, к вящему потрясению публики, в силу вступил новый параграф церемониала, оговоренного господином фон Кнобельсдорфом для первого придворного бала Иммы Шпельман. Этот параграф предусматривал распределение мест за столом. Большинство приглашенных ужинало за длинными столами в картинной галерее и в зале Двенадцати месяцев, а для великогерцогской фамилии, для дипломатического корпуса и для свитских ужин был сервирован в Серебряном зале. Ровно в одиннадцать часов Альбрехт и члены его семьи направились туда такой же торжественной процессией, как ранее в балльный зал. И об руку с английским поверенным в делах, мимо камерлакеев, преграждавших доступ в Серебряный зал посторонним, к великогерцогскому столу проследовала Имма Шпельман.

Это было чудовищно — и вместе с тем так закономерно после всего предшествующего, что малейшее недоумение или, чего доброго, возмущение противоречило бы здравому смыслу. Сегодня, очевидно, каждому рекомендовалось внутренне смириться перед лицом столь высоких знамений и свершений... но когда ужин закончился и великий герцог удалился, а принцесса Гризельда с одним из камергеров открыла котильон, лихорадочное ожидание достигло апогея, у всех на устах был один вопрос — разрешено ли принцу поднести котильонный букет и шпельмановской дочке? Очевидно, в указании было оговорено: только не ей первой. Сперва он поднес по букетику тете Катарине и одной из рыжеволосых кузин, а затем уж приблизился к Имме Шпельман с букетиком сирени из дворцовых оранжерей. Она собралась было поднести цветущий пучок к своему носику, но по непонятной причине остановилась в испуге, и лишь после того, как принц улыбкой и кивком успокоил ее, она решилась понюхать цветы. Потом они с принцем довольно долго танцевали, мирно беседуя.

Но именно во время этого танца между ними и произошел никем не подслушанный обмен репликами, житейски конкретный разговор, приведший к вполне определенным результатам... Приводим его.

— На этот раз вам понравились мои цветы, Имма?

— Конечно, принц, сирень прелестная и пахнет, как ей полагается, Мне она доставила большое удовольствие.

— В самом деле? А мне жаль розового куста, внизу, во дворе. Бедняжка, его цветы неприятны вам потому, что от них пахнет тлением.

— Я не говорю, что они мне неприятны, принц.

— Должно быть, они действуют на вас расхолаживающе и отрезвляюще?

— Это, пожалуй, верно.

— Я вам никогда не рассказывал о народном поверии? Говорят, в тот день, когда наступит всеобщее благополучие, спадут чары и с розового куста и на нем расцветут розы не только прекрасные, но и наделенные благоуханием, естественным для роз..

— Ну, принц, до этого еще далеко.

— Нет, Имма, надо это ускорить, надо действовать! Решиться надо, крошка Имма, и отбросить все сомнения. Скажите... ну, скажите: теперь вы мне доверяете?

— Да, принц, за последнее время я прониклась к вам доверием.

— Вот видите!.. Слава тебе господи!.. Ведь я же говорил, что добьюсь этого. Значит, вы поверили, как для меня свято все, что касается вас и наших отношений, поверили, что это для меня по-настоящему святая святых.

— Да, принц, последнее время я верю, что могу в это поверить.

— Наконец-то, наконец, маленький скептик!.. От всей души благодарю вас!.. Так, значит, у вас хватит мужества перед всем светом признать, что мы созданы друг для друга?

— Благоволите вы, ваше королевское высочество, признать это первым.

— И признаю, Имма, открыто и решительно. Но я могу сделать это только при одном условии, а именно, что мы будем добиваться не личного, эгоистического и ограниченного счастья, а согласуем его с общенародными интересами. Получается так, что общее благо и наше собственное счастье прямо зависят друг от друга.

— Правильно, принц. И я вряд ли прониклась бы к вам доверием, если бы мы вместе не изучали вопросы общего блага.

— А если бы вы, Имма, не согрели мне душу, я вряд ли занялся бы этими по-настоящему важными вопросами.

— Итак, попытаемся каждый у себя добиться чего-нибудь — вы у своих близких, я — у отца.

— Сестричка моя, — с каменным лицом вымолвил он и только в танце

теснее привлек ее к себе, — Маленькая моя невеста...

Такую помолвку можно поистине назвать исключительным случаем.

Правда, этим было достигнуто далеко не все, вернее очень немного, и, оглядываясь назад на общую ситуацию, следует признать, что стоило одному из составляющих ее элементов отпасть или видоизмениться, как все задуманное даже и теперь кончилось бы ничем. Какое счастье, мысленно восклицает летописец, какое великое счастье, что во главе этого предприятия стоял государственный муж, который смело, бесстрашно и даже с лукавой усмешкой смотрел в глаза современности и не считал дело безнадежным лишь потому, что оно было беспрецедентным!

Доклад, который его превосходительство господин фон Кнобельсдорф сделал в Старом замке своему государю, великому герцогу Альбрехту II приблизительно через неделю после бала, по праву должен быть занесен в анналы истории. Накануне премьер — министр председательствовал на заседании кабинета; в отчете об этом заседании «Курьер» мог лишь сообщить, что на повестке дня стояли финансовые вопросы и семейные дела великогерцогской фамилии и что совет министров пришел к полному согласию по данным вопросам. Последнее было напечатано в разрядку. Таким образом, во время вышеупомянутой аудиенции господин фон Кнобельсдорф был перед лицом своего молодого монарха в очень выигрышном положении, он опирался не только на безыменную толпу, но и на единодушное волеизъявление правительства.

Беседа в кабинете Альбрехта, где дуло от окон, была не короче той, которая имела место в маленькой желтой гостиной в Эрмитаже. Пришлось даже сделать перерыв, чтобы великий герцог мог подкрепиться лимонадом, а господин фон Кнобельсдорф — стаканчиком портвейна с бисквитами. Но длительность доклада надо приписать исключительно особой важности самого вопроса, а отнюдь не сопротивлению монарха, ибо Альбрехт не противился ни минуты. Он сидел в наглухо застегнутом сюртуке, сложив на коленях худые, нервные руки, обратив к собеседнику надменное лицо с тонкими чертами, с эспаньолкой и сдавленным на висках лбом, слегка посасывал верхнюю губу короткой и пухлой нижней, и время от времени в ответ на доводы господина фон Кнобельсдорфа, не подымая глаз, неспешным движением наклонял голову, что выражало и согласие и протест: равнодушно соглашаясь в интересах дела, он лично для себя, для своего недостижимого достоинства безмолвно и холодно отвергал эту сделку.

Господин фон Кнобельсдорф сразу же взял быка за рога, заговорив о визитах принца Клауса-Генриха в Дельфиненорт. Альбрехт слышал об

этом. Даже до его уединения донесся слабый отголосок событий, за которыми, затаив дыхание, следили и столица и вся страна; кроме того, он знал своего брата, Клауса — Генриха, тот и на разведки пускался и вступал в разговоры с лакеями, а когда стукнулся лбом о большой стол в детской, то расплакался из жалости к ушибленному лбу, — итак, в основном великий герцог не нуждался в разъяснениях. Пришепечывая, он указал па это фон Кнобельсдорфу и, вспыхнув на миг, присовокупил, что до сих пор господин фон Кнобельсдорф не препятствовал сближению принца с дочерью миллиардера, а наоборот, даже поощрял его, — следовательно, Кнобельсдорф одобряет поведение принца, хотя ему, великому герцогу, непонятно, к чему оно может привести. А господин фон Кнобельсдорф ответил, что, воспротивившись намерениям принца, правительство поступило бы наперекор воле народа и это пагубно отразилось бы на популярности самого правительства.

— Значит, у моего брата есть определенные намерения?

— Долгое время он не строил никаких планов, — пояснил господин фон Кнобельсдорф, — и следовал только велениям сердца. Но с тех пор как он, вняв голосу народа, встал на реальную почву, желания его обрели вполне конкретную цель.

— Из ваших слов явствует, что общество одобряет планы принца?

— Мало того, оно восторженно приветствует их, ваше королевское высочество, и ждет от них осуществления своих самых заветных чаяний!

И господин фон Кнобельсдорф снова нарисовал мрачную картину нужды и тягчайших затруднений, которые терпит страна. Откуда ждать помощи и исцеления? Только оттуда, из городского парка, где бьется второе сердце столицы, где обитает болящий финансовый король, наш гость и согражданин; народ недаром в своих мечтах видит в нем избавителя — ему ничего не стоит положить конец всем нашим бедам. Достаточно уговорить его заняться экономикой нашего государства, и ее оздоровление обеспечено. Только поддастся ли он на уговоры? Но судьбе угодно было, чтобы единственная дочь всемогущего крeza и принц Клаус-Генрих вспыхнули взаимным чувством! Так неужто ж можно противиться мудрой и благой воле провидения? Во имя косных и отживших предрассудков препятствовать союзу, который сулит осчастливить страну и народ? А то, что он их осчастливит, должно, разумеется, быть обусловлено варанее, ибо лишь это оправдывает его в глазах высшей законности. Если же такое условие будет выполнено, если, скажем без обиняков, Самуэль Шпельман согласится финансировать наше государство, тогда союз — раз слово уже произнесено — станет не только

возможен, он станет обязателен, спасителен, его требует благо государства, о заключении его молят бога далеко за пределами страны все, кто заинтересован в восстановлении наших финансов, в предотвращении экономического краха.

В этом месте великий герцог вполголоса, не подымая глаз и язвительно усмехнувшись, вставил вопрос:

— А что же будет с престолонаследием?

— Закон предоставляет вашему королевскому высочеству возможность устранить сомнения династического порядка, — невозмутимо ответил господин фон Кнобельсдорф. — Ведь и у нас монарху дано право возводить в дворянство и даже приравнивать к самому высокому сану — а вряд ли когда-нибудь в истории представлялся более веский повод воспользоваться такой прерогативой. Правомочность этого союза заложена в самой его основе, а почва к нему давно уже подготовлена в сознании народа, так что, если он будет признан правительством и государем, народ увидит в этом лишь узаконение своих заветных желаний.

Тут господин фон Кнобельсдорф кстати заговорил о популярности Иммы Шпельман, о весьма знаменательной реакции на ее выздоровление после легкого недомогания и о том, что народная фантазия уже сделала из этого необыкновенного создания по меньшей мере принцессу, — и в уголках глаз у него заиграли лучики-морщинки, когда он напомнил Альбрехту старинное пророчество, бытующее в народе и говорящее о принце, который одной рукой даст отечеству больше, чем другие когда-либо давали обеими, и постарался как можно убедительнее показать, что народ увидит в союзе Клауса-Генриха с дочкой Шпельмана исполнение пророчества, а следовательно, нечто угодное богу и правомерное.

Господин фон Кнобельсдорф высказал еще много разумных, независимых и хороших мыслей. Он рассказал, какая смешанная кровь течет в жилах Иммы Шпельман, — кроме немецкой, португальской и английской, у нее, по слухам, есть примесь и древней царственной индейской крови, — и подчеркнул, что предвидит для династии большую пользу от оживляющего воздействия, какое смешение рас должно оказать на древний род Гримбургов. Но до самых высот красноречия вольномыслящий старик сановник дошел в тот момент, когда заговорил о грандиозных и благотворных переменах, какие произведет ломающий традиции брак престолонаследника в экономическом положении двора, нашего злосчастливого, погрязшего в долгах двора. Ибо тут Альбрехт с особенным высокомерием посасывал верхнюю губу. Стоимость наших денег падает, и расходы растут, подчиняясь непреложному

экономическому закону, одинаковому как для бюджета придворного ведомства, так и для любого домашнего хозяйства, а увеличить доходы неоткуда. Но допустимое ли дело, чтобы в имущественном отношении государь стоял ниже своих подданных? С точки зрения монархического принципа нетерпимо, что в особняке мыловара Уншлита давно проведено центральное отопление, а в Старом замке — все еще нет. Да разве в этом одном — помощь необходима в ряде других случаев, и счастлив тот царствующий дом, который имеет возможность получить ее в таком грандиозном масштабе! Наше время характерно тем, что из обихода дворов исчезла исконная щепетильность в денежных вопросах. Отжила свое та самоотверженность, с какой царствующие фамилии шли на самые тяжкие жертвы, лишь бы скрыть от общества унижительную картину своего плачевного денежного положения, зато теперь не редкость судебные тяжбы, взятие под опеку, предосудительные сделки. Так неужели же не лучше этих мелких мещанских уловок в духе времени заключить союз со всемогущим капиталом, союз, который навсегда поднимет высочайшее семейство над всеми денежными дразгами и позволит ему окружить себя внешними атрибутами, столь импонирующими народу?

Так вопрошал господин фон Кнобельсдорф и сам же дал безоговорочно утвердительный ответ. Короче говоря, его речь была построена так мудро и убедительно, что, покидая Старый замок, он уносил с собой соизволения и полномочия, которые были даны с надменным пришепетыванием, но достаточно широкие, чтобы сделать из них самые беспрецедентные выводы, конечно, если фрейлейн Шпельман со своей стороны удалось чего-то добиться.

Итак, события, одно примечательнее другого, пошли своей чередой вплоть до счастливого финала. Не успел кончиться декабрь, как уже перечисляли по именам людей, которые своими глазами видели, — а не то что узнали понаслышке, — как в одно пасмурное утро, часов около одиннадцати, в самый снегопад, обергофмаршал фон Бюль цу Бюль в шубе, в цилиндре на каштановом парике и в золотом пенсне на носу вышел из придворного экипажа у портала Дельфиненорта и, весь извиваясь, проследовал во дворец. В начале января в городе объявились личности, клятвенно заверявшие, что другой господин, также в шубе и цилиндре, который тоже в утренний час проследовал из дверей Дельфиненорта мимо ухмыляющегося плюшевого негра и с лихорадочным блеском в глазах вскочил в ожидающую его наемную пролетку, был ни более ни менее как наш министр финансов доктор Криппенрейтер. И одновременно в официозном «Курьере» появились в качестве пробных шаров первые

заметки о слухах, связанных с обручением в высочайшем семействе, эти робкие намеки очень осторожно и постепенно становились все определеннее и определеннее, пока наконец имена Клауса — Генриха и Иммы Шпельман не были открыто поставлены рядом. Эти два имени давно уже назывались вместе, и все-таки каждому, кто видел их напечатанными черным по белому, это зрелище ударило в голову, как крепкое вино.

Кстати, очень занимательно было наблюдать, какую позицию в потоке статей на эту тему заняла наша просвещенная и свободомыслящая пресса в отношении народной трактовки вопроса, а именно, в отношении пророчества, которому тем временем было придано такое важное политическое значение, что и образованные круги, наша интеллигенция, не могли обойти его молчанием. «Курьер» высказывался в том духе, что, если речь идет о единичных судьбах, гадание, хиромантия и всякая черная магия, разумеется, должны быть отнесены к самым темным суевериям, рни пережиток седого средневековья, и только посмеяться можно над теми чудаками, — правда, в городах они почти перевелись, — которые отдают последние гроши продувным мошенникам за то, что те по руке или на кофейной гуще читают их убогую судьбу, которые верят в целебную силу наговоров, лечатся гомеопатией или просят об изгнании бесов из больной скотины, хотя еще апостол вопрошал: «0 волах ли печется господь?» Однако когда дело касается крупных событий, поворотных моментов в судьбе целых народов или династий, тогда и люди высококультурные, люди философски образованные склонны допускать, — поскольку протяженность во времени — иллюзия, в действительности же все события единовременно существуют как данность, — что человеческий дух может быть заранее потрясен переворотами, таящимися в недрах грядущего, и даже может провидеть их. В доказательство ретивая газета напечатала любезно представленную в ее распоряжение одним из наших университетских профессоров объемистую статью, дававшую обзор всех случаев в истории человечества, в которых фигурировали оракулы, гороскопы, сомнамбулы, ясновидение, пророческие сны, гипноз, галлюцинации, наитие, — то был весьма примечательный труд, оказавший должное воздействие на просвещенные слои общества.

Пресса, правительство, двор и общество действовали согласно, единым фронтом, и, разумеется, «Курьер» попридержал бы язык, если бы его философское рвение было еще несвоевременно и бестактно, одним словом, если бы переговоры в Дельфиненорте не были на пути к благополучному завершению. Сейчас уже почти в точности известно, как протекали эти переговоры и как трудно, порой даже тяжело, приходилось

нашим поверенным — и тому, на кого по его высокой должности при дворе была возложена деликатная миссия подготовить принцу Клаусу-Генриху почву для сватовства, а так же главному блюстителю наших финансов, который, невзирая на подорванное здоровье, никому не уступил права отстаивать интересы страны перед Самуэлем Шпельманом. Здесь, помимо озлобленности и раздражительности Шпельмана, надо еще принять в расчет, что ему-то, этому всемогущему человечку, счастливый с нашей точки зрения исход переговоров был далеко не так важен, как нам. Оставив в стороне привязанность к дочери, которая открыла ему сердце и поверила свою прекрасную мечту — сочетать любовь с общим благом, — у наших уполномоченных не было ни единого козыря против Шпельмана; не мог же, в самом деле, доктор Криппенрейтер выставить свои пожелания в качестве условий того, что мог предложить господин фон Бюль! Господин Шпельман называл принца Клауса — Генриха не иначе как «молодой человек» и проявлял так мало энтузиазма по поводу возможности отдать дочь в жены «королевскому высочеству», что у доктора Криппенрейтера и господина цу Бюля не раз почва уходила из-под ног.

— Имел бы он хоть приличное образование и занимался бы настоящим делом! — сварливо скрипел Шпельман. — Что это за молодой человек, который только и умеет слушать, как ему кричат «ура»...

Он разъярился по-настоящему, когда впервые прозвучали слова «морганатический брак». Его дочь, заявил он *once for all*^[16] не будет наложницей, женой с левой стороны. Жениться так жениться как следует... По счастью, в данном пункте династические и государственные интересы полностью совпадали с его желаниями, ибо престолу необходимо было потомство, имеющее законное право наследования, и господин фон Бюль получил самые широкие полномочия, которых господину фон Кнобельсдорфу удалось добиться от великого герцога. Если же миссия доктора Криппенрейтера оказалась успешной, причиной этому отнюдь не его красноречие, а только отцовские чувства господина Шпельмана — покладистость больного, всем пресыщенного человека, ставшего скептиком из-за своего положения «диковинного зверя», покладистость отца по отношению к единственной дочери и наследнице, которая в конце концов вольна решать, в какие государственные бумаги ей вложить свое личное состояние.

Так состоялись соглашения, которые до поры до времени хранились в глубокой тайне и обнаруживались лишь по мере того, как претворялись в жизнь; мы же постараемся рассказать о них последовательно и беспристрастно.

Самуэль Шпельман и дом Гримбургов дают согласие на обручение Клауса-Генриха с Иммой Шпельман. Одновременно с обнародованием этого события в «Правительственном вестнике» должно быть сообщено о присвоении нареченной титула графини и какой-нибудь придуманной романтически звучной фамилии вроде той, под которой Клаус-Генрих совершил путешествие с образовательной целью по прекрасным южным странам; в день бракосочетания супруга престолонаследника должна быть возведена в княжеское достоинство. В обоих случаях присвоение титула освобождается от уплаты гербового сбора в размере четырех тысяч восьмисот марок. Брак будет заключен как морганатический лишь временно, дабы не вызывать смятения в обществе, а в тот день, когда окажется, что господь благословил этот брак потомством, Альбрехт II, принимая во внимание особые обстоятельства, объявит морганатическую жену своего брата полноправной законной супругой и дарует ей сан принцессы великогерцогского дома и титул королевского высочества. Новый член правящей династии отказывается от гражданского листа. В отношении придворного церемониала решено в день заключения морганатического брака устроить малый прием, день же объявления его полноправным надлежит ознаменовать наивысшим торжеством — большим приемом с принесением поздравлений. Самуэль Шпельман со своей стороны обязуется предоставить государству кредит в размере трехсот пятидесяти миллионов марок — и притом на таких отечески мягких условиях, что заем скорее походил на подарок.

Обо всех этих решениях престолонаследнику сообщил великий герцог Альбрехт. Клаус-Генрих снова, как в тот раз, когда Альбрехт возлагал на него обязанности по представительству, стоял в большом кабинете, где дуло от окон, где плафонная живопись вся потрескалась, стоял перед братом и, вытянувшись во фронт, выслушивал великие новости. Для этой аудиенции он облачился в майорский мундир гвардейских стрелков, меж тем как великий герцог был в неизменном черном сюртуке и вдобавок в напульсниках, которые тетя Катарина связала ему из темно — красной шерсти для защиты от сквозняков в Старом замке. Когда Альбрехт кончил, Клаус-Генрих сделал шаг в сторону, поклонился, щелкнув каблуками, и сказал:

— Разреши, дорогой Альбрехт, повергнуть к твоим стопам сердечную верноподданническую признательность от своего имени и от имени всего народа. Ведь именно ты — податель всех благ, и народ отблагодарит тебя удвоенной любовью за столь великодушное соизволение.

Он пожал худую нервную руку брата, которую тот держал у самой

груди, не отнимая локтя от тела. При этом великий герцог выпятил короткую пухлую нижнюю губу и ответил негромко, не подымая глаз и пришепетывая:

— Я никак не склонен делать себе иллюзии насчет любви народа и, как тебе известно, могу спокойно обойтись без этой сомнительной любви. Заслужил я ее или нет — роли не играет. Я иду к огходу поезда на вокзал, чтобы махнуть рукой, — это скорее бессмысленно, чем похвально, но уж такова моя должность. Ты — дело другое. Ты — счастливчик. Все для тебя складывается хорошо. Желаю тебе и впредь счастья, — добавил он и поднял глаза, в которых застыла тоска одиночества. В этот миг было видно, что он любит брата. — Желаю тебе счастья, Клаус-Генрих, но не слишком много, чтобы ты не разнежился, убаюканный любовью народа. Впрочем, я уже говорил, что для тебя все складывается как нельзя лучше. Твоя избранница — не ординарная девушка, в ней пет мещанских черт, но нет и черт национальных. Кровь у нее смешанная... я слышал, будто в ее жилах течет даже индейская кровь. Пожалуй, это хорошо. С такой спутницей жизни тебе, пожалуй, меньше грозит самоуспокоенность.

— Ни личное счастье, ни любовь народа никогда не заставят меня забыть о том, что я твой брат, — ответил Клаус-Генрих.

Он ушел, ему предстояли еще малоприятные минуты — беседа с глазу на глаз с господином Шнельманом, у которого он лично должен был просить руки его дочери. Тут ему пришлось претерпеть все, что раньше терпели парламентарии, ибо Самуэль Шпельман не проявил ни малейшей радости и скрипучим голосом высказал ему много отрезвляющих истин. Но и этот рубеж был пройден, и когда читатели в одно прекрасное утро развернули «Правительственный вестник», в нем красовалось сообщение о помолвке. Тут длительное ожидание разрешилось бурным восторгом; солидные мужчины махали друг другу носовыми платками и обнимались посреди улицы, все здания расцвелись флагами...

Однако в тот же самый день в Эрмитаже стало известно, что Рауль Юбербейн лишил себя жизни.

Это была недостойная и нелепая история, и можно бы не излагать ее, если бы она не привела к такой жестокой развязке. Не станем искать виновных. У могилы покойного образовалось два лагеря. Одни, потрясенные этим актом отчаяния, утверждали, что его затравили; другие же, пожимая плечами, доказывали, что он вел себя непозволительно, дико, и его необходимо было обуздать. Оставим этот вопрос открытым. Как бы то ни было, ничто, в сущности, не может оправдать столь трагический исход; мало того, повод для самоубийства был уж слишком ничтожен,

принимая во внимание, каким значительным человеком по праву считался Рауль Юбербейн... Итак, расскажем все по порядку.

Весной прошлого года классный наставник в предпоследнем классе нашей гимназии, страдавший болезнью сердца, был уволен в долгосрочный отпуск для поправления здоровья, и на эту временно вакантную должность назначили доктора Юбербейна, невзирая на его относительную молодость, единственно ввиду его добросовестного отношения к своим обязанностям и неоспоримо успешной педагогической деятельности в средних классах. Дальнейшее показало, что выбор был удачен, ибо никогда еще класс так не преуспевал в науках, как в этом году. Ушедший в отпуск преподаватель, впрочем пользовавшийся любовью коллег, был человек довольно вздорный и вместе с тем туповатый и с ленцой, должно быть по причине болезни, которая в свою очередь была связана по существу даже с привлекательной, но опасной, если ею злоупотреблять, склонностью к пиву; так или иначе он на все смотрел сквозь пальцы и ежегодно переводил в выпускной класс очень слабо подготовленных учеников. Временно заменивший его классный наставник принес с собой новый дух, чему никто не удивился. Коллеги знали его отталкивающий неумный карьеризм, его однобокое, ненасытное честолюбие, все заранее предвидели, что он не упустит такого благоприятного случая, с которым, без сомнения, связывает надежды выдвинуться. Лень и скука мигом исчезли из предпоследнего класса. Доктор Юбербейн предъявлял к ученикам самые высокие требования и не знал себе равных в умении приохотить к занятиям наиболее строптивых. Юноши буквально на него молились. Его уверенный, отеческий и ласково грубоватый тон держал их в напряжении, взбадривал их, так что угодить учителю становилось делом чести. Он заслужил привязанность учеников тем, что по воскресеньям ходил с ними за город, при этом разрешал им курить и пленил их воображение развязными, по-юношески пылкими дифирамбами величию и строгости вольной жизни. А в понедельник они встречались со вчерашним веселым спутником и с радостным усердием принимались за учение. Так прошли три четверти учебного года, как вдруг перед рождеством стало известно, что здоровье находящегося в отпуску учителя более или менее восстановлено и что после каникул он вернется к исполнению своих обязанностей в предпоследнем классе. Вот тут-то доктор Юбербейн и показал себя, тут обнаружилось, что скрывается за его зеленовато-бледным лицом и развязной самоуверенностью. Он возмутился, стал жаловаться, заявил громкий, но по существу малообоснованный протест против того, что его, педагога, успевшего за три четверти учебного

года сродниться с классом, делившего с ним труды и досуги, теперь, перед самым завершением программы, отстраняют от должности классного наставника и на последнюю четверть собираются поручить эту должность человеку, который отдыхал первых три четверти. Его возмущение вполне можно было понять, объяснить и даже по-человечески посочувствовать ему. Он, конечно, рассчитывал, что директор, который сам вел выпускной класс, получит из его рук образцовых учеников, и их успехи в науках и общее развитие выставят его как педагога в наилучшем свете и ускорят его продвижение по служебной лестнице: отсюда ясно, как обидно ему было, что другой пожнет плоды его самоотверженного усердия.

Допустим, досада его извинительна, но его безумству оправдания нет, — а, к сожалению, после того, как директор остался глух к жалобам Юбербейна, он совершенно обезумел. Он потерял голову, утратил всякое чувство меры, он поднял на ноги всех, лишь бы не уступить класса этому пьянчужке, пивному бочонку, этому сапожнику, как он без стеснения обзывал вернувшегося из отпуска учителя, и, не найдя поддержки у коллег, — удивляться нечему, он сам всех оттолкнул от себя, — безумец дошел до того, что стал подстрекать к бунту вверенных ему учеников. Кого они желают иметь классным наставником на последнюю четверть, напрямик спросил он с кафедры, его или того? Захваченные его лихорадочным возбуждением, юноши закричали, что хотят его. Тогда пускай действуют, пускай все как один открыто заявят свою волю, сказал Юбербейн, бог ведает, что он в своем умоисступлении под этим подразумевал. Но когда после рождественских каникул прежний педагог вошел в класс — ученики стали безостановочно выкрикивать имя Юбербейна, и разразился скандал.

Впрочем, его постарались замять. Бунтовщики отделались очень легким наказанием, ибо, как только началось расследование, доктор Юбербейн сам признал факт подстрекательства. Но и на его поведение власти явно были склонны смотреть сквозь пальцы — Его ценили за усердие и незаурядные способности; напечатанные им научные работы, плоды ночных трудов, снискали ему известность, к нему благоволили в высших сферах, — кстати сказать, он не соприкасался непосредственно с этими сферами, а потому не успел озлобить их своим отечески покровительственным тоном; приходилось считаться и с тем, что он в прошлом — воспитатель принца Клауса-Генриха, словом, его не отстранили попросту от должности, что было бы только справедливо. Дело попало на рассмотрение в главную инспекцию учебных заведений, там ему вынесли строгое порицание, после чего доктор Юбербейн, прекративший

педагогическую деятельность, как только разразился скандал, получил временный отпуск. Однако люди осведомленные утверждали впоследствии, что ему грозил лишь перевод в другую гимназию, ибо в верхах только и желали поскорее предать эту историю забвению и не препятствовать дальнейшей карьере доктора Юбербейна. Все могло еще наладиться.

Но, в противоположность начальству, коллеги заняли открыто враждебную позицию в отношении Юбербейна. «Учительское общество» срочно назначило суд чести с явным намерением дать удовлетворение своему высокочтимому сочлену, отвергнутому учениками, классному наставнику, иначе говоря, пивному бочонку. Юбербейн, живший затворником в своей меблированной комнате, получил письменное постановление, в котором говорилось следующее: своим нежеланием уступить коллеге, которого он замешал, должность классного наставника в предпоследнем классе, а в дальнейшем своими интригами против вышеназванного коллеги и наконец подстрекательством учеников к неповиновению, Юбербейн навлек на себя всеобщее порицание, ибо его поведение должно быть признано не только не товарищеским с узко профессиональной точки зрения, но и бесчестным с точки зрения общегражданской... Таков был приговор. А последствием его, как и ожидали, было заявление Юбербейна о выходе из «Учительского общества», хотя он и состоял там только номинально; на том, собственно, по мнению большинства, все могло бы и кончиться.

Но либо этот нелюдим не знал, как благосклонно продолжали к нему относиться в верхах, и смотрел на свое положение безнадежнее, чем оно было на самом деле; либо ему нестерпима была бездеятельность и преждевременная разлука с любимым классом; либо, наконец, его слишком больно уязвили слова о «бесчестности», а может быть, у него просто оказалось недостаточно душевных сил, чтобы перенести все эти потрясения, — так или иначе через месяц после нового года хозяева нашли его на потертом коврике у него в комнате, не зеленее обычного, но с пулей в сердце.

Вот как кончил жизнь Рауль Юбербейн; вот на чем он споткнулся; вот что послужило причиной его гибели. Этого надо было ожидать! Таково было заключение почти всех разговоров о его плачевном конце. Этот беспокойный неуживчивый человек никогда не участвовал в застольной беседе, как друг среди друзей, высокомерно уклонялся от всякого сближения, с холодной рассудочностью целиком посвятил себя делу и полагал, что это дает ему право говорить со всеми на свете отечески

поучительным тоном, — а теперь он лежит поверженный, постыдно капитулировав перед первой же неприятностью, первой неудачей на деловом поприще. Среди обывателей немногие жалели его и никто не оплакивал, вернее, оплакивал лишь один главный врач Доротеинской больницы, друг Юбербейна, человек родственный ему по духу, да еще, быть может, белокурая женщина, у которой он изредка играл в карты. Зато Клаус-Генрих неизменно с уважением и теплотой вспоминал своего несчастного учителя.

РОЗОВЫЙ КУСТ

И Шпельман начал финансировать государство; действия его были так просты, а размах так грандиозен, что малый ребенок мог бы их восчувствовать, — и в самом деле, сияющие от счастья отцы рассказывали об этом своим ребятишкам, подкидывая их на коленях.

Самуэль Шпельман кивнул, господа Флебс и Слипперс засустились, и его властные приказы понеслись под волнами океана, к материку западного полушария. Он забрал треть своих вложений из сахарного треста, четверть из нефтяного треста, половину из стального треста, высвободившиеся средства он перевел в здешние банки, в один прием по номиналу приобрел у господина Криппенрейтера на триста пятьдесят миллионов нового трех с половиной процентного государственного займа. Вот что сделал Шпельман.

Кто по себе знает воздействие душевного состояния на организм человека, того не удивит, что доктор Криппенрейтер прямо расцвел и — в короткий срок сделался неузнаваем. Спина распрямилась, манеры стали независимыми, он не ходил, а парил как на крыльях, с лица сошла желтизна, на нем заиграл румянец, глаза заблестели, а пищеварение за несколько месяцев настолько наладилось, что министр, со слов близких к нему людей, мог безнаказанно лакомиться красной капустой и салатом из огурцов. Это хотя и отрадное, однако чисто индивидуальное следствие вмешательства Шпельмана в наши финансы, конечно, ничто по сравнению с тем, как его вмешательство сказалось на государственной и хозяйственной жизни нашей страны.

Часть займа пошла в фонд погашения, на уплату самых неотложных долгов. Впрочем, в этом даже не было необходимости, нам и так всячески шли навстречу и предоставляли кредит. Хотя в правительственных кругах вопрос решался келейно, но едва только наружу просочился слух, что Самуэль Шпельман если не официально, то на деле взял в свои руки государственные финансы, как горизонты перед нами прояснились и на смену бедам пришли радость и ликование. Держатели облигаций уже не сбывали их в панике, принятый внутри страны процент снизился, за нашими обязательствами теперь охотились как за выгодным помещением средств, и курс наших высокопроцентных займов, стремительно возрастая, не только вышел из плачевного состояния, но и перевалил за номинал. С народного хозяйства был снят гнет, десятилетиями тяготевший над ним

кошмаром, и доктор Криппенрейтер с пафосом ратовал в ландтаге за радикальное облегчение налогового пресса, что и было постановлено единогласно, и, к восторгу всех поборников общественной пользы, допотопный налог на мясо приказал долго жить. Очень скоро прошло значительное повышение окладов чиновникам, содержания учителям и священнослужителям и всем лицам, занятым на государственных предприятиях. Нашлись средства и для того, чтобы пустить в ход заброшенные серебряные рудники, многие сотни рабочих получили кусок хлеба, и в процессе разработки неожиданно были обнаружены богатые рудой пласты. Деньги, деньги шли нам в руки, а с ними упорядочилось и хозяйство, начались новые посадки, лес не лишали естественных удобрений, владельцы скота оставляли себе часть цельного молока и пили его сами, а злопыхатели тщетно искали бы теперь по всей стране испытые лица. Народ на деле проявил свою признательность правящей династии, которой государство и граждане были обязаны столь сказочным благосостоянием. Господин фон Кнобельсдорф без большого труда убедил парламент увеличить цивильный лист. Постановление о продаже замков Монплеизир и Отрада было отменено. Опытные мастера получили заказ сверху донизу оборудовать Старый замок паровым отоплением. Наши уполномоченные при Шпельмане господин фон Бюль и доктор Криппенрейтер были пожалованы Альбрехтовским крестом первой степени с бриллиантами, министру финансов было, кроме того, присвоено личное дворянство, а господин фон Кнобельсдорф получил почетный дар — портрет высоконазначенных в натуральную величину, кисти маститого профессора фон Линдемана, вставленный в ценную раму.

После того как состоялось обручение, среди публики пошли фантастические слухи о размерах приданого, которое господин Шпельман дает за дочерью. Люди были опьянены, у них появилась неудержимая тяга к астрономическим цифрам. Но приданое не выходило из земных пределов, хотя от его величины поистине можно было возвеселиться. Оно составляло сто миллионов.

— Господи помилуй! — воскликнула Дитлинда цу Рид-Гогенрид, впервые услышав об этом. — Куда тут моему доброму Филиппу с его торфом...

Должно быть, такие мысли были у многих; но дочка Шпельмана делами благотворительности и милосердия смягчала невольное раздражение, которое поднималось в сердцах простых людей от такого несметного богатства; даже в самый день официального обручения она сделала вклад в пятьсот тысяч марок с тем, чтобы проценты с него

ежегодно распределялись между четырьмя государственными округами для общественно полезных и человеколюбивых целей.

Клаусу-Генриху и Имме подавался один из шпельмановских оливковых автомобилей с кожаными сидениями кирпичного цвета, и они делали визиты членам Гримбургской фамилии. Великолепной машиной управлял молодой шофер, тот самый, у которого Имма находила сходство с Клаусом-Генрихом; но большого напряжения от него во время этих поездок не требовалось; наоборот, ему приходилось всячески умерять мощность мотора и непрерывно тормозить — такое повсюду бывало скопление публики, приветствующей молодую чету. Да, так как двое других виновников нашего благосостояния — великий герцог Альбрехт и Самуэль Шпельман — каждый на свой лад избегали общения с народом, — вся его любовь и признательность изливалась на высоконареченных; за шлифованными стеклами автомобиля взлетали в воздух картузы мальчишек, ликующие мужские и женские голоса пронзительно и гулко отдавались внутри, и Клаус-Генрих, приложив руку к каске, внушал Имме:

— Ты тоже должна кланяться в свое окно, иначе тебя сочтут гордячкой.

Ему так не терпелось быть ближе к ней что после разговора на придворном балу он стал говорить ей «ты», хотя она еще не сжилась с атмосферой пылких чувств и испуганно останавливала его, а как легко слетало у него с губ это словечко, казавшееся ему раньше таким фальшивым и неподобающим!

Они приехали к принцессе Катарине и были приняты сдержанно. Покойный великий герцог Иоганн — Альбрехт, ее брат, не допустил бы этого, сказала тетя племяннику. Но времена меняются, и она только молит бога, чтобы его нареченная освоилась с придворной жизнью. Они приехали к княгине цу Рид-Гогенрид, и здесь их приняли любовно. Родовая спесь Дитлинды успокоилась на том, что дочка Левиафана может стать принцессой великогерцогского дома и королевским высочеством, но принцессой, подобной ей, в которой течет кровь великих герцогов Гримбургских, не будет никогда; вообще же она была в восторге от того, что Клаус-Генрих в своих разведках откопал такую прелестную диковинку, и, будучи супругой торфяного князя Филиппа, лучше чем кто — либо могла оценить все выгоды такого брака, а потому от души предложила будущей золовке свою дружбу и сестринскую любовь. Поехали они и к принцу Ламберту в его виллу, и пока невеста-графиня силилась поддержать разговор с миловидной, но совершенно необразованной баронессой фон Рордорф, старый волокита замогильным голосом хвалил

племянника за то, что он пренебрег предрассудками и своим браком дерзко бросает вызов и двору, и пресловутому высокому сану.

— Я и не думал бросать вызов своему высокому сану, дядя, и вовсе не гнался за одним только личным счастьем. Нет, я с чувством полной ответственности исходил из общих интересов, — довольно неучтиво возразил Клаус-Генрих; они вскоре распрощались и поехали за город во дворец Зегенхаус, где бедняжка Доротея, вдовствующая великая герцогиня, создала себе грустную пародию на придворный церемониал. Целуя юную невесту в лоб, она заплакала, сама не зная над чем.

Тем временем Самуэль Шпельман сидел в Дельфиненорте, разбираясь в чертежах, эскизах мебели, образчиках штофных обоев и рисунках для золотого обеденного сервиза. Он перестал играть на органе, забыл о камнях в почках, и даже румянец появился у него на щеках от непрерывных хлопот; хоть он весьма невысоко ставил «молодого человека» и не подавал надежды, что когда-либо покажется при дворе, но раз дочурка его собралась замуж, значит надо устроить ей свадьбу соответственно их материальным возможностям. Чертежи относились к новому дворцу Эрмитаж, так как холостяцкое жилище Клауса-Генриха решено было снести, а на его месте построить новый дворец, просторный и светлый, обставленный по вкусу Клауса-Генриха в смешанном ампирном и современном стиле, сочетающем холодноватую строгость с уютом и удобством. Однажды утром, выпив целебную воду в бювете, господин Шпельман самолично пожаловал в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы выяснить, пригодится ли что-нибудь из мебели для обстановки нового дворца.

— Покажиге-ка, молодой принц, свое добро, — скрипучим голосом потребовал он, и Клаус-Генрих продемонстрировал ему спартанскую обстановку своих покоев, жесткие диванчики, прямоногие столы, белые лакированные консоли по углам.

— Хлам, — презрительно изрек господин Шпельман, — не подойдет. — Только три массивных кресла красного дерева с резными завитками на локотниках, из маленькой желтой гостиной, да желтая обивка с голубоватыми лирами снискали его одобрение. — Годятся для передней, — решил он, и Клаус-Генрих обрадовался, что эти три кресла составят вклад Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно, было бы неприятно, если бы все шло исключительно от Шпельманов.

Не только дворец, но и заросший парк и цветник предстояло расчистить и заново распланировать, в частности для цветника было задумано особое украшение, которое Клаус-Генрих испросил в качестве

свадебного подарка у брата, великого герцога. На большую среднюю клумбу перед въездом решено было перенести розовый куст из Старого замка, и тут, вне замшелых стен, открытый воздух и солнцу, посаженный в самый тучный мергельный грунт, который будет специально для него заготовлен, он еще покажет, какие отныне способен давать розы, — или уж он настолько закоснел и зазнался, что не пожелает оправдать народную молву.

Когда миновали март и апрель, настал месяц май, а с ним высокаторжественный день бракосочетания Клауса-Генриха и Иммы. Он занялся, сияющий, благодатный, с позлащенными облачками среди ясной лазури, и, приветствуя его наступление, на башне ратуши загремел хорал. В поездах, пешком и в повозках стекались в столицу сельские жители, белокурый, коренастый, крепкий и косный народ с голубыми задумчивыми глазами, с широкими выступающими скулами, в красивой национальной одежде, — мужчины в красных куртках, в сапогах с отворотами и в широкополых черных бархатных шляпах, женщины в расшитых разноцветными шелками корсажах, в сборчатых коротких юбках и с огромным черным бантом на голове. Все они вместе с обитателями столицы толпились вдоль магистрали, соединяющей Курортный парк и Старый замок, которая была богато разукрашена ради торжественного въезда невесты, гирлянды тянулись между увитыми венками трибунами и выкрашенными белой краской, увенчанными цветами дощатыми обелисками. С самого утра на улицах замелькали знамена ремесленных цехов, стрелковых обществ и спортивных союзов. Пожарные в сверкающих касках были поставлены на ноги. Представители студенческих корпораций при полном параде разъезжали со своими флагами в открытых ландо, девушки в белом, составлявшие почетный эскорт невесты, держали в руках обвитые розами жезлы. Конторы и мастерские не работали. Школы были распущены. В церквях шло торжественное богослужение. Утренние выпуски «Курьера», а также «Правительственного вестника» наряду с прочувствованными передовицами помещали сообщение о широкой амнистии, согласно которой многим преступникам, приговоренным к лишению свободы, великий герцог даровал помилование или сократил срок заключения. Даже убийцу Гудехуса, который был при сужден к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, отпустили на время с тем, чтобы после торжеств снова засадить в тюрьму.

В два часа в зале «Музея» был парадный обед для именитых горожан, с оркестром музыки и приветственными телеграммами. А в предместье происходило народное гулянье с пончиками и оладьями, с праздничным

торгом и лотереей; для молодежи был устроен тир, бег в мешках и лазание на мачту за паточными пряниками. Но вот настал час, когда Имма Шпельман из Дельфиненорта направилась в Старый замок. Ехала она с большой помпой..

Флаги трепыхались под весенним ветром, от одного дощатого обелиска к другому были перекинуты широкие, толщиной с кулак гирлянды красных роз, на трибунах, на крышах и тротуарах чернели толпы народа, а между стоявшими цепью полицейскими, пожарными, представителями цехов и добровольных обществ, студентами и школьниками по усыпанной песком, празднично изукрашенной улице, под ликующие клики медленно подвигался поезд невесты. Впереди — двое пикеров в шляпах с галунами, при аксельбантах, предводительствуемые усатым шталмейстером в треуголке. Далее следовала запряженная четверкой карета, в которой вместе с дежурным камергером восседал один из чинов дворцового ведомства, в качестве великогерцогского комиссара отряженный за невестой. Во второй карете, тоже запряженной четверкой, ехала графиня Левенюль и при этом сердито косилась на двух сопровождающих ее придворных дам, явно подозревая их в безнравственности. Далее гарцевало десять форейторов в желтых панталонах и синих фраках, которые трубили «Сплетем тебе венок из мирт». За ними шли двенадцать девиц в белом, усыпавших мостовую розовыми бутонами и веточками тиса. И наконец показалась влекомая шестериком карета невесты с большими зеркальными окнами в окружении пятидесяти представителей ремесленных цехов верхом на рослых конях. Выставив ноги в гамашах и натянув длинные вожжи, горделиво красовался на задрапированных белым бархатом козлах краснолицый кучер в шляпе с галунами; конюхи в ботфортах вели под уздцы попарно запряженных цугом белых лошадей, и два лакея в парадных ливреях стояли на запятках громающей кареты; глядя на их надменные физиономии, никто бы не поверил, сколь жуликоваты и пронырливы они в повседневной жизни. А в зеркальные стекла позолоченных оконных рам видна была Имма Шпельман в подвенечном уборе и рядом, приставленная к ней, престарелая статс-дама. Как снег под лучами солнца, сверкало на Имме платье из узорчатого шелка, а на коленях она держала букет белых цветов, присланный Клаусом-Генрихом за час до того. Ее экзотическое личико было цвета морских жемчужин, из-под фаты выбилась на лоб прямая прядка иссиня-черных волос, а черные, как уголь, огромные глаза красноречиво смотрели поверх обступавшей ее толпы. Но кто это беснуется, брызжет слюной и заливается возле подножки? Да это же

Персеваль, пес из породы колли, — в таком невменяемом состоянии еще никто его не видал! Суматоха и движение разволновали его свыше меры, лишили всякого самообладания, окончательно вывели из себя. Он неистовствовал, выплясывал, изнемогал, охмелев от нервного возбуждения, извивался в слепой ярости, — а когда народ на трибунах, на панели, на крышах по обе стороны улицы узнал Персеваля, восторг достиг апогея.

Так ехала Имма Шпельман в Старый замок, и перезвон колоколов сливался с кликами толпы и бешеным лаем Персеваля. Шагом проследовал кортеж через Альбрехтсплац в ворота со львами; во дворе замка верховой эскорт из представителей цехов раздался на обе стороны и выстроился парадным строем, и под колоннадой обветшалого портала великий герцог Альбрехт в мундире гусарского полковника вместе с братом и прочими принцами встретил невесту, предложил ей руку и по серым каменным ступеням повел наверх, мимо почетного караула в парадные апартаменты, где собрался весь двор. Принцессы Гримбургского дома находились в Рыцарском зале, и там-то в кругу августейшего семейства господин фон Кнобельсдорф совершил обряд гражданского бракосочетания. Очевидцы рассказывали потом, что никогда морщинки в уголках его глаз не лучились так весело, как в тот миг, когда он, именем государства, сочетал браком Клауса-Генриха с Иммой Шпельман. Тотчас после этого Альбрехт II отдал приказ приступить к обряду церковного венчания.

Господин фон Бюль цу Бюль потрудился на славу, чтобы составить внушительное шествие — брачный кортеж, который проследовал по лестнице Генриха Великолепного и по крытому переходу во дворцовую церковь. Сгибаясь под бременем годов, но сохранив вкрадчивость манер и неизменный каштановый парик, по пояс увешанный орденами, обергоф — маршал молодецки выступал, вынося вперед высокий жезл, во главе камергеров, а те шествовали в шелковых чулках с отороченной плюмажем треуголкой под мышкой и ключом на талии, у заднего шва мундира. Далее следовала юная чета — окутанная ослепительно белым облаком невеста во всей своей экзотической прелести и наследник престола Клаус — Генрих в форме лейб-гренадерского полка с лимонно — желтой лентой через плечо. Шлейф Иммы Шпельман в полной растерянности держали четыре провинциалочки из земельной знати, за ними следовала графиня Левенюль, косясь по сторонам с недоверчивым видом, а господа фон Шуленбург-Трессен и фон Браунбарт-Шеллендорф шагали позади жениха. Оберегермейстер фон Штиглиц и страдающий подагрой генерал от театральных зрелищ предшествовали молодому монарху, который шел

рядом с тетей Катариной, молча посасывая верхнюю губу, а за ними следовали министр двора фон Кнобельсдорф, адъютанты, княжеская чета цу Рид-Гогенрид и прочие члены правящей династии. Замыкали процессию снова камергеры.

В дворцовой церкви, декорированной растениями и коврами, шествия дожидались приглашенные. То были дипломаты с супругами, придворная и земельная знать, высшее столичное офицерство, министры, среди которых бросалось в глаза сияющее лицо господина фон Криппенрейтера, кавалеры Гримбургского грифа первой степени, председатели обеих палат ландтага и другие сановные особы. А так как обергофмаршальская часть разослала приглашения лицам из всех классов общества, то на церковных скамьях, радуясь в сердце своем, сидели также представители торгового сословия, крестьяне и скромные ремесленники. Впереди, у алтаря, разместились полукругом в красных бархатных креслах родственники жениха. Чистые и нежные голоса соборного хора возносились к сводам, а затем под торжественный гул органа вся община запела хвалебный псалом. Но вот в наступившей тишине раздался громкий благозвучный голос президента Консистории доктора Визлиценуса, который во всей своей седовласой красе, с выпуклой звездой на шелку рясы стоял перед высоконареченными и произносил искусно составленную проповедь. Он разработал ее, так сказать, на музыкальный лад, а за лейтмотив взял тот стих псалма, что гласит: «И жив будет и дастся ему от злата аравийска». Слушая его, все всплакнули от умиления.

Затем доктор Визлиценус совершил обряд венчания, и в тот миг, когда нареченные обменивались кольцами, затрубили фанфары и над городом и окрестностями прогремел первый пушечный выстрел, а всего с вала «Цитадели» их было произведено войсками тридцать шесть. Вслед за тем и пожарная команда начала пальбу из старых заржавленных пушек, но между отдельными залпами возникали длинные паузы, что послужило для обывателей неисчерпаемым источником шуток.

После благословения процессия в том же порядке возвратилась в Рыцарский зал, где все здравствующие представители рода Гримбургов принесли поздравления новобрачным. Затем состоялся торжественный прием, — Клаус-Генрих с Иммой Шпельман под руку проходили по навощенному паркету парадных апартаментов, где собрались все придворные чипы, и разговаривали с господами и дамами на положенной дистанции, милостиво улыбаясь им, Имма, выпятив губы, крутила головкой, когда заговаривала с кем-нибудь и выслушивала немногословный ответ почтительно изогнувшегося царедворца. По

окончании приема в Мраморном зале был сервирован великогерцогский стол, а в зале Двенадцати месяцев — обергофмаршальский стол, и кушанья подавались самые изысканные из уважения к привычкам супруги Клауса-Генриха. Пришедший и чувство Персеваль тоже при сем присутствовал и получил свою долю жаркого. А после ужина студенты и жители столицы чествовали молодую чету по всем правилам — серенадой и факельным шествием. На площади плясали огни и стоял невообразимый шум.

Лакеи отдернули драпри на одном из окон Серебряного зала, распахнули створки, приходящиеся почти вровень с землей, и Клаус-Генрих с Иммой подошли к открытому окну, ибо ночь была теплая, весенняя. Возле них в чинной позе, с достойным видом восседал пес Персеваль и тоже смотрел вниз.

Все столичные оркестры играли на ярко иллюминированной, полной народу площади, и факелы шествующих мимо замка студентов озаряли поднятые лица дымно багровым светом. Раздался взрыв ликования, когда новобрачные показались у окна. Они кланялись и благодарили. А потом постояли еще немного, глядя на толпу и показывая себя ей. И народу было видно, как они шевелят губами, разговаривая между собой. Вот что они говорили:

— Прислушайся, Имма, как они благодарны нам за то, что мы не забыли об их нуждах и тяготах. Сколько же их собралось! И все стоят и приветствуют нас. Конечно, много среди них негодных людей, многие рады надуть ближнего, и для них великое благо быть поднятыми над повседневностью с ее прозой. А если вдобавок они видят, что мы не забываем об их нуждах и тяготах, благодарность их не знает границ.

— Но до чего же мы с вами, принц, глупы и беспомощны, одни-одинешеньки на высотах человечества, как, говорят, выражался доктор Юбербейн. Ведь мы ровно ничего не знаем о жизни!

— Ровно ничего, крошка Имма? А что же тогда внушило тебе доверие ко мне и меня принудило всерьез заняться вопросами общественного блага? Разве тот, кто узнал любовь, ничего не знает о жизни? Пускай же впредь делом нашей жизни будет то и другое вместе — высокий удел и любовь — нелегкое, суровое счастье.

Примечания

1

В сумме (лат.).

В добрый час (франц.).

Крепчайшая башня — имя господне (лат.).

4

Здесь: благопристойно (франц.).

Парадном придворном платье (франц.).

Государя-человека (итал.).

Одна из фигур кадрили, так же как и *chaine chinoise* (Прим. ред.)

Парадный двор (франц.).

Человек смешанной крови (франц.).

Райский слиток {англ.).

Раз навсегда (англ.).

Такова моя точка зрения, сэр (англ.).

Чувствую себя хорошо (англ.).

Вперед! (англ.).

Торжественная кадрили (франц.).

Раз навсегда (англ.).